РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ–ИЮНЬ

"НАУКА"
МОСКВА - 1994

СОДЕРЖАНИЕ

В.Л. Янин, А.А. Зализняк (Москва). Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990–1993 гг. 3

С.Л. Николаев (Москва). Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов 23

К. Редеи (Вена). Влияние церковнославянского языка на семантику и синтаксис древнезырянского 50

Д.И. Эдельман (Москва). Состояние и перспективы сравнительно-исторической лексикологии иранских языков 60

О.Н. Трубачев (Москва). Маргиналии к новому "Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка" М. Майрхофера 81

Н.А. Козинцева (С.-Петербург). Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) 92

З.Я. Тураева (С.-Петербург). Лингвистика текста и категория модальности 105

Е.Е. Корди (С.-Петербург). Безличные конструкции в современном французском языке (Синтактико-деривационный и типологический подход) 115

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

А.Г. Широкова (Москва). Пражская школа и академик Богуслав Гавранек 129

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Б.Б. Ходорковская (Москва). Latein und Indogermanisch. Akten des Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft, Salzburg, 23–26 September, 1986 142

В.А. Плунгян (Москва). *Haspelmath M.* A grammar of Lesgian 146

З. Кёстер-Тома (Берлин). Sprachlicher Substandard I–III 150

В.Ф. Мейеров (Иркутск). *Иванова В.Ф.* Современная русская орфография 154

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой* (главный редактор), *О.Н. Трубачев* (зам. главного редактора), *А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г–19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".
Тел. 201–74–42.
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1994 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. В.Л. ЯНИН, А.А. ЗАЛИЗНЯК

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 1990–1993 гг.

В 1993 г. был опубликован очередной (девятый) том систематического издания новгородских берестяных грамот, включивший найденные в 1984–1989 гг. грамоты № 615–710 [1]. В последующие четыре сезона в Новгороде было обнаружено еще 43 берестяных документа. Наиболее значительным из них посвящена настоящая предварительная публикация, необходимость которой тем более очевидна, что обострившиеся трудности книжного издания делают нереальным в ближайшее время выход десятого тома систематической серии. Лингвистические комментарии к текстам ввиду краткости настоящей публикации опущены. Указанные при грамотах датировки – стратиграфические (кроме случаев, оговоренных в комментариях).

Основным источником новых находок был Троицкий раскоп, работы на котором ведутся с 1973 г. Кроме того, ряд документов обнаружен на Михаилоархангельском (в районе древней Прусской улицы), Федоровском (у южного берега Федоровского ручья) и Лукинском (близ церкви св. Луки на Лубянице) раскопах.

*

Грамота № 710. Троицкий раскоп. Середина 50-х – середина 90-х гг. XII в.

В 1991 г., спустя два года после обнаружения фрагментированной грамоты № 710, которая издана последней в только что опубликованном томе, были обнаружены еще два обрывка этого документа. Хотя для полного восстановления грамоты все еще недостает около 20 букв, определились ее размеры (длина 35,7 см, ширина 6 см), а текст теперь выглядит следующим образом:

+ ѿ сьмьюна къ доброшьке : възьми ꙋ тодоръка полъ десѧ[т](є) [г]рвнѣ сере-бра : а ·і҃· грвнъ : кꙋнами : а ꙋ моисеѧ полъ шесте гривьне кꙋнами възьми : а ꙋ вънега възьми г҃: гривьны : безь девѧти кꙋнъ : а ꙋ полюд[а] (в)[ъ]зьми : (в҃: г)ривьне бе шести ногатъ : а ꙋ радъ[ка] (възьми) ---------- -- [ꙋ]резъкъ : а ꙋ илькє възьми ꙋ медын(и)ц(а) пол[ъ] ц[є]тверъ[т]а д[єс](ѧтє) р(є)-занъ : а ꙋ гюрьгѧ въз(ь)ми : ꙋ сьмъкиниц(а –:) р(є)занъ : ꙋцелелъ ти єсмь : ѿ пожѧ-рꙋ и целꙋю тѧ

Автор письма Семьюн уже известен по грамоте № 685, в которой он был адресатом Доманега. Известен также и адресат грамоты № 710 – Доброшка: он был автором грамот № 664 и № 665. Все эти три документа относятся к тому же стратиграфическому уровню, причем грамоты № 685 и № 710 найдены на усадьбе И, а грамоты № 664 и № 665 – на соседней с ней усадьбе З.

Некоторые соображения могут быть высказаны по поводу возможной даты письма. В районе обнаружения грамоты № 710 (на усадьбах Ярышевой улицы) летопись упоминает несколько пожаров. В 1194 г. *зажьжеся пожаръ Новегородѣ в недѣлю на Всѣхъ святыхъ, в говѣние, идуче въ заутрьнюю; загореся Савъкине дворе на Ярышевѣ улици, и бяше пожаръ зълъ, съгорѣша церкъви 3: святого Василия, святыя Троиця, святого Въздвижения, и много домовъ добрыхъ; и уяша у Лукини улици* [2]. В

том же году *въ Людини коньци погорѣ дворовѣ 10* [2, с. 41, 234]. В 1207 г. во время восстания *Мирошкинъ дворъ и Дмитровъ зажъгоша*, а в 1210 г. *бысть пожаръ великъ: загорѣся на Радятинѣ улици и сгорѣ дворовъ 4000 и 300, а церквии 15* [2, с. 51, 52, 248, 250]. Представляется вероятным, что в грамоте говорится о пожаре 1194 г.

Долги в грамоте № 710 исчисляются в обычных для ее времени денежных единицах: гривнах серебра, гривнах кун, ногатах, кунах, резанах. Тем досаднее невосстановимая утрата текста в обозначении долга Радка, выраженного в *урезъкѣ* (отрезке) чего-то.

Наиболее значительным обстоятельством, связанным с этой грамотой, является совпадение ее почерка с почерком грамоты № 664. Между тем, если грамота № 710 исходит от Семьюна, то автором грамоты № 664 назван Доброшка (выступающий в грамоте № 710 как адресат). Доброшка был также автором грамоты № 665, написанной иным почерком. Из этого сопоставления возникает вывод о том, что грамоты № 664 и № 710 писаны не названными в них авторами посланий, а рукой писца. Бросается в глаза его профессионализм, который проявляется в особенностях почерка, тяготеющего к книжной традиции. В основном книжный характер имеет и сам текст письма, почти лишенный новгородских диалектизмов.

Грамота № 713. Троицкий раскоп. Первая половина (предпочт. первая четверь) XIII в., усадьба О. Сохранился фрагмент двух верхних строк письма:

(...) (ѿ) **михала : ко прокоше : цето ти воудоро : цето ти церѣмени : цето ти роудавещене : и голоубине добре** | ...гож(є) ---------- **цетверете : [а] оу хот[ена оу це]лопа гривена новаа : оу спирока во прасолехо** | ...

Перевод: "От Михаля к Прокше. [Всё], сколько у тебя есть выдр, сколько у тебя есть красной ткани, сколько у тебя есть хорошей буро-красной и голубой ткани..." (следовало указание, что́ со всем этим товаром нужно сделать). Конечная часть грамоты содержала некий перечень долгов: ".. четверть, у Хотена Челпа гривна новая, у Спирка на торговцах [такая-то сумма]".

Воудоро – "выдр" (т.е. речь идет о мехе выдры); в новгородских писцовых книгах топонимы Вудрино, Вудрицы, Вудрицкое болото выступают наряду с Выдрино, Выдрица, Выдрище и т.д. *Черьмень, рудавьщина, голубина* – оттенки цвета тканей. Михаль фигурирует в грамоте № 682, а Прокша – адресат грамоты № 664; оба этих документа стратиграфически близки комментируемой грамоте. Имена Хотен и Челп отразились в новгородской отыменной топонимике: в писцовых книгах известны деревни Хотеницы, Хотеново, Челпино, Челпеново. Имя Спирко встречено в берестяной грамоте № 439 рубежа XII–XIII вв. Принимая во внимание стратиграфическую дату грамоты № 713, под "гривной новой" следует понимать денежную единицу, возникшую в конце XII в. и отличную от "гривны старых (или ветхих) кун", которая упомянута в договорной грамоте Новгорода с Готским берегом и немецкими городами 1191–1192 гг. [3]. Поэтому грамоту надо датировать максимально близко к рубежу XII–XIII вв.

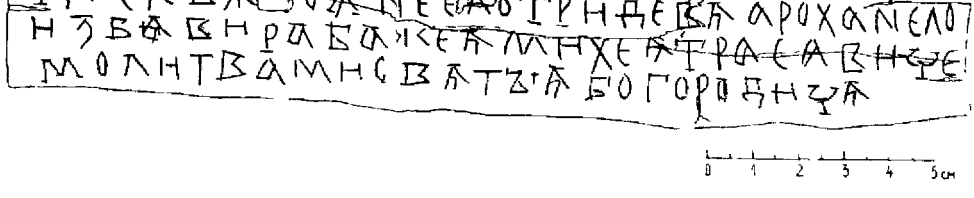


Рис. 1 Прорись грамоты № 715

Грамота № 715. Михаилоархангельский раскоп. Первая половина XIII в. Целый документ, текст которого расположен в трех строках:

три девѧ(т)о анеело три девѧ арохaнело
избави раба жеѧ михеѧ трасавиче
молитвами свѧтыѧ богородичѧ

Перевод: "Тридевять ангелов, тридевять архангелов, избавьте (букв.: избавь) раба (Бо)жия Михея от лихорадки молитвами святой Богородицы". В Паисиевом сборнике рубежа XIV–XV вв. имеется следующий текст: *Недуги лѣчатъ чарами и наузы, немощнаго бѣса, глаголемаго трясцю, мняться прогоняюще нѣкими ложными писмяны проклятыхъ бѣсов* [4]. Столь древняя запись заговора впервые обнаружена среди берестяных грамот. Еще более ранний текст того же рода см. ниже, в берестяной грамоте № 734.

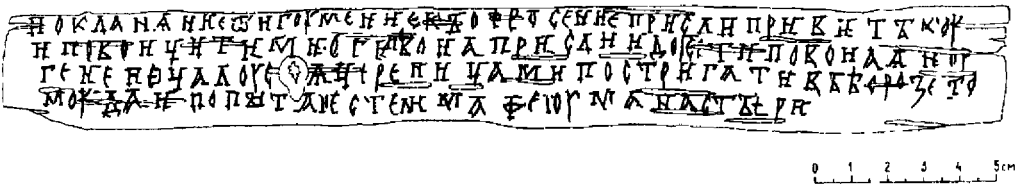


Рис. 2. Прорись грамоты № 717

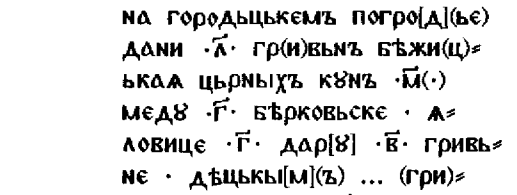
Грамота № 717. Троицкий раскоп. 60-е гг. XII в. – начало 1210-х гг. Усадьба И. Целое письмо, текст которого расположен в четырех строках:

покланѧние ѿ игоумение къ офросение присли привитъкоу
и повои ци ти многи повои а присли и до ⁞є⁞ти повои а ѧ ноу=
гене пецалоусѧ цереницами постригати въ борозе то=
моу даи попытаи есте ли маф҃еї оу манастыри

Перевод: "Поклон от игуменьи к Офросении. Пришли привитку и повой (плат). Если у тебя повоев много, то пришли их штук до пяти. А я сильно озабочена черницами: скоро постригать. Поэтому давай-ка разузнай, в монастыре ли Матфей".

Следует напомнить, что место обнаружения грамоты находится в близком соседстве с Варвариным монастырем, в котором в 1168 г. скончалась игумения Анна, а на ее место была поставлена Маремьяна на [2, с. 33]. В 1195 г. в том же монастыре умершую игумению Христину сменила Варвара [2, с. 42]. Одна из этих женщин, по-видимому, и была автором комментируемого письма. Она озабочена предстоящим в ближайшее время пострижением нескольких женщин в черницы и просит Офросинию прислать ей *повои* и *привитку* (явно от глагола *привити* 'прикрутить', 'примотать') – какой-то элемент одежды (возможно, параманд). Что касается Матфея, очевидно, что он был священником, участие которого необходимо для совершения обряда пострижения.

Грамота № 718. Михаилоархангельский раскоп. Первая половина XIII в. Практически целый документ, в котором фрагментирован небольшой участок правого края. Текст расположен в девяти строках:



Слово *погородье* известно из уставной смоленской записи о размерах поступления доходов, где оно означает государственный доход с городов [5, с. 146]. Как это очевидно, грамота № 718 является записью о величине сумм в деньгах и натуральном продукте (мед, яловицы, масло, сани, попоны, мешки, грубая ткань – *клѣтище*), следующих главному получателю дани и "детским". Коль скоро детскими назывались должностные лица княжеского двора, под главным получателем дани следует понимать князя, чему соответствует и упоминание предназначаемых именно князю черных кун.

Между тем Русская Правда содержит положение, согласно которому сумма, следующая сборщикам государственных податей (в данном случае – детским), является производной от суммы, причитающейся князю: *А от 12 гривну – емцю 70 кунъ* (Краткая Правда); *А се наклады: 12 гривенъ – отроку 2 гривны и 20 кунъ* (Пространная Правда), что отражает один и тот же процент сборщику от исходной суммы: 70 кун (при равенстве гривны 25 кунам) тождественны 2 гривнам 20 кунам [6]. В комментируемом тексте сумма, причитающаяся князю в деньгах, равна 70 гривнам (30 гривен дани и 40 гривен черных кун; дар, естественно, в общий подсчет не входит, равно как и натуральный доход). Расчет по указанной Русской Правдой пропорции устанавливает что детским причитается 16,33 гривны; поэтому можно предложить для шестой строки конъектуру: *дѣцькым(ъ 8 кунъ и полъ 17 гри)вьне.*

Упоминание Городецка и "бежецких" гривен определяет место действия документа, ассоциируясь со свидетельством приписки к Уставной грамоте князя Святослава Ольговича о епископской десятине: *А се бѣжичьскыи рядъ. Въ Бѣжичихъ 6 грив(ен) и 8 кунъ, Городецькѣ полъ пяты грив(ны), Възмени 5 грив(ен), Езьскѣ 4 грив(ны) и 8 кун, Рыбаньскѣ грив(на) волжьская, вы Изьскѣ полъ грив(ны) волжьская* [7]. Здесь упомянуты Городецк и "волжская" гривна, очевидно, идентифицируемая с "бежецкой" гривной берестяного текста. Пункты, названные в этой приписке, локализованы А.Н. Насоновым в верховьях р. Мологи, которая в районе современного города Бежецка протекает через оз. Верестово. Городу Бежецку соответствует древний топоним Городецк (иначе Городец Палиц). Бежецк еще в XVII в. оставался административным центром Городецкого стана в Бежецком Верхе [8]. Остальные пункты (кроме неустановленного Изьска) располагаются ниже Городецка в такой последовательности: погост Бежицы в 10 км от Городецка, при оз. Верестове; погост Узмень (*Възмень*) – в 18 км ниже Городецка; с. Еськи на Мологе (*Езьскъ*) – в 25 км от Городецка; с. Рыбинское на Мологе (*Рыбаньскъ*) – в 42 км от Городецка [9].

В момент составления приписки к грамоте Святослава Ольговича территория, указанная в этой приписке, составляла единый податной округ, который распался в начале 60-х гг. XIII в. Согласно "Бежецкому ряду", князь, как и в Обонежье, имел в Бежецке и Городецке право суда, но оно при Дмитрии Александровиче, т.е. в конце 1263 г. или в 1264 г. было прервано на три года: *А судъ, княже, отдалъ Дмитрии съ новгородци бежичяномъ и обонежаномъ на 3 лѣта, судье не слати* [3, с. 11, № 2]. Тогда же Городецк перешел в кормление к некоему Ивану, о чем специально был

информирован в докончаниях преемник Дмитрия Александровича на новгородском столе князь Ярослав Ярославич: *а Городець, княже, далъ Дмитрии с новгородци Иванку; а того ти, княже, не отъяти* [3, с. 9, № 11]; *Городьць Палиць а то есме дали Иванкови* [3, с. 11, № 2]. Сколько времени Иванко был на этом кормлении, неизвестно, что, однако, и не столь существенно, поскольку Бежецкий Верх был тогда необратимо разделен на Бежецк и Городецк: во всех последующих докончаниях между Новгородом и князьями названные волости обозначены уже не как административно-территориальное единство, а как особые территориальные и податные образования – *А се волости новгородьскые: Бежиче, Городець Палиць, Мелечя, Шипино, Егна* и т.д. Для датирования грамоты № 718 важно выяснить, написана она до или после разделения волостей.

До разделения волостей с Бежецкого Верха ежегодно собиралась сумма в 21 гривну и 16 кун (6 гривен 8 кун с Бежиц + 4,5 гривны с Городецка +5 гривен с Узмени +4 гривны 8 кун с Езьска +1 гривна с Рыбаньска +0,5 гривны с Изьска) После же разделения Городецк, надо думать, давал традиционные 4,5 гривны. Грамота № 718 оперирует суммой в 86 гривен 8 кун (70 гривен князю и 16 гривен 8 кун детским). Но эта сумма ровно в четыре раза превышает годовую норму податей, следующих с Бежецкого Верха по "Бежецкому ряду". Следовательно, речь в грамоте идет о получении четырехлетней недоимки с единой территории Бежецкого Верха, а грамота, таким образом, не может быть датирована временем более поздним, нежели начало 60-х гг. XIII в., что соответствует и ее стратиграфической характеристике.

Между тем само наличие этой четырехлетней недоимки является еще одним датирующим элементом грамоты. В зиму 1224/25 г. новгородцы вступили в жестокий конфликт со своим князем Всеволодом Юрьевичем (внуком Всеволода III) и его отцом Юрием, которые захватили Торжок. Разрыв с Всеволодом Юрьевичем привел к перемене на новгородском столе, на который был приглашен черниговский князь Михаил Всеволодович, *и бысть льгъко по волости Новугороду*. Добившись возвращения захваченных в Торжке товаров, Михаил однако заявил новгородцам: *"не хочю у васъ княжити, иду Цьрнигову; гость ко мнѣ пускаите, а яко земля ваша, тако земля моя". Новгородци же много умаша и, молячеся, и не могоша его умолити, и тако проводиша и съ цьстью* [2; с. 64, 268–269]. В результате новгородцы вынуждены были послать за князем в Переяславль и взять на стол Ярослава Всеволодовича, четырехлетнее правление которого вызывало в Новгороде недовольство, приведшее к тому, что в зиму 1228/29 гг. князь Ярослав получил ультиматум: *"забожницье отложи, судье по волости не слати; на всѣи воли нашеи и на вьсехъ грамотахъ Ярославлихъ ты нашь князь; или ты собе, а мы собе"* [2, с. 67, 273]. Последовавший разрыв с Ярославом вернул на новгородский стол Михаила Всеволодовича, который к концу апреля 1229 г. пришел в Новгород *и цѣлова крестъ на всѣи воли новгородьстѣи и на всѣхъ грамотахъ Ярославлихъ: и вда свободу смьрдомъ на 5 лѣт дании не платити, кто сбежалъ на чюжю землю, а симъ повеле, къто сде живеть, како уставили переднии князи, тако платите дань* [2, с. 68, 274]. Очевидно, что имеется в виду льгота тем смердам, которые бежали из Новгородской земли от князя Ярослава, т.е. четыре года тому назад, и решение о сборе четырехлетней недоимки за тот же срок с податных новгородских территорий. К 1229 г., таким образом, логично относить и комментируемую берестяную грамоту, фиксирующую сбор четырехлетней недоимки с одной из таких территорий.

Грамота № 722. Троицкий раскоп. Конец XII в. – первая половина XIII в. (предпочт. конец 1200-х – 1210-е гг.). Усадьба П. Целый документ, текст которого расположен в трех строках:

вьвєриць :в҃і гривьнѣ во бѣлѣ и во сьрьбрѣ соболь :д҃: гривєнѣ
во сѣтьхо :г҃: гривьнѣ во соукънѣхо и во хлостѣхо мьдьвѣдь=
но :в҃: гривьнѣ

Список содержит перечень звериных шкур и тканей с их оценкой в гривнах; 12 гривен кроме того обозначены как собственно деньги, состоящие в белках и серебре. Также названы собольи шкурки общей ценой в 4 гривны, сети, сукна и холсты общей ценой в 3 гривны и медвежья шкура в 2 гривны. Обращает на себя внимание употребление термина "веверицы" как собирательное обозначение денег. В том же смысле оно было употреблено в берестяных грамотах № 246 (XI в.), № 335 (первая треть XII в.), № 105 (вторая треть XII в.).

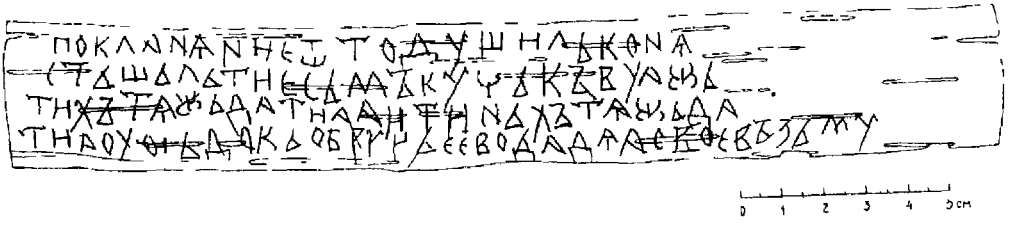


Рис 3 Прорись грамоты № 723

Грамота № 723. Михаилоархангельский раскоп. Вторая половина XII в. Целое письмо, текст которого расположен в четырех строках на внешней стороне берестяного листа:

+ покланѧниє ѿто душиль ко нѧ=
сть шьль ти єсьмъ кучькъву ажь
ти хътѧ жьдати ааи ти нь хътѧ жьда=
ти а оу ѳьдокь обруць єє водадѧ а своє възьму

Душила сообщает Нясте, что он, вернув Федоке ее "обруч", свое возьмет вне зависимости от того, хотят или не хотят ждать. Под "обручем" возможно понимать браслет или кольцо, но также и залог (в том числе обручальный, брачный). Обстоятельства действий Душилы невосстановимы, но грамота имеет исключительное значение в связи с сообщением ее автора о том, что он пошел *Кучькъву* т.е. "в Кучков", под которым может подразумеваться только населенный пункт. Между тем такой пункт хорошо известен по рассказу Ипатьевской летописи о событиях 1176 г., когда заболевшего в пути князя Михалка Юрьевича несли на носилках, *идоша съ нимь до Кучкова, рекше до Москвы* [10, стб. 600]. Ипатьевская летопись, сохранившая древнейшее название Москвы, известна по списку первой половины XV в. Только к XVII в. относится запись легенды об основании Москвы, повествующая о боярине Кучке. Следовательно, грамота № 723 является пока единственным свидетельством XII в., подтверждающим, что тогда наименование *Кучковъ* еще не было вытеснено более поздним обозначением, производным от реки, а не от имени первоначального владельца местности.

Имя Душила не чуждо новгородской ономастике. в летописном рассказе 1218 г. фигурируют братья Матей и Иван Душильцевичи, а под 1272 г упомянут Степан Душилович [2, с. 58–59, 259, 322]. В новгородских писцовых книгах имеется деревня Душилово.

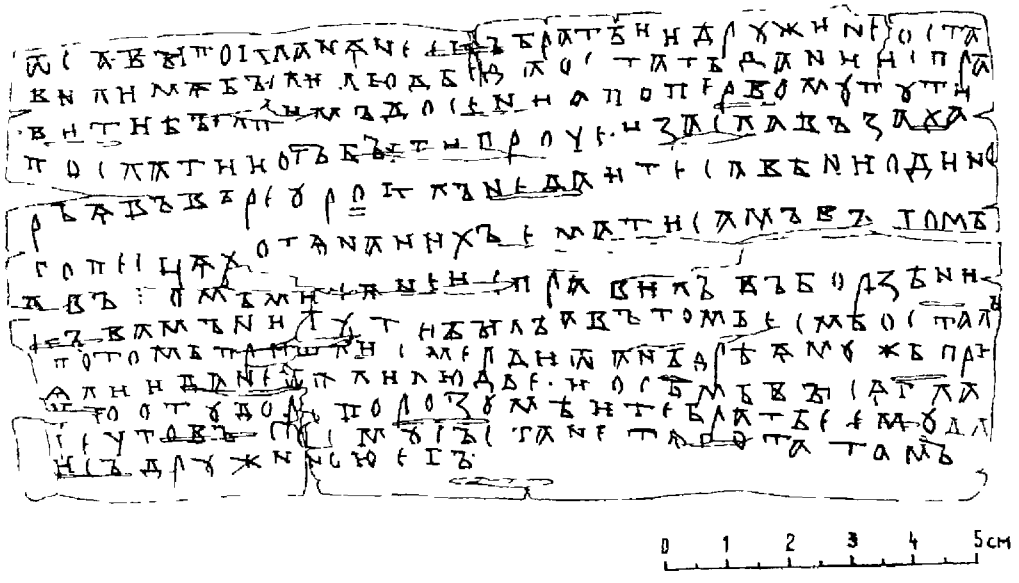


Рис 4 Прорись грамоты № 724 (начало письма)

Грамота № 724. Михаилоархангельский раскоп. Вторая половина XII в. Целое письмо, написанное на обеих сторонах берестяного листа. Текст начинается на внешней стороне коры, где он состоит из 13 строк, а продолжен на внутренней стороне, где в верхней части листа располагаются еще четыре строки.

На внешней стороне:

ѿ савы покланѧнєє къ братьи и дрꙋжинє оста=
вили мѧ были людьє да остать дани испра=
вити было имъ досєни а по пєрвомꙋ пꙋти
послати и отъбыти проче · и заславъ заха=
рьѧ въ в[ѣ]рє ꙋроклъ нє даитє савѣ ни одино=
го пєсцѧ хотѧ на нихъ ємати самъ въ томь
а въ [т]омь ми сѧ нє исправилъ въ борзѣ ни
къ вамъ ни [т]ꙋ ти былъ а въ томь єсмь осталъ
по томь пришли смєрди ѿ аньдрѣѧ мꙋжь при=
ѧли и данє ѿѧли людьє · и осьмь высѧгла
что о тꙋдорє порозꙋмѣитє братьє ємꙋ да=
чє что въ т[о] ємꙋ състанє тѧгота тамъ
и съ дрꙋжиною єгъ ·

На внутренней стороне:

а сє[л]єчѧномъ свомъ къ[н]ѧз[ь] самъ отъ [в]олокꙋ [и]
отъ [м]ъс(т)ѣ ꙋчѧстокѣ водалє а[ч]є ли ти брат[ь]є
вины л[ю]дьє на мѧ нє ищꙋ[ть] а до[вѣд]ок[а] бꙋд[є]
то жє нынєца радъ быхъ послалє [грам]о[тꙋ]

Перевод: 'От Савы поклон братьям и дружине. Покинули меня люди; а надлежало им остаток дани собрать до осени, по первопутку послать и отбыть прочь. А Захарья, прислав [человека, через него] клятвенно заявил: "Не давайте Саве ни единого песца с них собрать [Я] сам за это отвечаю". А мне по этому поводу сразу вслед за тем не

распорядился и не побывал ни у вас, ни здесь. С тем я и остался. Потом пришли смерды, от Андрея мужа приняли, и [его] люди отняли дань. А восемь [человек], что под началом Тудора, вырвались. Отнеситесь же с пониманием, братья, к нему, если там из-за этого приключится тягота ему и дружине его".

Далее на обороте: "А сельчаном своим князь сам [по внешнюю сторону] от Волока и от Мсты участки дал. Если же, братья, вины люди на мне не ищут и будет дознание, то я сейчас с радостью послал бы грамоту".

Упоминание о песцах служит указанием на местонахождение плательщиков дани, собираемой Савой. Песцы (иначе – полярные лисицы), будучи представителями фауны Арктики и Субарктики, обитают в полярных материковых тундрах. Сава находится где-то на севере новгородских владений. Упоминание в заключительной части письма Волока заставляет вспомнить, что центральным пунктом поступления заволоцкой дани была Онега, о которой говорится в Уставной грамоте князя Святослава Ольговича, выданной новгородской епископии в 1137 г.: *Того дѣля уставилъ есмь святои Софьи, ать емлеть пискупъ за десятину от виръ и продажь 100 гривенъ новыхъ кунъ, иже выдаваеть домажиричь из Онѣга. Аче не будеть полна ста у домажирича, а осмьдесятъ выдасть, а дополнокъ възметь 20 гривен у князя ис клѣти* [5, с. 148]. Логичным представляется видеть в Саве именно онежского домажирича: он не возглавляет подвижный отряд сборщиков, а пребывает в каком-то постоянном месте, куда "по первому пути" "люди" должны доставить собранную "до осени" дань, а затем отбыть прочь.

Между тем "люди" оставили Саву. Вряд ли фразу *оставили мѧ были людье* следует понимать как сообщение о бегстве от Савы его помощников. Глагол *оставити* имеет много значений, в том числе: 'отказаться', 'отречься', 'отступиться', 'отложиться' и т.п. Возможно, речь идет об отказе местных "людей" выплатить обусловленный остаток дани, который именно местным старейшинам надлежало собрать "до осени". Уместно напомнить" льстивые речи" югорских князьков в 1194 г.: *"сбираемъ сребро, и соболѣ, и иная узорочиа, а вы не губите нас, своих смердовъ и своеи дани"* [2, с. 40–41, 232–233]. Поводом для отказа от уплаты дани послужило некое распоряжение Захарии, который клятвенно сообщил (*въ в*[*ѣ*]*рѣ уроклъ*): "Не позволяйте Саве хотя бы одного песца брать, сам я в ответе за это".

Дело, однако, на этом не кончилось. Затем пришли смерды (т.е. плательщики дани, как это следует из летописной терминологии цитированного выше рассказа 1194 г.), приняли мужа от Андрея, и "люди" (т.е. сборщики дани Андреева мужа) брали дани в его пользу. Восемь человек из отряда Тудора *выскѧгли* – выскочили, сумели уйти. Не лишним будет указать, что в грамоте князя Святослава Ольговича 1137 г. в связи с северными данями дважды фигурирует некий Тудор: *на Тудоровѣ погостѣ два сорочька, у Тудора сорочекъ* [5, с. 148].

Текст оборотной стороны письма вносит определенную ясность в статус неподчинившихся Саве плательщиков дани. Сава напоминает: "А сельчанам своим князь сам дал участки от Волока и от Мсты". Иными словами, речь идет о княжеских поселенцах, колонизирующих северные владения Новгорода, а не об аборигенном населении тамошних мест.

Описанная в письме Савы ситуация типична для середины XII – начала XIII вв., когда северные дани были предметом спора между Новгородом и Суздалем. В 1149 г. новгородские данники отправились в поход "в мале"; узнав об их малочисленности, князь Юрий Владимирович Долгорукий послал против них князя Берладского с воинами. В 1169 г., когда Даньслав Лазутинич с новгородской дружиной пошел за Волок данником, *присла Андрѣи пълкъ свои на нь, и бишася с ними, и бѣше новгородьць 400, а суждальць 7000 и пособи богъ новгородцемъ, и паде их 300 и 1000, а новгородьць 15 муж; и отступиша новгородьци, и опять воротивъшеся, възяшя всю дань, а на суждальскыхъ сьрдѣхъ другую*, что, как известно, послужило

прелюдией к знаменитой битве новгородцев с суздальцами в 1170 г. В 1219 г. *поиде тоя зимы Сьмьюнъ Еминъ въ 4-хъ стѣхъ на Тоимокары, и не пусти их Гюрги, ни Ярослав сквозѣ свою землю* [2, с. 28, 33, 59, 215, 221, 260].

Рассматривая эту грамоту как свидетельство одного из эпизодов новгородско-суздальского конфликта из-за северных даней, мы под "мужем Андрея" можем понимать только сборщика дани в пользу суздальского князя Андрея Юрьевича Боголюбского, убитого в 1174 г. Если документ датируется временем ранее 1174 г., то имеется возможность идентифицировать и упомянутого в письме Савы Захарию, который, как мы видели, обладал правом распоряжаться данями и данниками. Так звали новгородского посадника, избранного в 1161 г. и убитого в 1167 г. [2, с. 31–32, 218–220], что позволяет датировать грамоту № 724 60-ми гг. XII в. Имеется, однако, возможность еще более конкретизировать эту дату. В рассказе Лаврентьевской летописи о событиях конца 1166 г. сообщается: *Тое же зимы иде Мстиславъ за Волокъ* [11, стб. 353]. Речь идет о походе в область взаимных интересов Новгорода и Суздаля сына Андрея Боголюбского Мстислава Андреевича, который и идентифицируется с "мужем Андрея" грамоты № 724. Это дает основание датировать ее зимними месяцами 1166/67 г.

Небезынтересным оказывается место находки грамоты № 724, посланной Савой своей "братье и дружине". Адресаты письма находились на Прусской улице, одна из усадеб которой и исследовалась в Михаилоархангельском раскопе. Между тем расправа с посадником Захарией в 1167 г. принесла посадничество прусскому боярину Якуну, тогда как Захария потерял жизнь, поддержав изгоняемого князя Святослава Ростиславича, который вступил в политический союз с Андреем Боголюбским. Письмо Савы, направленное и против Захарии, и против князя Андрея, обнаружено именно там, где в Новгороде пребывали их главные противники.

В 1169 г. новое столкновение за Волоком, вызванное той же причиной, привело к настоящей войне, которая завершилась 25 февраля 1170 г. победой новгородцев над осадившими Новгород войсками суздальской коалиции. Свою победу новгородцы приписали чуду от иконы "Знамение Богоматери", ставшей главным палладиумом Новгорода. Грамота № 724 ввела нас в неизвестные прежде подробности, освещающие начальную стадию этого исторического конфликта, и разъяснила причины новгородского политического переворота 1167 г.

Грамота № 725. Троицкий раскоп. Конец XII – первая половина XIII вв. Усадьба П. Целое письмо, текст которого расположен в трех строках:

ѿ рьмьшѣ покланѧньє къ климѧ(тѣ) и къ павь[лꙋ] ·б҃· дѣлѧ которєи
любо потроудисѧ до владычѣ съка(ж)ита владычѣ мою обидоу
и мои бои желѣза а ѧ ємоу нє дълъжьнє ничимъ жє и молю ва сѧ

Перевод: "От Ремши поклон Климяте и Павлу. Ради Бога, пусть кто-нибудь из вас (двоих) доберется до архиепископа; скажите архиепископу о моей обиде и о том, как я был бит и закован в кандалы. А я ему (т.е. обидчику) ничего не должен. Прошу же вас".

Один из адресатов этой грамоты Климята уже фигурировал в двух грамотах, обнаруженных ранее в том же стратиграфическом уровне. Ему адресована грамота № 531, написанная его сестрой Анной. Климята назван также в грамоте № 671, перечисляющей владельцев усадеб раскапываемого участка в связи с их вкладами в соседскую братчину. Для необычного имени *Рьмьша* подходящей славянской этимологии не усматривается. Можно предполагать его балтийское происхождение, ср. литовское имя *Rimivýdas* (*Rimvýdas*).

Грамота № 727. Троицкий раскоп. 90-е гг. XII в. – первая половина XIII в. Усадьба И. Почти целиком сохранившийся лист, утративший, однако, верхние слои бересты в правой части, отчего не поддаются прочтению концы некоторых строк. Запись расположена в девяти строках (по техническим причинам здесь концы строк обозначены вертикальной линией):

+ бл҃гословлено господе ·г҃· хр҃тсъ въ + людие + хр҃стъ во + да исповѣдѧтьсѧ го[сп]одеви + нынѧ [и п]ри + | та жь + хр҃сто въскрьсѣ + ѧкъ съкрꙋши господе : врата мѣдѧнаѧ + людие + хр҃стъ въ + [се]и дн҃[е] + | ижь сътвори господѣ возрадꙋемъсѧ + та жь людие : хр҃стъ въ + слава отец[ю и сн҃]ꙋ во в[ѣ](кы) (...) + да ꙋз[ѣ]р(ѧть) --- | и нынѧ и присно + людье + хр҃стъ въ + та же попо + хр҃стъ въскрьсѣ изъ м[ь]р[ь]твыхо + | людее + и гробеныим[о] и живото дарова + попо · и гробенымо живото д[ар](ова) --- | та же : трьпаре : кондако : та же : светилѣно + плотию ꙋсъ та же ---------- | та же :г҃: хр҃стсъ въскрьс[ѣ] : та же трьпарь : та же конодако + та же [п]---------- (свѧ)|тые боже : та же молитва + тако сѧ поеть обеденѧѧ : :г҃: хр҃ст(ъ въ) ---------|е чѧсо + ѳомѣ свѣтилено мъихъ оудо ѧзвы рꙋкою си испы(тавыи)

Это краткая запись чина службы на Фоминой неделе, составленная попом для памяти. Она состоит из литургических возгласов и начал церковных чтений, соединенных между собой лаконичным метатекстом, описывающим "драматургию" службы: "Люди: ... Затем люди: ... Затем поп: ... Люди: ... Поп: ..." " Затем тропарь, кондак. Затем светилен: ..." " Затем молитва. Так поется обедня" и т.п.

В начальной позиции *Благословлено* сокращенно передает текст "Благословено царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков". Позиция *Да исповѣдѧтьсѧ* соответствует тексту "Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыном человеческим" (псалом 106), а позиция *ѧкъ съкрꙋши* – тексту "Яко сокруши врата медная и вереи железныя сломи" (псалом 106). В позиции *Сеи дьне* подразумевается текст "Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся во нь" (псалом 107). Позиция *Да ꙋзѣрѧть* является сокращенной записью текста "Да узрят нищии и возвеселятся'. В позиции *Плотию ꙋсъ* подразумевается текст светильна (ексапостилария) "Плотию уснув, яко мертв Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли, и упразднив смерть; Пасха нетления, мира спасение" (Ексапостиларий, самогласен). В позиции *Мъихъ оудо* – текст светильна апостолу Фоме "Моих удов рукою твоею испытавый язвы, но не веруи ми, Фомо, уязвленному тебе ради; со ученики единомудрствуи, и живущаго проповедуи Бога" (Ексапостиларий, глас А).

Обозначенная в грамоте очередность текстов в целом соответствует той, которая указана в Цветной Триоди.

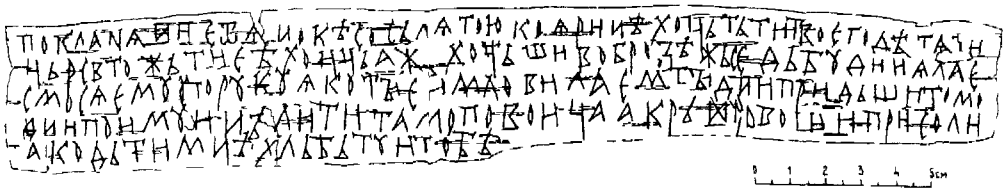


Рис 5 Прорись грамоты № 731

Грамота № 731. Троицкий раскоп. 40-е – начало 60-х гг. XII в. Усадьба П. Целое письмо, текст которого расположен в пяти строках:

покланѧние ѿ ѧнокѣ со сьлѧтою ко ѧринѣ хоцьть ти твоего дѣтѧти=
ць о свто · жь ти єѣ хоцць ажь хоцьши во брозѣ жь сєдь бꙋди и ѧла є=
смо сѧ ємꙋ по рꙋкꙋ ѧко ты си мловила ємꙋ ты дни придьши томо
дни поимꙋ и нѣ ли ти тамо повоица · а крьвоши присоли
а кодь ти мнѣ хльбь тꙋ и тобѣ

Перевод· «Поклон от Янки с Селятой Ярине. Хочет-таки детище твоего (т.е. того, что ты имеешь, что ты предлагаешь). К празднику ее хочет. Пожалуйста, срочно будь здесь. А я обещала ему свое согласие [на то, чтобы было], как ты сказала ему давеча: "Придешь – в тот же день сосватаю". А если у тебя там нет повойничка, то купи и пришли. А где мне хлеб, там и тебе».

Письмо представляет собой ответ родителей (фактически матери) на вопрос о возможном сватовстве сына. Согласно убедительной гипотезе А.А. Гиппиуса, Ярина – сваха. Повойник (женский головной убор) – один из характерных атрибутов как замужней женщины, так и свахи; ср. у Даля (т. III, с. 143): *Не рада баба повою, рада б покою*; (т. IV, с. 145): *Сваха на свадьбу спешила, рубаху на мутовке сушила, повойник на пороге катала*! Заключительная фраза грамоты – явно готовая формула, означающая: "где у меня есть пропитание, там и ты будешь сыта"; очевидно, это обещание вознаграждения Ярине.

Заметим, что на соседней усадьбе в слоях конца XII в. найдена грамота № 728: *Ѧрина* – по-видимому, ярлычок. Имя Селята встречено в грамоте № 632: *Коузема Тоудорове блезоке Селятино сыно*. Этот документ происходит из слоев несколько более древних, чем грамота № 731. Не исключено, что в комментируемом письме речь идет о Кузьме Селятиниче, либо о его брате.

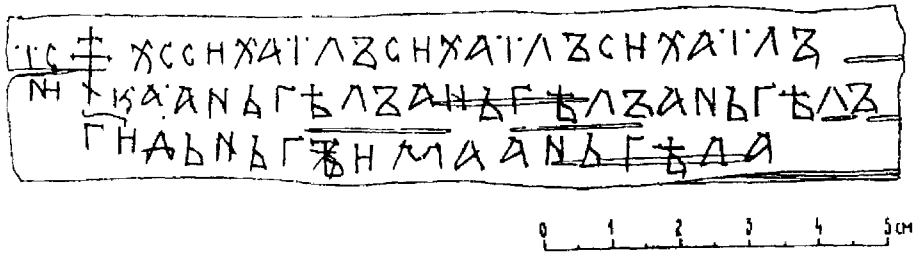


Рис 6 Прорись грамоты № 734

Грамота № 734. Троицкий раскоп. 40-е – начало 60-х гг. XII в. Усадьба З. Целиком сохранившийся документ, текст которого написан в трех строках и предварен изображением восьмиконечного креста с титлами IC – XC и NH – KA по сторонам:

ïс | хс сихаïлъ сихаïлъ сихаïлъ
ни | ка : аньгѣлъ аньгѣлъ аньгѣлъ
гидьнь гѣ има аньгѣла

Отметим изображение восьмиконечного креста с титлами, ближе всего напоминающее такое же изображение в начале известной духовной Варлаама Хутынского, которая относится к рубежу XII–XIII вв. [12]. Восьмиконечность креста на грамоте Варлаама казалась подозрительной, высказывалось мнение, что нижняя перекладина была там подрисована в позднейшее время [13]. Новой находкой эти подозрения лишаются основания.

Грамота № 734 – заговор (вероятно, против болезни). Трижды повторено имя Сихаил и слово "ангел". Сихаил – ангел (или архангел) демоноборец, известный по упоминаниям в заговорах; так, например, он упоминается вместе с Михаилом, вместе с Аносом, вместе с Сисинием и Аносом, как правило, в заговорах против лихорадки [14, с. 353–355, № 4; 15–18].

Третья строка пока еще не имеет надежной интерпретации. Написание *гидьнь*, вероятно, следует читать как *Господьнь*; получающееся при таком чтении сочетание "ангел Господень" весьма правдоподобно. *Има* – это скорее всего *имѧ* (с ошибкой в обозначении мягкости). Неясна запись *гѣ*. Возможно, *г* здесь следует понимать как цифру *3* (хотя титла или точек нет); в этом случае *гѣ* могло бы интерпретироваться как сокращенная запись для ⟨*трoиче*⟩ или ⟨*трое*⟩, а вся фраза – как "трижды имя ангела" (подразумевается: произнеси, произносится). Прием тройного повторения каждого слова заговора для увеличения его магической силы хорошо известен в этнографии. Приведем также один из опубликованных заговоров против лихорадки: "От трясцы. Писать по ровну на бумаге три имени: Анфака, Иугалы, Фатулей" [14, с. 353, №1].

Следует заметить, что изображение креста перед текстом заговора – органичный элемент заклинания. Как говорится в одном из позднейших заговоров, "крест – бесам язва, крест – трясовицам прогнание" [14, с. 355, № 4].

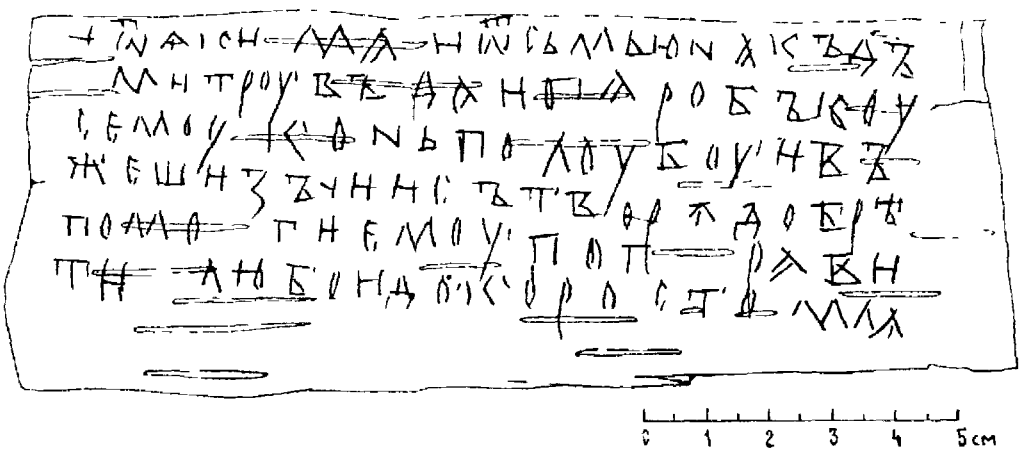


Рис 7 Прорись грамоты № 735

Грамота № 735. Троицкий раскоп. Вторая половина XII в. Усадьба И. Целое письмо, текст которого расположен в шести строках:

+ ѿ акима и ѿ сьмьюна къ дъ=
митроу вѣдаи паробъкоу
семоу конь полоубоуивъ
же шизьи и сътвора добрѣ
помоги емоу · поправи
ти любо и до коростомла

Перевод: "От Якима и Семьюна к Дмитру. Дай этому слуге (т.е. подателю сего) коня дурковатого (?) сивого и, пожалуйста, помоги ему доставить [груз] – хоть и до Коростомля" (т.е. если нужно, то даже и до Коростомля).

Один из авторов письма – Семьюн – уже известен по грамотам № 685 и № 710, найденным в том же стратиграфическом уровне.

Встреченное в тексте выражение *конь полоубоуивъ* позволяет понять загадочное место в "Девгениевом деянии": *И повеле Девгений фара своего борзаго седлати, а самъ облечесь во многоценныя ризы и поеха на полубице инаходомъ, а фара борзого повеле перед собою вести* [19]. В "Словаре русского языка XI–XVII вв." слово *полубица* реконструируется как *полубишца* и разъясняется как "конь, менее горячий, чем фарь – арабский скакун (ср. биица, бивца о драчливом, норовистом человеке)" [20]. По-видимому, однако, это слово должно быть реконструировано как *полубуица*, производное от *буии* 'дикий'. Слово *буивыи* имеет и близкие значения 'глупый', "буйный". Яким и Семьюн распоряжаются, чтобы Дмитр выдал предъявившему их письмо парубку полудикого сизого коня.

Обнаружить на картах Новгородской земли пункт с названием Коростомле не удалось, однако однотипные наименования (Видемле, Гжемле, Жемле, Радомле, Судомле, Удомле, Хотемле) присущи, как будто, только озерам.

Грамота № 736. Троицкий раскоп. 10-е – 30-е гг. XII в. Усадьба О. Практически целая грамота, текст которой написан на обеих сторонах берестяного листа разными почерками, причем второе явно представляет собой ответ на первое.

На внешней стороне в трех строках:

+ отъ ивана къ дрист[ьл]ивоу аже то [на]мъ възалє єси павьловъ (а)
[н]а прокопьѣ възати а възалє ли [є]си а в[ъзь]ми –з–––доу–є а възал[є а] (пр)=
[и]съ[ли т]акоую же вѣсть сѣмо [ол]и єсмь саме в[ь]хоу [лиχ]в[оу въ]далє

От письма сохранился лишь нижний слой (может быть, первый слой оторвал адресат письма перед тем, как воспользоваться оборотом того же берестяного листа для ответа). Поэтому текст во многих местах читается лишь с большим трудом и не всегда надежно. Для недочитанного места во второй строке с учетом сохранившихся элементов букв можно предположить (хотя и без особой уверенности) реконструкцию [*и*] *З*[*а*] (*ви*) *доу* [*ж*]*е*.

Перевод: "От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же ты [уже] взял, то возьми ... (возможно: также и для Завида). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока я сам не отдал все проценты (подразумевается: по своим собственным долгам).

Выражение *намъ павьловъ* "Павловы проценты", вообще говоря, двусмысленно: это либо проценты, которые Павел должен выплатить, либо проценты, которые ему причитаются. Учитывая характер отношений между действующими лицами, более вероятным следует признать второе.

На внутренней стороне в трех строках:

(о)тъ дристива къ вивановоу нє възалє єсмь ни вѣкъшѣ ни ви=
[д]алъ єго толико възалъ єсмь ж прокопьѣ възалъ без ног=
атѣ гривьнж

Перевод: "От Дристива к Ивану. Я не взял ни векши и [даже] не видал его. Я взял только у Прокопьи, [а именно] взял без ногаты гривну". Это непосредственный (и скорее всего немедленный) ответ на письмо, содержащееся на внешней стороне бересты. Слово *его* подразумевает Павла: Дристив либо не взял ни векши у Павла, либо ни векши для Павла. Интересно, что автор предпочитает называть себя чуть-чуть иначе, чем его именует Иван: *Дристивъ*, а не *Дристьливъ*.

Вопрос о личности инициатора этого обмена письмами Ивана решается местом грамоты № 736 в топографическом и хронологическом контексте всего комплекса берестяных грамот Троицкого раскопа. Еще в 1980 г. в напластованиях начала XII в. была обнаружена грамота № 586, своим содержанием связанная с военным походом и

называющая некоего Ивана. В 1985 г. в тех же слоях была найдена грамота № 633, упоминающая Ивана как предводителя военного похода. Это дало основание идентифицировать Ивана упомянутых берестяных документов с новгородским посадником Иванком Павловичем, который был избран на эту должность в 1134 г. Он был одним из предводителей похода на Суздаль в конце 1134 г. В этом походе и погиб (в трагической для Новгорода битве на Ждане горе 26 января 1135 г.; *и убиша посадника новгородьскаго Иванка, мужа храбра зѣло*, говорится об этом в летописи [2, с. 23, 208, 445]. С именем Иванка Павловича связан также воздвигнутый в 1133 г. Стерженский крест, надпись которого сообщает об участии Иванка в больших ирригационных работах на верхней Волге: *В л(ѣт)о 6641 мсц҃ѧ июлѧ 14 дн҃ь почѧхь рыти рѣкѹсю ѧзъ Иванко Павловиць і крс҃тъ сь постав(и)хъ* [21].

Находка грамоты № 736, соединяющей имена Ивана и Павла, подкрепляет предложенную идентификацию и позволяет трактовать ее содержание как проявление заботы Иванка Павловича о доходах его отца Павла от тех сумм, которые были им отданы в рост.

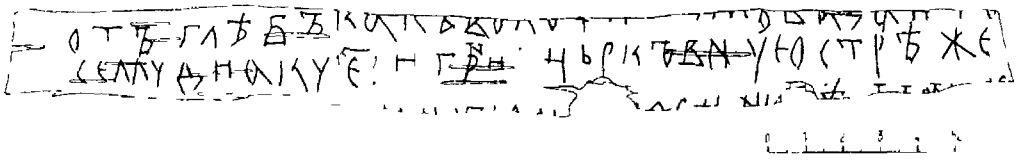


Рис 8 Прорись грамоты № 739

Грамота № 739. Троицкий раскоп. Первое сорокалетие XII в.; вероятно, 1137–1138 г. Усадьба П. Начало письма, сохранившего две строки:

отъ глѣбъка к[ъ] воло[чѧ](н)[омъ въ]да[ите]
сему диаку :є҃: и гри҃ цьркъвную стрѣже|...

Перевод: "От Глебка к волочанам. Выдайте сему дьяку 5 и церковную гривну..."

Представляется, что речь идет о взимании пошлины и церковной десятины с волочан. Если это так, то здесь может иметься в виду только Заволочье, а не Волок Ламский или Волочек Мстинский (Вышний), так как Уставной грамотой Святослава Ольговича 1137 г. церковная десятина обеспечивается сбором пошлины с двинских волостей. Дьяки в Новгороде бывали и церковными, и светскими (например, в летописи упоминаются вечевые дьяки); знают источники и княжеских дьяков. "5", противопоставленное церковной гривне, в этом контексте должно означать основную сумму сбора, которая в Заволочье может соответствовать и 5 гривнам, и 5 тысячам белок, и 5 сорочкам.

Что касается автора письма, в нем заманчиво было бы видеть брата новгородского князя Святослава Ольговича – Глебка, призванного в 1137 г. на помощь против псковичей, которые приняли к себе изгнанного из Новгорода князя Всеволода Мстиславича: *Потомь же Святославъ Ольговиць съвъкупи всю землю Новгородьскую, и брата своего приведе Глѣбъка, куряны съ половьци, идоша на Пльсковъ прогонитъ Всѣволода* [2, с. 25, 210] Умер Глеб Ольгович в 1138 г. [11, стб. 306].

Грамота № 745. Троицкий раскоп. Конец XI – первая четверть XII в. Усадьба П. Целиком сохранившееся письмо, текст которого расположен в трех строках:

ѿ павъла из ростова къ братонѣжъкоу аже то лодиѧ присълана кыѧ-
нинѧ обѣсти ѫ кънѧзоу дати не боуде присловъѧ ни тобѣ ни павъ-
лови

Перевод: "От Павла [письмо] из Ростова к Братонежку. Если ладья киевлянина [уже] прислана, то сообщи о ней князю, чтобы не было худой славы ни тебе, ни Павлу". Поскольку автор письма Павел назван в тексте в третьем лице, можно предполагать, что он писал его не сам.

Трактовать сочетание *ѿ Павъла из Ростова* как "от Павла-ростовца" нет оснований: судя по другим древнерусским текстам, в этом случае ожидалось бы *ѿ Павъла ѿ ростовьца*". Павел находится в отъезде и заботится о том, чтобы за это время его репутация не пострадала.

В слое с той же стратиграфической характеристикой были обнаружены берестяные грамоты № 736 (в ней фигурируют Павел и Иван), № 586, № 633 (в них фигурирует Иван), что дало основание идентифицировать Ивана с Иванком Павловичем. Логично в авторе грамоты № 745 видеть отца Иванка – Павла, с которым, вероятнее всего, отождествляется лицо, бывшее в 1116 г. ладожским посадником [2, с. 20, 204]. Известно, что в этот период посадниками в новгородские пригороды назначались бояре-новгородцы; так, в 1132 г. новгородцы назначили псковским посадником Мирослава, а ладожским – Рагуила [2, с. 23, 207]. Братонежко, к которому обращается Павел, судя по структуре имени, мог быть каким-то родственником Нежаты и Нежки. Вполне вероятно, что и сам Павел состоял в родстве с этой семьей, ср. тесные отношения Ивана с Нежатой (грамота № 586) и с Завидом (братом Нежаты и Нежки, грамота № 736). По расчету времени, князем, упомянутым в этом документе, является скорее всего Мстислав Владимирович.

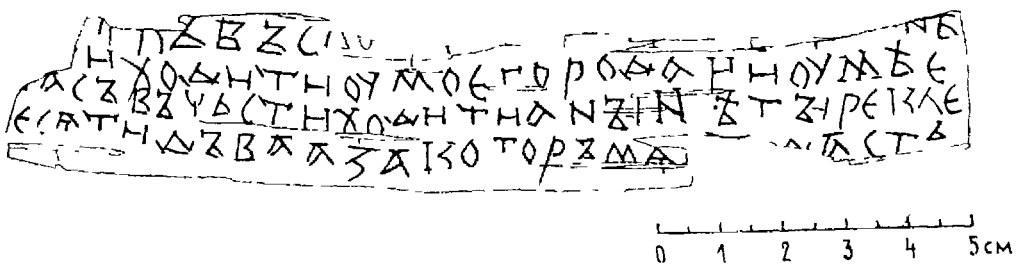


Рис 9 Прорись грамоты № 748

Грамота № 748. Лукинский раскоп. XII в., вероятно, вторая половина. Правая часть письма, не сохранившего верхних строк:

... | ... (въ чьс)[т]и ходити оу моего рода ци оумѣе≠
... (оу) [н]асъ въ чьсти ходити а нынѣ ты рекле
... (д)есати дъва а за которъ ма [ѿ]дасть (| ...)

Ниже последней строки могло быть только несколько слов в начале еще одной строки; судя по смыслу, такое продолжение имелось.

Связный перевод из-за обрывов невозможен. В первой строке, по-видимому, было сказано: "... [в чести] ходить (т.е. быть) у моего рода". Может быть, к этой же фразе относилось последующее "умеешь ли", "если умеешь" (или "умеет ли", "если умеет"). Вторая строка: "... у нас в чести ходить. А теперь ты сказал..." Третья строка: "... два. А за которого меня отдаст (очевидно, отец), ..."; после этого могло стоять, например: "не знаю" или "за того и пойду". Из последней фразы видно, что автором письма была девушка и речь идет о выдаче ее замуж. *Которыи* в древнерусском языке первоначально означало 'который из двух'; вполне вероятно, что здесь это значение сохранено, т.е. речь идет о выборе из двух возможных женихов (связано ли с этим слово *дъва* в предыдущей фразе, неизвестно). Девушка пишет мужчине (ср. *ты*

рекле) – может быть, жениху, но, может быть, и какому-то родственнику. Начальная часть текста (до *а нынѣ ты рекле*) – это либо слова самой девушки (в этом случае адресатом скорее всего является жених и речь идет о том, как ему оказаться в чести у новой родни), либо пересказ того, что раньше говорил адресат (ср. *а нынѣ ты рекле*; в этом случае сказанное относится к невесте).

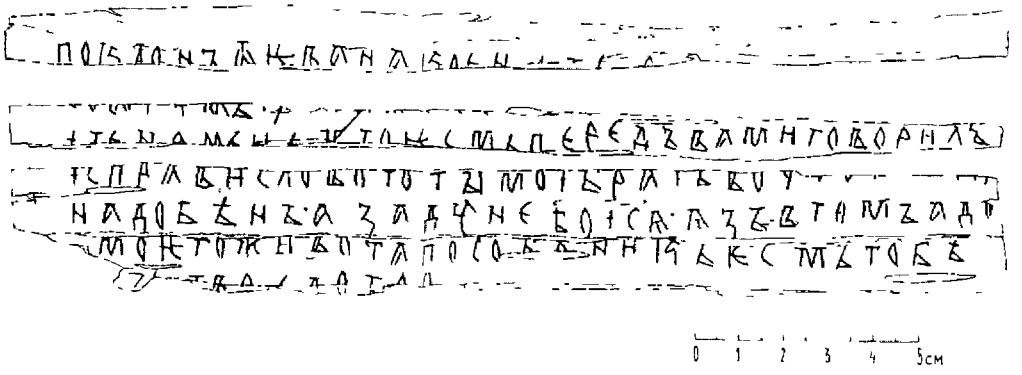


Рис. 10 Прорись грамоты № 749

Грамота № 749. Федоровский раскоп. Стратиграфической даты нет, палеографически вторая половина XIV – первая четверть XV вв. Документ обнаружен в четырех фрагментах, из которых два соединились, образовав заключительную часть письма.

Начальная часть:

поклонъ ѿ ивана к [а]ен[ьт]е[ю] ...

Срединная часть:

[с]о [ѿт]цмъ ...
ите на мене [ч]то есмь передъ вами говорилъ

Конечная часть:

исправи слово то ты мои брат[ъ] во ч[т]о [т](и е)[си]
надобѣнъ · а заду не боися · азъ в томъ · а до
моего живота посо[бь]никъ есмь тобѣ
[з](а) твое [д]об[р]о

Хотя края срединного и конечного фрагментов не смыкаются, по всей вероятности разрыва в тексте здесь нет (т.е. следует предполагать, что между фрагментами была еще узкая полоска бересты, не содержащая ни одной целой строки).

Перевод (в предположении, что между *говорилъ* и *исправи* лакуны нет): "Поклон от Ивана к Лёнтию". После разрыва: '... с отцом ...". После следующего разрыва: "... на меня. Что я перед вами говорил, это [мое] слово ты исполни: ты мой брат, для чего же [еще] ты и нужен! А того, что было (?), не бойся – за это отвечаю я. А я до конца жизни буду тебе помощник за твое добро".

Значение слова *задъ* в данном контексте не совсем ясно. Скорее всего, это 'прошлое', 'прежнее', т.е. имеется в виду какое-то событие в прошлом, за которое нужно нести ответственность. Но не исключено также и значение 'последствия'.

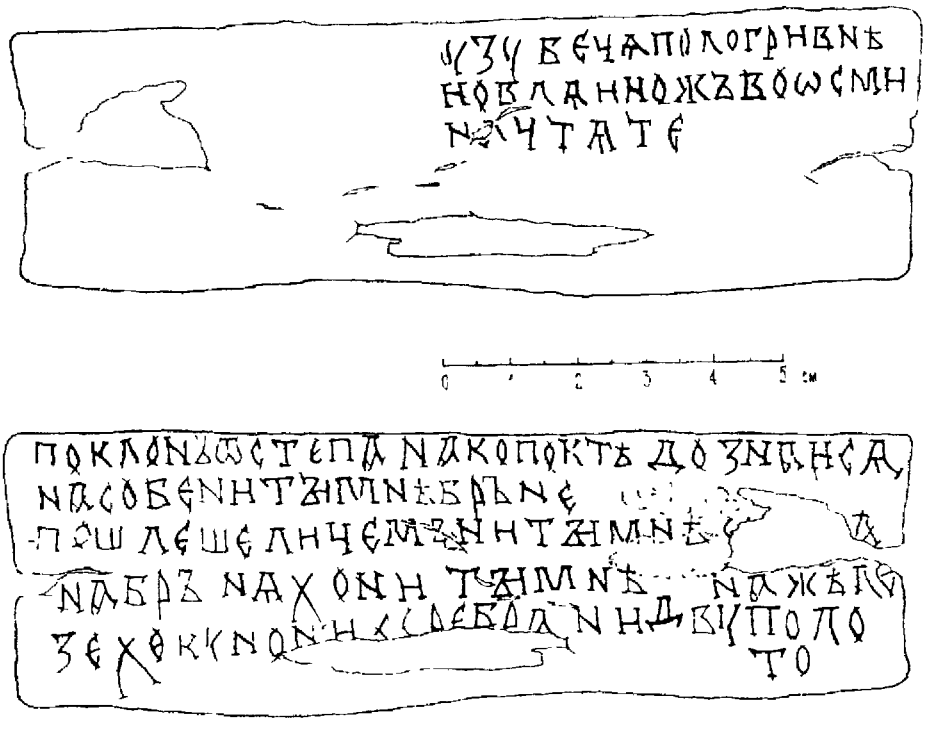


Рис 11. Прорись грамоты № 750

Грамота № 750. Федоровский раскоп. Рубеж XIII–XIV вв. – первое сорокалетие XIV в. На двух сторонах берестяного листа одним и тем же почерком написаны два разных документа: записка на память самому себе и письмо. Записка расположена на внутренней, более удобной для писания стороне листа; очевидно, она была написана раньше, чем письмо. Либо автор, не найдя другого листа бересты, написал письмо на обороте записки и послал его, не обращая внимания на наличие записки, либо перед нами не само письмо, а его черновик; ср. записи Моисея (грамота № 531), куда входят как списки долгов, так и черновик официальной жалобы.

На внутренней стороне текст в трех строках:

у зубѣца поло гривнѣ
новаа и ножъ во шсми
нацтате

Перевод: "У Зубца полгривны новых и нож за восемнадцать (не указано, чего)".

На внешней стороне текст в шести строках:

пожлонъ ѿ степана ко покте дознаиса
на собѣ ни ты мнѣ брънѣ
пошлѣше лицемъ ни ты мнѣ [ѡ](куп)а
на бр[ъ]наχо ни ты мнѣ на жѣлѣ=
зеχо куно [н]и [сере]бра ни дву поло=
то

Адресат, по-видимому, именовался *Потка*, т.е. в *ко Покте* переставлены буквы (ср. перестановку букв в *нацтате* той же грамоты). Это прозвище: "птица" (из *пътъ-*

ка). Оно было очень распространено: Н.М. Тупиков отмечает целый ряд людей с таким прозвищем, причем большинство из них – новгородцы [22]. Интересно, что в Синодальном списке Новгородской Первой летописи один раз отмечена точно такая же перестановка в данной антропонимической основе: *оубиша Романа Пъкта* (под 1200 г.), в младшем изводе – *Романа Потка* [2, с. 45, 239]. Не исключено, таким образом, что метатеза в этом имени носила не графический, а фонетический характер.

Перевод. "Поклон от Степана Потке. Рассуди сам: ты мне не присылаешь ни самих доспехов, ни возмещения за них, ни платы за оковы – ни кун, ни серебра, ни двух полтей". Возможно, впрочем, что словом *желѣза* могли называться не только оковы (кандалы), но и вообще железные изделия.

Стилистика письма великолепна. Автор как бы просто приглашает адресата задуматься над несколькими фактами, явно нарушающими справедливость. Никакого банального резюме типа "так пришли же скорее". Чрезвычайная выразительность достигается, с одной стороны, предельным лаконизмом в изложении фактов (в частности, глагол *пошлешь* не повторяется), с другой – тройным повторением *ни ты мнѣ*, несущего основной эмоциональный заряд, и еще двумя *ни* в составе последней фразы.

Степан, вероятно, – мастер-оружейник или торговец оружейным товаром. Он изготовил (или доставил) для Потки доспехи (которые тот, по-видимому, объявил неудовлетворительными) и оковы, для Зубца нож. За оковы Степан должен был получить плату деньгами (кунами или серебром) и так называемый пополнок (дополнение натурой) – в данном случае два полтя мяса.

Особую проблему составляет термин "гривна новая", фигурирующий в записи о долге Зубца. С момента возникновения новой денежной единицы "рубля" на месте прежней "гривны серебра" на рубеже XIII и XIV вв. величина гривны ("гривны кун") оставалась неизменной вплоть до 10-х гг. XV в., составляя тринадцатую часть рубля (около 13 гр серебра) [23, 24]. Предполагалось, что такой же она была и во второй половине XIII в., когда гривна серебра делилась на 15 гривен кун, а рубль, таким образом, возник путем уменьшения прежней гривны серебра на две гривны кун [24, с. 176]. Однако существует источник, относящийся ко второй половине XIII в. и фиксирующий равенство в Новгороде гривны серебра не пятнадцати, а семи с половиной гривнам кун. Имеем в виду статью "О бесчестии" в Пространной редакции Русской Правды: *а за гривну сребра полъ осмѣ гривнѣ* [2, с. 498; 25]. Таким образом, гривна кун во второй половине XIII в. равнялась примерно 26 гр серебра, т.е. вдвое превышала гривну кун рублевой системы XIV в. Именно к последней на первых порах и должно было относиться обозначение "гривна новая". Надо полагать, что его присутствие в тексте грамоты № 750 датирует документ рубежом XIII–XIV вв., когда возникла рублевая система, что соответствует и стратиграфической дате грамоты.

Грамота № 752 Троицкий раскоп 80-е гг. XI в. – 1100 гг. Усадьба К. Сохранилась в виде двух фрагментов длиной до 45,5 см. Первый фрагмент соответствует начальной части письма, второй – его окончанию. Они не соединяются друг с другом, так как отсутствует средняя часть документа.

На первом фрагменте сохранились три строки:

---------- (к)[ъ] тобѣ тришьдъ а въ сю недѣлю цьтъ до мьнь зъла имѣѣши оже | є[с]и къ мънѣ н[ь при]ходилъ а азъ та есмѣла акы братъ собѣ ци оуже ти есмь задѣла сълюци а то|бѣ вѣдѣ ако єсть нє годьнъ оже бы ти годьнъ то [из] оцью бы са вытьрьго притькль | ...

На конечном фрагменте сохранились также три строки:

... [ны]нѣ к[ъ]дь иногь въспиши жь ми [пр]о ... ... | [тьбь] хаблю ци ти боудоу задѣла своимъ бьзоумьєль оже ми са поцьньши насмихати а соу|дить бъ̄ [и] моа худость

Между начальной и конечной частью утрачено не менее двух строк (скорее всего ровно две). Лакуна между *ми* [*пр*]*о* и // [*тьбь*] *хаблю* довольно велика (около 30 букв).

Перевод: "[Я посылала (?)] к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю (или: в это воскресенье) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я тебя задела тем, что посылала [к тебе]? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под [людских] глаз и пришел...". После большого разрыва: "... теперь где-нибудь в другом месте. Отпиши же мне про...". После разрыва в шесть, восемь слов сохранился конец этой (или, может быть, следующей) фразы: ... [*тьбь*] *хаблю*; здесь возможны лишь вольные предположения, например, (*николи же сѧ*) [*тьбь*] *хаблю* "никогда тебя не оставлю (не отвергну)" или (*хочеши ли дати сѧ*) [*тьбь*] *хаблю* "хочешь ли, чтобы я тебя оставила" и т.п. Заключительная фраза: "Буде даже я тебя по своему неразумию задела, если ты начнешь надо мною насмехаться, то судит [тебя] Бог и моя худость (= я)".

Судя по длине лакуны в начале первой строки, адресной формулы в грамоте не было: даже если у фразы, оканчивающейся на *тобѣ тришьдъ*, было очень короткое начало (скажем, *сълала есмь къ*), для адресной формулы места не остается. Отсутствие адресной формулы естественно связывать с интимным характером письма.

По содержанию и стилю грамота уникальна. Ее едва ли можно истолковать иначе, как любовное письмо: при других мыслимых интерпретациях непонятно, как объяснить тему возможной обиды ("задетости") адресата, необходимость укрываться от людских глаз и в особенности страх героини перед тем, что она может стать предметом насмешки.

Письмо написано человеком, несомненно знакомым с литературным языком. Об этом говорят прежде всего выражения *соудить Б(ог)ъ и моѧ хоудость, своимъ бьзоумьемь, (и)мела акы братъ собѣ* Возникает мысль о том, что письмо фактически написано неким третьим лицом – скажем, образованным монахом. Но интимный характер содержания (равно как и отсутствие адресной формулы) делает эту гипотезу весьма уязвимой. Более вероятно все же, что перед нами автограф образованной (следовательно, обладающей достаточно высоким социальным положением) молодой женщины. Можно лишь поражаться тому, сколь изысканное послание могла направить женщина XI века возлюбленному, не пришедшему на свидание. Всплеск ее страсти воплощен в аккуратные строки, написанные красивейшим почерком, однако нервная эмоциональность прорывается в описках, частично, впрочем, исправленных.

Естественность, с которой героиня пишет *въспиши жь ми* "напиши же мне в ответ", показывает, что как для нее, так и для ее адресата писать и получать письма было делом обычным. По-видимому и те приглашения, с которыми она уже трижды обращалась к адресату, тоже были письменными.

Уникальность грамоты № 752 особенно очевидна на фоне хронологической статистики берестяных документов Новгорода. Из 753 найденных к сегодняшнему дню грамот только 27 относятся к XI – началу XII вв. и почти все они отличаются прагматической сухостью деловых документов. На Троицком раскопе грамоты раннего периода (XI – начала XIII в.) решительно преобладают, однако и здесь из 201 документа лишь шесть относятся к XI – началу XII в., а последний из них до находок 1993 г. был обнаружен в 1983 г

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 *Янин В Л , Зализняк А А* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг) М , 1993
2 Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов М , Л , 1950
3 Грамоты Великого Новгорода и Пскова М , Л , 1949 С 55 № 28
4 Сл Моис , 198 // Срезневский И И Словарь древнерусского языка Репринтное издание Т 3 М , 1989 Стб 1030
5 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв М , 1976
6 *Янин В Л* Археологический комментарий к Русской Правде // Новгородский сборник 50 лет раскопок Новгорода М , 1982 С 144

7. *Тихомиров М.Н., Щепкина М.В.* Два памятника новгородской письменности. М., 1952. С. 21.
8. *Готье Ю.В.* Замосковный край в XVII в. М., 1937. С. 372–373.
9. *Насонов А.Н.* "Русская земля" и образование территории Древнерусского государства. М., 1951. С. 91.
10. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1908.
11. Полное собрание русских летописей. Т. 1. Изд. 2-е, Вып. 2. Л., 1927.
12. *Зализняк А.А., Янин В.Л.* Вкладная грамота Варлаама Хутынского // RLing. XVI. 1993. P. 185–202.
13. *Тихомиров М.Н.* О частных актах в древней Руси // Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 243.
14. *Забылин И.* Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880.
15. *Майков Л.Н.* Великорусские заклинания. М., 1869 (заговор № 105).
16. *Бродский, Мендельсон, Сидоров.* Историко-литературная хрестоматия. Ч. 1. Изд. 4-е. (Б.М.), 1923. С. 39–40.
17. Русский фольклор. Хрестоматия для высших педагогических учебных заведений / Сост. проф. Н.П. Андреев. Изд. 2-е. М.; Л., 1938. С. 53.
18. *Соколов М.Н.* Новый материал для объяснения амулетов, называемых змеевиками. М., 1895. С. 34.
19. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 50–52.
20. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 16. М., 1990. С. 260.
21. *Орлов А.С.* Библиография русских надписей XI–XV вв. М.; Л., 1952. С. 24–25. № 15.
22. *Тупиков Н.М.* Словарь древнерусских личных собственных имен // Зап. Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического общества. Т. VI. СПб., 1903. С. 375.
23. *Янин В. Л.* Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы XV в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 3. Л., 1970. С. 150–179.
24. *Янин В.Л.* К истории формирования новгородской денежной системы XV в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 11. Л., 1979. С. 251–259.
25. Российское законодательство X–XX веков. Т. 1: Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 73, 127.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. С. Л. НИКОЛАЕВ

РАННЕЕ ДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ

Большинство известных древнерусских диалектных различий не может рассматриваться в качестве пережитков племенных языков (диалектов), существовавших до сложения общевосточнославянского континуума. Эти различия либо действительно поздние (например, возникшие после падения слабых редуцированных), либо имеют ярко выраженный ареальный характер (взрывное/фрикативное *г*, аканье и т. д.), и трудно установить, в каком из диалектов находился центр той или иной инновации.

Одна из теорий возникновения и развития восточнославянского континуума предполагает возведение входящих в него говоров к единому правосточнославянскому (древнерусскому) языку, диахронической ступени между позднепраславянским диалектно раздробленным языком и восточнославянскими диалектами (см. в первую очередь [1]). Согласно другому подходу, восточнославянская территория изначально представляла собою лингвогеографическое продолжение позднепраславянского континуума с незначительными ареальными различиями, на которую распространялись затухающие инновационные "волны", направлявшиеся первоначально с юго-запада к северо-востоку [2], а диалектное членение восточнославянского континуума "в себе" началось уже в эпоху "падения" редуцированных. "Волновая" теория, однако, не противоречит как теории существования правосточнославянского языка[1], так и теории гетерогенного происхождения восточнославянского диалектного континуума.

Проблема заключается в следующем: восходят ли современные группировки славянских говоров (восточно-, южно-, западнославянская и т. п.) непосредственно к позднепраславянским диалектам либо к группам близкородственных диалектов, в основном находившимся на тех же территориях, что и их исторические потомки, или названные современные группировки являются гетерогенными и мозаичными с позднепраславянской точки зрения. Мозаичность позднепраславянского языкового ландшафта могла быть, в частности, следствием разнонаправленных и разновременных передвижений групп населения по уже в III–IV вв. обширной и диалектно раздробленной Славии. В последнем случае можно предположить, что обнаружатся древние черты, связывающие нетривиальным образом отдельные зоны современных группировок. В таком случае образование большинства современных диалектных группировок можно представить как результат конвергентного развития.

---

[1] Однако в этом случае на деле оказывается, что принимаемый "правосточнославянский" в общем ничем не отличается от праславянского, реконструкция которого, кстати, нуждается в значительных уточнениях. В частности, некоторые древние диалектные праславянские особенности, например, в области акцентуации, являются гораздо более древними, чем сам "праславянский" уровень, и отражают членение балто-славянского (resp. местного позднеиндоевропейского) континуума — см. [3, с. 130–131].

Археологические исследования последних десятилетий убедительно доказали разнородность большинства славянских ареалов, при этом несомненна связь отдельных восточнославянских племенных культур с различными культурами южно- и западнославянской областей (см. [4, 5]). Восточнославянские племена, зачастую имевшие слабые контакты между собою, несомненно говорили на собственных племенных диалектах, отличительные черты которых сформировались еще до переселения их носителей на новые территории[2]. Эти черты могли стираться позднее, в результате усиления ареальных контактов и распространения ареальных изоглосс. Времени, прошедшего с момента установления более или менее интенсивных межплеменных контактов, необходимых для развития языковой интерференции (XI–XIII в.), было явно недостаточно, чтобы племенные диалекты успели сблизиться до почти полной унификации, образовав "общевосточнославянский" язык, использовавшийся на обширной территории, к вторичным диалектам которого, как обычно считается, восходят современные восточнославянские языки и диалекты.

Веским подтверждением существования "общевосточнославянского" праязыка было то, что в большинстве своем оказались малоуспешными попытки возвести те или иные особенности современных восточнославянских диалектов и групп говоров к эпохе племенных диалектов (кривичскому, радимичскому, древлянскому и т. д.)[3]. Это привело к тому, что во второй половине XX в. в великорусской исторической диалектологии окончательно утвердилось мнение о чрезвычайной трудности и даже невозможности найти под позднейшими напластованиями старые диалектные особенности (см., например, [10]). В белорусской и украинской научной традиции столь категоричное сомнение, к счастью, не восторжествовало, однако практических результатов работы в этом направлении долгое время не приносили. На первый взгляд крупные синхронные восточнославянские группировки в общем соотносятся с огрубленными археологическими ареалами племен (см. [11]), однако отсутствуют строгие доказательства "племенного" происхождения тех или иных изоглосс ввиду невозможности установить абсолютную и относительную хронологию возникновения большинства из них[4].

Лишь в последние годы гипотеза сохранения древнейших восточнославянских диалектных различий получила серьезную поддержку. С одной стороны, решающие аргументы в пользу этой гипотезы представили материал древненовгородских берестяных грамот и рассмотренные с новой точки зрения данные северо-западных и западных великорусских и северо-восточных белорусских говоров.

С другой стороны, быстрое развитие славянской исторической акцентологии привело к обнаружению релевантного корпуса фактов, на которых строится теория глубокого позднe- и даже раннепраславянского диалектного членения и мозаичности позднепраславянского лингвогеографического ландшафта (см. [13, 3, 14])[5].

---

[2] Судя по данным археологии, относительно "новыми" в Восточной Славии должны считаться все территории, кроме Припятского Полесья и Прикарпатья (в широком смысле). Лингвистические данные, по-видимому, позволяют предположить древность славянского заселения Волго-Клязьминского междуречья.

[3] Из верных по идее, но малодоказательных по существу можно назвать работы [6–8]. См. также [9].

[4] Следует отметить одну из наиболее успешных работ на эту тему: [12].

[5] Различия между акцентуационными системами, возникшие в результате тривиальных фонетических процессов (перетяжек ударения, сокращения долгот и т. д.), в дальнейшем, морфонологизуясь, с трудом подвергаются разрушению вследствие контактных взаимодействий диалектов. Акцентуационные модели пронизывают всю морфонологическую систему языка, обладая при этом низкой смыслоразличительной функцией, в результате чего специфические признаки этих моделей, деформируясь в одной грамматической категории, достаточно регулярно сохраняются в других. Эти модели, как правило, не могут быть заимствованы дру-

А.А. Зализняк в результате анализа языка берестяных грамот пришел к выводу, что "в целом древненовгородский предстает как сильно обособленный славянский диалект, отличия которого от других восточнославянских диалектов в части случаев восходят к праславянской эпохе" [15, с. 51]. При этом хорошо видно, что многие "необщерусские" черты, ярко проявляющиеся в наиболее старых грамотах, постепенно исчезают, сначала сосуществуя с "общерусскими"[6], а позднее появляясь лишь как редкие архаизмы. Современные севернорусские диалекты, в основе которых лежало новгородское "койне", сохраняют древненовгородские черты крайне неравномерно, чаще в лексикализованном виде или в качестве "системных архаизмов".

Дальнейшие исследования показали, что "невосточнославянские" черты, отмеченные А.А. Зализняком в древненовгородском, являются лишь частью гораздо более обширного комплекса специфических признаков, вошедших в древненовгородское "койне" в основном из говоров древнепсковского типа (см. [16]), в свою очередь принадлежавших к севернопсковской разновидности распространенных на обширной территории **кривичских племенных говоров**[7], иными словами, диалектно раздробленного **кривичского племенного языка**, противопоставленного всем другим позднепраславянским диалектным формированиям мощным пучком специфических изоглосс. Выявление этих изоглосс стало возможным в результате анализа сохранившихся в северо-западных великорусских и северо-восточных белорусских говорах системных архаизмов древнейшего периода, в той или иной мере стертых и затемненных позднейшими явлениями, которые возникали самостоятельно либо заимствовались из сопредельных некривичских систем. Древность этих особенностей подтверждается их фиксацией в берестяных грамотах (начиная с XI в.), написанных на живом древненовгородском языке.

Лингвогеографические ареалы большинства особенностей, возводимых нами к кривичскому племенному языку, очень точно ложатся в археологический ареал кривичей ([17; 18], а также [19; 4]), а те случаи, когда данные черты обнаруживаются вне этого ареала, легко находят объяснение, например, в переселении носителей кривичских по происхождению диалектов на новые территории уже в историческое время.

Проекция в древность обнаруживаемых архаизмов дает возможность реконструировать прежнее членение племенного языка кривичей, который

гими системами уже в силу своего крайне сложного морфонологического устройства. Чересполосица древних акцентуационных систем на славянских территориях указывает на явно гетерогенный характер таких поздних общностей, как восточнославянская, южнославянская или западнославянская. Анализ древних акцентологических изоглосс и сопоставление их с неакцентологическими приводит к установлению новых пучков изоглосс, образование которых может быть привязано к определенному моменту истории. Без акцентологической составляющей эти пучки, как правило, не могут быть однозначно интерпретированы в терминах относительной хронологии.

[6] Собственно, близкими к великорусским литературным, иначе говоря, центрально-среднерусским формам. Исследования, проводившиеся в последние годы в области полесских белорусских и украинских, юго-западных украинских говоров, также показали принципиальную "невозводимость" многих компонентов их систем (начиная с фонетических) к традиционной "древнерусской" ("общевосточнославянской"). Поэтому кажется крайне необходимым скорейшее возвращение к проблеме диалектной основы стандартного древнерусского языка.

[7] См. [17]. Видимо, постепенному сближению говоров, основанных на новгородском койне, с восточнорусскими способствовала также и бóльшая близость ильменско-словенских говоров к восточновеликорусским, чем к кривичским.

делился на: 1) **псковский диалект**, делившийся в свою очередь на севернопсковский, центральнопсковский и южнопсковский; производными от севернопсковских являются онежские говоры и многие северо-восточные (вятские, уральские, сибирские) великорусские говоры на территориях нового заселения; 2) **древненовгородский диалект** (древненовгородское койне), сложившийся при взаимодействии псковских и ильменско-словенских (не кривичских) говоров; 3) **смоленский диалект** — к нему восходит часть западных великорусских и северо-восточных белорусских говоров; 4) **верхневолжский диалект** — к нему восходит часть "селигеро-торжковских" говоров, в основном в р-не Селигера; 5) **полоцкий диалект** — на его основе сформировались северные и северо-западные белорусские говоры; 6) **западный диалект** — к нему восходит часть белорусских говоров северной Гродненщины. Древнекривичские говоры (в основном южнопсковские и смоленские) приняли участие в формировании многих великорусских говоров к востоку и западу от Москвы ("кривичский пояс" — см. [17, с. 137–141]).

Некоторые из важнейших фонетических и акцентологических черт, которые, с одной стороны, противопоставляют кривичские диалекты другим восточнославянским, и, с другой стороны, дают несколько различные рефлексы в разных кривичских по происхождению системах, приводятся ниже. Некоторые из кривичских изоглосс показаны на карте 1.

1. Рефлексы "напряженных редуцированных"

В большинстве кривичских в основе говоров особое развитие имеют так называемые "напряженные" **ъ̂*, **ь̂*, восходящие к праслав. **y*, **i* и **ъ*, **ь* перед *-j-*. Наибольший интерес представляет развитие **ъ̂*, который по говорам, помимо "общерусского" *о* (< **ъ°*) и "общебелорусско-украинского" **y* в любых позиционных условиях, дает иные рефлексы либо рефлексы, распределенные по особым позициям. Для большинства кривичских по происхождению говоров (за исключением потомков западного, полоцкого и верхневолжского диалектов) характерны две такие позиции: 1) перед праславянскими редуцированными следующего слога (например, окончание *-*ъ̂jь* членных прилагательных муж. рода — позиция сильного редуцированного); 2) в прочих условиях (например, в презенсах *y*-глаголов: **tъ̂jǫ*, **rъ̂jǫ* — позиция слабого редуцированного).

В кривичских по происхождению говорах встречаются следующие системы, образующие по большей части компактные лингвогеографические ареалы: 1) восточнорусская, с рефлексом **ъ°* в обеих позициях (*молодо́й* : *мо́ю*); 2) западная, с рефлексом **y* в обеих позициях (*молоды́(й)* : *мы́ю*); 3) смоленская, с рефлексом **ъ* > *э/е* в 1-й позиции и **y* во 2-й позиции (*молодэ́й/молодэ́й* : *мы́ю*); 4) I южнопсковская с рефлексом **ъ* > *э/е* в обеих позициях (*молодэ́й/молодэ́й* : *мэ́ю/мэ́ю*); 5) II южнопсковская система с **ъ°* в 1-й и **ъ* > *э/е* во 2-й позиции (*молодо́й/молодъ°й* : *мэ́ю/мэ́ю*); 6) деснинская система с **ъ°* в 1-й и **y* во 2-й позиции (*молодо́й/молодъ°й* : *мы́ю*); 7) новгородская система с **y* либо **ъ* в 1-й позиции и **ъ°* во 2-й позиции (*молоды́й/молодэ́й* : *мо́ю*). Только в кривичских по происхождению говорах встречаются системы 3, 4, 5 и 7 (подробнее см. [17, с. 118–121]).

2. Рефлексы *ъ, *ь перед мягкими и смягченными сонантами

Специфической чертой псковских говоров (а также, видимо, части смоленских) является переход *ъ > *e(ə)/ы* и *ь > *'u* перед исконно мягкими сонантами (*n', *l', *r' = *nj, *lj, *rj*) и новыми сочетаниями *сонант + j* (*l'j, n'j, v'j, r'j < lьj, nьj, vьj, rьj*). Иными словами, в псковском и смоленском диалектах редуцированные в данной позиции (перед мягкими сонантами, но не старыми "полумягкими" перед *ь в словах типа *dьnь*) получали то же фонетическое качество, которое было свойственно "напряженным" *ъ̂ и *ь̂ перед *j*, и развивались в дальнейшем как последние[8]: псков. *одэ́нье/одыньe* < *o-dъnje*; *вдыль* 'вдоль' < *vъ-dъljь*; *остры́вье/острэ́вье* < *ostrъvje*; *гылёк/гилёк* 'рукомойник' < *gъljьkъ*; *молы́нья* 'молния' < *mъl(ъ)nja*; смолен. *вапи́рь* 'кабанчик' < *vep(ь)rjь*; также псков. *болэ́нье/болы́нье* < *bol(ъ)nje* с особым развитием "полногласного" сочетания; ст.-смолен. *Смолиньскъ* < *smolьnjьskъ*. В древненовгородском, верхневолжском, полоцком и западном кривичских диалектах *ъ и *ь в данной позиции развивались по "общевосточнославянскому" типу (впрочем, в верхневолжском, где *ъ̂ > *o*, невозможно отличить "псковско-смоленский" тип развития от "общевосточнославянского").

Особое развитие *ъ и *ь перед мягкими сонантами является специфически кривичской чертой. Оно связано с тем, что в кривичских диалектах (по крайней мере в псковском и в части смоленских говоров), по-видимому, до эпохи падения редуцированных и даже позднее сохранялось различие между "полумягкими" (возникшими из твердых перед гласными переднего ряда) и мягкими сонантами старого и нового происхождения (*n' < nj, n'j < nьj*, где слабый редуцированный выпадал заведомо раньше, чем в других позициях, ср. новгородские топонимы типа *Захонье* < *zaxъlmьje* и т. п.). Видимо, в кривичском существовал целый ряд палатальных согласных — кроме сонантов, также *ќ, *ģ, *х́, *ґ́ (см. раздел 4).

3. Рефлексы *k, *x в позиции II палатализации

Давно известно "отсутствие рефлексов второй палатализации" (вернее, **аффрикатизации** рефлексов велярных *k, *x* и превращения в *s'* праслав. *x* в позиции II палатализации) в псковских говорах и отчасти в древненовгородском диалекте [15, с. 12–14]. Речь идет в основном о рефлексах корневых *k, *x* в *kěrъ 'цеп' и 'палочка', *kěditi 'цедить', *kьrky 'церковь', *kěvь 'полая палочка, шпулька', *kělъ 'целый', *kěna 'цена', *xěrъ 'серый', *xědъ 'седой': псков. *кеп* 'цеп; нить или круглая палка, употребляемая для сохранения параллельности основных нитей ткани' и производные от этого слова; *кевь, кевка* и т. п. 'ручка цепа; шпулька'; *кедить, кеж* 'цедить; процеженный настой'; др.-новг. *хѣре 'серый'; *кѣле 'целый'; *крькъвь* 'церковь'; *хѣде 'седой' (в топо- и антропонимии)[9].

В псковских и новгородских говорах засвидетельствована также и другая система, "новопсковская", при которой *k в позиции I и III палатали-

---

[8] См. документированный материал в [17].

[9] См. [17], а также [20] и [21]. Вполне вероятно влияние кривичских систем на утрату чередований *k/c, g/ʒ, x/s'* на морфемных стыках во многих великорусских диалектах, в том числе легших в основу литературного языка.

заций дает *ц*, в позиции II палатализации — *ц'/ч'* (*ц'е́лый, ц'е́ркоф/ч'е́рква, ч'е́д'им* — но *цорт, цы́стый, у́л'ица, на у́л'ицэ* и т. д.). В смоленском диалекте (как в великорусских, так и в белорусских говорах) распространена "смоленская" система с совпадением рефлексов I и II палатализаций в *ч/ч'(/ц")* и противопоставленным им рефлексом III палатализации (обычно *ц*): *ч^с^ави́на, чап'е́ц, ч'е́ркъв, чына́, ч'еп; кр'ича́т, н'ич'аво́, уну́ч'ек, ўско́ч'ит'*, но *у́л'ица, ку́р'ица, ў канцэ́* и т. п. В архаичных говорах, восходящих к верхневолжскому и полоцкому диалектам, отмечено или реконструируется "полное цоканье", и в них рефлексы всех "палатализаций" совпадают.

В смоленском, полоцком и западном диалектах **х* в позиции II палатализации дает *ш* (смолен. *ше́рый*, сев.-блр. *шэ́ры(й)*); в верхневолжском в этой позиции представлено *с'* (*с'е́рой*[10]), хотя *с'-* в этом слове может быть и заимствованным.

4. Развитие **tj, *dj, *sj, *zj*

Развитие **tj, *dj > к, г* и **sj, *zj > х, γ* перед *а* и *о* в псковских и смоленских говорах доказывается на следующих примерах: 1) псков. *но́ха* 'ноша' < **nosja*; *напу́га* 'пресыщение' < **na-pǫdja*; *уда́ка/вда́ка* 'удача' < **vъdatja*; *надё́га* 'надежда' < **na-dedja*; олон., новг. *запре́ка* 'досада' < **za-prětja*; смолен. *моло́γа* 'молодые растения' < **moldja*; *зупаγа* = **зъпа́γа* 'пазуха' < **za-pazja*; 2) итеративные глаголы на *-ja-*: псков. *ска́хъвать* 'скашивать (косой)' < **kasjevati*; *прикра́хъвать* 'прикрашивать' < **krasjevati*; *меха́ть* 'мешать' < **měsjati*; *прахать, пра́хъвать* 'просить' < **prasjati, *prasjevati*; *ве́хать* 'вешать' < **věsjati*; *на́хъвать* 'носить' < **nasjevati*; *награ́γъвать* 'грозить' < **grazjevati*; *ва́γъвать* 'возить' < **vazjevati*; *рога́ть* 'рожать' < **rodjati*; псков., смолен. *сострека́ть, встрека́ть* < **sъ-rětjati*; псков. *о-, выпругать* < **prǫdjati*; *впе́кать* 'засунуть' < **pětjati*, ср. *в-пе́тить*; *бога́ть* 'бодать' < **bodjati*, ср. псков. *боди́ть*; *завекать, завековать* 'давать зарок, завещать' < **větjati, *větjevati* и т. д. (см. [17], где приводится документированный материал). В верхневолжском, полоцком и западном диалектах известно лишь **tj > k* перед *-а-* (и, видимо, *-о-*): сев.-блр. *сустрака́ць, замяка́ць*, тогда как **dj, *sj, *zj*, видимо, отражались как *ж/ж'(/дж), ш/ш'*. В древненовгородском, судя по данным берестяных грамот, все рефлексы "общевосточнославянские" (*ц/ч, ж, ш, ж*) — см. [16, с. 62].

Сложнее дело обстоит с рефлексами **tj, *dj, *sj, *zj* в позиции перед передними гласными. Видимо, в псковском мы имеем **tj > -к'-/-т'-, *dj > -дз'- > -з'-* (*га́т'и* 'штаны' < **gatjě*; онеж. *мезе́нь* 'жаркая пора, штиль' < **medjenь*; *ры́зий* 'рыжий' < **rydjьjь*), также *-ц/ц', -ж* < *-*tjь, -*djь* (суффикс *-иц/-иц'* < *-*itjь*, онеж. *кеж* < **kědjь*, ср. чеш. *cez*, серб.-хорв. *цȕjeђ*); рефлексы **sj* и **zj* в этой позиции точно не известны. В смоленском **tj* дает *ц"/ч'* (*γа́ч'и, -ич' / γа́ц"и, -иц"*), **dj > -дз'- > -з'-, -з* (*мез* 'между' < **medjь*, *мезиси́тка* < **medj[e]sitъka*), **sj* и **zj*, по-видимому, дают *ш/ш'* и *ж/ж'*. Видимо, такое же или близкое развитие было в верхневолжском, западном и полоцком диалектах, но первоначальная картина там сильно затемнена в результате интенсивного вытеснения "цоканья", что привело к "заимствованию рефлексов" в большинстве корней при сохранении редких лексикализованных форм со старой фонетикой.

---

[10] См. [17, с. 141–152]. Блр. лит. и ю. *ша́ры*, видимо, является польским заимствованием.

Окончательное установление древней рефлексации *k, *x (примеры на *g в корнях пока не обнаружены) в позиции II палатализации и *tj, *dj, *sj, *zj перед различными гласными в кривичских диалектах еще предстоит, однако уже сейчас можно утверждать, что система, предшествовавшая рассмотренным рефлексам, не выводима из постулируемой "общевосточнославянской". В псковском и смоленском диалектах (а первоначально и во всех кривичских) были представлены системы рефлексации, близкие к западнославянской и принципиально отличающиеся не только от всех других восточнославянских, но и от южнославянских. Дело в том, что в этих кривичских и в западнославянских лехитских[11] системах сочетания дентальных (как глухих, так и звонких) с -j- перед передними гласными и велярными в позиции II палатализации дают одинаковые рефлексы, тогда как в других славянских диалектах эти рефлексы различны[12]:

	Псков.	Смол.	Лехит.	Русск. лит.	Ст.-слав.
*tj	*k'	č'/ć'	*c'	č'	š't'
*dj	*ʒ' > z'	*ʒ́' > z'	*ʒ'	ž	ž'd'
*sj	?	š	*š'	š	š'
*zj	?	ž	*ž'	ž	ž'
*k^{ě}	k'	č'/ć'	*c'	c	c'
*x^{ě}	x'	š	*š'	s'	s'

Судя по распределению рефлексов, первоначально как велярные в позиции II палатализации, так и сочетания *дентальный* + *j* во всей кривичской области совпали в особом палатальном ряду (*ḱ, *ǵ, *ɣ́, *x́); палатальные превратились в велярные перед заднерядными гласными (откуда *tj* > *k* и т. п.) и -*v*- (откуда **květъ* > *kv'ɛtъ*)[13], тогда как перед передними гласными в одних говорах сохранились палатальные смычные и спиранты (в записях *к'/т'*, *х'/с"* и т. д.), в других смычные превратились в палатальные аффрикаты (которые в русской транскрипции обозначаются как *ц"* и т. д.) с дальнейшим развитием в передние аффрикаты, а спиранты в мягкие (в дальнейшем отвердевшие) шипящие.

5. Рефлексы *Tl

Псковский рефлекс *-гл-* (*-кл-*) < *dl, *tl известен давно: *блюглисѧ* < *bljudli sę, *привегли* < *privedli, *уссегли* < *vъzsědli, *соустрѣкли* < *sǫsъrětli и т. п. в старопсковских рукописях (см., в частности, [1, с. 101–102]); псков. *жагло/жигло* 'жало' < *žęTlo/*žiTlo, *жерегло* 'протока' и т. д. < *žerTlo. Начальное *кл-* < *Tl отмечается в псковском, древненовгородском,

[11] В большинстве других западнославянских языков (в чешском, верхнелужицком и т д.) разницу между поведением *dj, *g в позиции II палатализации и *g в позиции III палатализации установить невозможно ввиду совпадения "западнославянских" *ʒ' и *z' в z'. Отличная от лехитской система представлена в ср.-словацких говорах, где *tj и *k в поз. II палатализации развиваются одинаково (> c), тогда как *dj > ʒ (оравск. *meʒà*) в отличие от *g в поз. II палатализации (> z: dat. *noze*) — см. [22]. Таким образом, ср.-словацкие рефлексы, фонетически напоминающие лехитские, системно примыкают к южнославянским (ср. еще развитие *oRT-* > *RaT-*, совпадение рефлексов *TЪRT* и *TRЪT* в *TR̥T* и т. п.).

[12] См. подробнее о рефлексах праславянских дентальных с -j- и велярных в позиции всех трех палатализаций в "пракривичском" и далее в отдельных кривичских диалектах в [17, с. 128–141; 150–152; 23, с. 59].

[13] См. о вторичном отвердении западнославянских палатальных в этой позиции ниже.

žerTlo. Начальное *кл-* < **Tl* отмечается в псковском, древненовгородском, смоленском и западном диалектах (псков./новгор. *клещ* 'лещ' < **Tlešč'ь*, смолен., западн. *клёк* 'селедочный рассол' < **Tlьkъ* или **Tlekъ*, ср. полоцк. *лёк* 'id.' и некоторые другие). Кроме того, в псковском и верхневолжском диалектах *-кл-* является на месте **Tl* в рефлексе **čьtli*, *-a* (*прочклá*, *прочклú* 'прочитала, прочитали').

В белорусских говорах, возникших на основе западного кривичского диалекта, распространен рефлекс *-дл-* (реже *-л-*, *-ўл-*, *-йл-*, *-в-*) < **Tl* во многих словах, как правило, в суффиксе *-*Tlo-*. Бытующее мнение о польском происхождении этих слов, видимо, неверно ввиду чисто белорусского характера фонетики и акцентуации этих слов, а в некоторых случаях и словообразовательных моделей: *відла*, *відлы* 'вилы' (**viTla*, **viTly*); *журавó*, *жераўлó* (< **žerTlo*); *крыглы* 'боковые жердки в санях' (< **kriTla*); *матавíдла* 'мотовило' (< **motoviTlo*); *мядліца* 'мялка', *мядліць* 'мять на мялке' (< **mętlo*, **mętlica*); *сукáдло*, *сукáйло* 'приспособление для навивания нити на цевку' (< **sukaTlo*); *шы́дла* 'шило' (< **šiTlo*); *жáдла* 'жало' (< **žętlo*); *трапайло* 'приспособление для трепания льна' (< **trepaTlo*); *мы́дла*, *мы́дліць*, *мы́дліца* 'мыло; намыливать; таз для стирки' (< **myTlo*, **myTliti*, **myTlica*); *сáдла* 'сало' (< **saTlo*); *радлó*, *радлíць*, *радлавáць* 'плуг-окучник; окучивать' (< **orTlo*, **orTliti*, **orTlovati*); *цапíдло/цапавíдла* 'рукоять серпа' (< **cěpiTlo/*cěpoviTlo*), а также *ядленец*, *ядлúнец*, *ядлéц*, *ядлóвец/ядлавéц*, *ядлóўник* 'можжевельник' (< **j[a]Tlьnьsь*, **j[a]Tlinьsь*, **j[a]Tlьsь*, **j[a]Tlovьsь*, **j[a]Tlovьnikъ*) — среди этих форм из польского могли быть заимствованы лишь рефлексы **j[a]Tlovьsь*, но и последнее сомнительно ввиду того, что вариант со вторичным *-Tl-* известен только из восточнославянских диалектов, и само польск. *jadłowiec*, видимо, имеет *dł* под влиянием белорусских форм[14]. Рефлексы **cěpiTlo/*cěpoviTlo* и **j[a]Tl-* с сохранением *-дл-* отмечаются не только в западном, но и в полоцком диалекте. Во всех прочих примерах как в полоцком, так и в верхневолжском (где единственное исключение — *кл* в рефлексе **čьtl-*) **Tl* дает *л* во всех позициях. В интервокале **Tl* дает *-л-* также в древненовгородском (см. [21, с. 121]). Прочие восточнославянские диалекты имеют рефлекс **Tl* > *l* во всех позициях, за исключением некоторых архаичных закарпатских говоров с развитием *-*Tlъ* > *-ɣ*, *-*TlV-* > *-lV-* после *и* < **u*, **ǫ*, *ŭ/ы* < **ō*, например, в с. Ту́рья По́ляна Перечинского р-на Закарпатской обл. (с оглушением конечного *-ɣ*): *vjыx* (< **védlъ*), *welá* (< **vedlā*); *bыx* (< **bódlъ*), *bolá* (< **bodlā*); *pl'ыx* (< **plétlъ*), *plelá* (< **pletlā*); *ɣыx* (< **gǭdlъ*), *ɣulá* (< **gǫdlā*); *ml'ыx* (< **métlъ*), *melá* (< **metlā*). Эти формы на *-x* < *-ɣ* несомненно не имеют никакого отношения к сигматическому аористу[15]. Галицкий украинский диалект, к которому принадлежит и этот закарпатский говор ужанской группы, имеет с кривичскими диалектами специфические акцентологические схождения (см. ниже) После гласных *-a-*, *-o-* и *-i-* и после согласных *-*Tl* дает *-w*: *wpaw* (< *vъpādlъ*), *wpála* (< **vъpādla*); *kraw* (< **krādlъ*), *krála* (< **krādla*); *s'iw* (< **sědlъ*), *s'íla* (< **sědla*); *išǫ́w* (< **šьdlъ*), *išlá* (< **šьdlā*); *pr'aw* (< **prędlъ*), *pr'ála* (< **prędla*); *klaw* (< **klādlъ*), *klāla* (< **klādla*); *cw'iw* (< **květlъ*), *cw'ilá* (< **květlā*); *jiw* (< **jědlъ*), *jíla* (< **jědla*); *poẇ'iw* (< **povědlъ*),

---

[14] Первоначально это слово имело вид **jalovьsь*, ср. чеш. *jalovec*, в.-луж. *jałorc*, польск. *jałowiec* и получило вторичное *-Tl-* под влиянием **jeTl-* 'ель'.

[15] См., например, обсуждение этого вопроса в [24].

pọw'ĭla (< **povĕ̈dla*). Сочетание *-*sTlъ* дает *-st*: *rust* (< **õrstlъ*), *roslá* (< **orstlä̆*).

Судьба праслав. **Tl* объединяет кривичские системы с западнославянскими, однако сложное распределение рефлексов **Tl* говорит о длительном, независимом от других славянских языков развитии этого сочетания в кривичских говорах.

6. Рефлексы **ě*

В отличие от всех прочих восточнославянских диалектов, для которых характерны рефлексы праслав. **ě* в виде узкого гласного или дифтонга со вторым узким компонентом (укр. *i̯ẹ*, *ẹ*, *i* по диалектам, ю.-блр. *i̯ẹ*, *ẹ*, вост. и сев.-русск. *i̯ẹ*, *ẹ*, *i*), для кривичских в основе говоров свойственны рефлексы открытого монофтонга (либо дифтонга с широким вторым компонентом, типа *i̯ɛ* или *i̯ä*). Рефлексы "узкого" дифтонга редко отмечаются в по-видимому некривичских по происхождению говорах на территории верхневолжского и смоленского диалектов (см. ДАРЯ, вып. I, карты 40, 41).

В севернопсковских и других сев.-русских говорах отмечаются рефлексы **ě* в виде *'ä*, *'a*, нетипичные для остальной восточнославянской территории: псков. *я́ла* (Гдов.) 'ела' < **jĕ̈dla*. *кяп* 'цеп' (псков., ПОС 1, с. 167 и материалы ДАРЯ) < **kê̆ръ* = **cê̆ръ*, онеж. *ря́па* 'репа' < **rĕ̈pạ* и т. д.[16] В белорусском: "Совпадение *ѣ* и *е* произошло позже обращения последнего перед твердыми согласными сначала в *ö*, а потом в *о* с предыдущей мягкостью согласного; вследствие этого, хотя *ѣ* и *е* совпали в одном звуке, но *е*, заместитель *ѣ*, перед твердым согласным не мог обращаться в *ö*, а переходил в *ä*. Таким образом, тогда как *е* из *е* основного и совпавшего с ним в известных случаях *ь* сохранилось только в виде ɛ узкого, так как этот звук возможен был лишь перед мягким согласным, *е* из *ѣ* сохранилось и в виде ɛ и *ä*: *п'ɛл'и* (пѣли), *jɛл'и* (ѣли), с одной стороны, и *п'äў* (пѣлъ) и *jäў* (ѣлъ) — с другой... Таким образом, в белор. языке *ä* всегда предполагает ѣ, исключая некоторые случаи, где *ä* на месте *е* вызвано особыми обстоятельствами..." [28] (Е.Ф.Карский буквой *ä* обозначает широкое [ɛ], а буквой ɛ — узкое [ẹ]). Разумеется, речь в приведенной цитате идет о северных, западных и восточных белорусских говорах, сформировавшихся на кривичской основе, так как в южнобелорусских говорах **ě* первоначально отражался в виде "узкого" дифтонга *i̯ẹ* или монофтонга *ẹ*, отличного от *е* < **е*, **ь* (см. ДАБМ, карта 34).

7. "Второе полногласие"

Явление "второго полногласия", при котором праславянские последовательности *TЪrT*, *TЪlT* вследствие действия позднепраславянского "закона открытых слогов" превращаются в последовательности типа *TЪrЪT*, *TЪlЪT* либо *TЪrᵇT*, *TЪlᵇT*, возможно, было свойственно всем восточнославянским, а также западнославянским лехитским диалектам. Известно две разновидности развития таких последовательностей.

---

[16] См. [16; 23]; дополнительный материал в [25; 26]. О неразличении *е* и *ѣ* (иными словами, об "открытом" произношении **ě*) в древнесмоленском и древнеполоцком диалектах см. в [27].

Первая разновидность, которая может иметь и иную, чем "второе полногласие", историческую интерпретацию, характерна для лехитских и большинства восточнославянских диалектов. В них отмечаются рефлексы звуков, которые можно отождествить со слабыми редуцированными после сонанта, в последовательностях *TьrT*, *TьlT*: польск. *wierzba* < **vь̥rь̥ba*, *wierzch* < **vь̥rь̥xъ*, ст.-польск. *pirzwy* < **pь̥rь̥vъjь*, польск. *wilk* < **vь̥lь̥kъ*, *milczeć* < *mь̥lь̥čati*; карпатоукр. *v̀er'x*, *v̀er'bá*, *sm̀er't'*, *žer't'*, *čet̀v̀ér'*(*γ*); русск. стар. и диал. *верьх*, *верьба*, *перьвый*, *серьп*, *четверьг* и т. д. В принципе вероятна и принятая в польской лингвистической традиции трактовка таких рефлексов как развитие праславянских мягких слоговых сонантов **r̥'*, **l̥'*.

Вторая (не вызывающая принципиальных сомнений) разновидность "второго полногласия" характерна для восточнославянских говоров кривичского происхождения. Наибольшее число примеров на "второе полногласие" обнаруживается в псковских говорах начиная с древнейшей их фиксации, в современных "севернокривичских" (псковских, обонежских и т. д.) и в древненовгородском диалекте. Наблюдения над языком новгородских грамот показывают, что "праславянские сочетания типа **TъrT* перешли в тип *TъръT*. Со временем вставная гласная в таких сочетаниях отождествилась с исконно редуцированными и разделила их дальнейшую судьбу (при том, однако, что ъ или ь перед плавной во всех случаях сохранял свойства сильного редуцированного)" — [29, с. 201; см. также с. 265–268].

Однако если такое развитие можно считать свойственным древненовгородскому "койне", сложившемуся при взаимодействии говоров кривичского и ильменско-словенского происхождения (последним, как показывает современный диалектный материал, было свойственно "общевосточнославянское" развитие последовательностей *TЪRT*), то для говоров собственно севернокривичского происхождения необходимо предположить более сложные условия развития этих последовательностей.

Материалы Псковского областного словаря показывают, что "второе полногласие" регулярно обнаруживается только в позиции перед праславянскими сильными и слабыми редуцированными, причем лишь тогда, когда последовательности *TЪRT* **имели интонацию "нового акута"** (дающую рефлекс долготы в данной позиции во всех славянских языках) либо **находились в морфонологических позициях западнославянского аналогического удлинения** (чаще всего в образованиях с суффиксами *-ъkъ*, *-ъko*, *-ъka*). Ударение в диалектных формах, вследствие позднейших преобразований, в отдельных случаях нерегулярно.

Ниже приводится полная выборка из ПОС, вып. I–VI и выборочная из вып. VII. 1) В слогах с "новым акутом": **žь̃lčь* > *жóлач* (VI:97[17]), **stь̃lbъ* > *сталóн* I:75, II:160, *столóн* III:160, *сталóн* IV:40, **čь̃lnъ* > *чóлън* VII:11, **sь̃rpъ* > *сярéн* II:153, *сéрин* V:21, **vь̃rxъ* > *верéх*, *наверéх* в разных фонетич. вариантах, passim, в частности III:100–101, **jь̃ršь* > *ярéш* V:128, *ерéш* VII:5, **kь̃rmъ* > *кóрам* I:62 *кóром* V:15; **pь̃lzlъ* (l-ptc.) > *пóлас* II:21 bis, *выпалас* VI:35, *упалóс* VI:113, **vь̃lnъ* (gen. pl.) > *валóн* IV:112, *вóлан* IV:112, *вóлон* VI:152, **žь̃rnъ* (gen. pl.) > *жорóн* III:90, *жарéн* III:135, **mь̃lni* (**mь̃lnьja*) > *маланьй* VI:72, *мóлыньё* I:54, *маланнй* II:38, *мóланьи* II:99, *мóланью* III:160, *мóланья* I:52, II:18, IV:53, V:47; *малыньй* IV:31, *маланьй* II:38, IV:21; **dь̃rnьje* > *дярéнья* II:159; **čь̃lnъkъ* > *цалóнкам*, *цалóнак* IV:23,

[17] Здесь и далее римская цифра обозначает том издания, через двоеточие дается страница.

чъланóк V:69, **stl̃bъkъ* > *стълабóк* III:25, *у сталапкá* III:49, *на стълапкú* IV:35, *столобóк* VI:150, **sb̃rpъkъ* > *серепок* II:192, **vb̃ršьkъ* > *вярéшык, виряшкú, виряшóк-та, виряшóк, вяряшóк, виряшкá* III:109, *с верешкá* V:125, **ožb̃rlъkъ* > *ожерéлак* VI:192, **xb̃lmъkъ* > *холомок* II:63, *па хамалкáм* (sic) II:182, *ф халамкú* IV:43, **žb̃rnъko* > *жарóнки* III:96. 2) В позиции аналогического западнославянского удлинения: **vьlčьkъ* > *волочóк* IV:134, **sъmьrtъka* > *да смярéтки* II:216, *смирéтка* VI:28, **skatьrtъka* > *скатерéткам* I:167, *ф скатирéтку* II:8, *на скатирéтки* II:9, *скътярéтку* II:18, III:8, *скатирéтки* III:9, *скатирéтка* IV:181, *на скатирéтку* VI:39, **vьrbъka* > *вéребка* III:80, **šьrstъka* > *шэрéстку* II:154, **žьrdъka* > *за жэрéтками* II:68, *г жарéткам* IV:28, **zьrnъko* > *зярéнки* II:213, III:125, V:181, также прилагательные на *-ьn-* **sъmьrtьnъ* > *смирятнóе* I:169, *смерéтнае* I:169, *смирятнóй* III:153, *смерéтны* IV:64, **dъlžьnъ* > *доложнá* VII:34. Сюда же относятся проникшие из "кривичских" почти во все русские говоры и литературный язык *серéжка* < **sb̃ržьka*[18], *дерéвня* < *db̃rvьn'a* и *верéвка* < **vb̃rvъka* и их производные (ПОС passim). Лишь в одной позиции "второе полногласие" отмечено перед слогом с гласным полного образования — в compar. **dьlže* > *падалóжа* II:235, *далóжы* IV:21 от *дóлгий*. В праславянском этот корень имел интонацию "старого акута" (**dl̃gъ*), однако в западнославянских языках в компаративах на *-je/-jьs-* обобщена корневая долгота, видимо, заимствованная из форм с "новоакутовой" интонацией (типа **kõrtje, *šĩrje*).

В слогах с *TЪRT*, имевших "староакутовую" либо циркумфлексовую интонацию и находившихся перед слогами с редуцированными, рефлексов "второго полногласия" не обнаруживается: *волк* (**vb̃lkъ*), *жердь* (**žb̃rdь*), *сéрцэ* (**sb̃rdьce*), *пóлный* (**pb̃lnъjь*) и т. д. — ПОС passim. Неясно развитие слогов с *TЪRT* с "новым акутом" перед гласными полного образования, так как такие позиции крайне редки. Возможно, рефлексом такого рода являются приведенные выше *далóжы, падалóжа*. В случае других интонаций рефлексы "второго полногласия" в псковских говорах не обнаруживаются (*гóрло* < *gb̃rdlo, вéрба/вербá* < **vb̃rba/*vьrbã*, gen. *вóлка* < **vb̃lka* и т. д. — ПОС passim).

8. Акцентологические особенности

В отличие от большинства южнобелорусских и северо- и восточноукраинских (в основе которых лежат племенные диалекты полян, волынян, дреговичей, древлян и северян), южновеликорусских (сформировавшихся на основе племенных диалектов вятичей) и части северновеликорусских (ильменско-словенских в своей основе) говоров, в системах, возникших на кривичской основе, хорошо сохраняется окситонеза ед. числа существительных муж. рода так называемой акцентной парадигмы *d* ("смешанной"), рефлексация которой является одним из универсальных критериев позднепраславянского диалектного членения.

В некоторых псковских, смоленских и полоцких говорах сохранились непосредственные рефлексы особого характера акцентной кривой парадигмы *d*, характеризовавшейся аномальным "циркумфлексом" или "краткостным ударением" в им.-вин. пад. ед. числа при окситонезе (нафлексион-

[18] Неясно время заимствования слова **sьrga* в славянские диалекты.

ном ударении) в прочих падежных формах, например: псков., заонеж. *бе́рек*, род. пад. *берега́*, творит. пад. *берего́м* < **bêrgъ*, **bẽrga*, ср. блр. лит. *бе́раг*, *бе́рага*, серб.-хорв. *брȇг*, *брȇга*; псков., полоцк. *мо́лот*, *молота́* < **mõltъ*, **mõlta*, ср. блр. лит. *мо́лат*, род. пад. *мо́лата*, серб.-хорв. *мла̑т*, *мла̑та*; псков. *крук*, род. пад. *круга́*, полоцк. *крух*, *круґа́*, верхневолжск., заонеж. *крук*, *круга́* < **krõgъ*, **krõga*, ср. блр. лит. *круг*, *круґа*, серб.-хорв. *крȕг*, *крȕга* и т. д.

Эта черта объединяет кривичские диалекты с украинскими галицкими говорами, северночакавскими говорами типа Суска и Истрии, многими западноболгарскими и восточноштокавскими говорами, верхнелужицким языком и, видимо, с юго-западным чешским диалектом. Некоторые данные говорят о том, что такая же рефлексация а. п. *d* была свойственна восточнобелорусским говорам, в основе которых лежал племенной язык радимичей (см. [18, с. 204]).

В части перечисленных выше славянских диалектов, также как и в кривичском, отмечены другие специфические акцентуационные особенности (например, насуффиксальное ударение в формах 2 л. ед. числа *i*-глаголов а. п. *b* типа **моли́ши ~ мо́лить** и т. п.).

В кривичском отражены особые условия ограничения правостороннего сдвига ударения с начальных и внутренних слогов на последующие[19], материально не связанного с сохранением окситонезы в рефлексах акцентной парадигмы *d*.

Здесь уместно привести условные схемы соотношения сдвигов ударения на примере презенса *i*-глаголов а. п. b_2[20]. Рефлексы праслав. краткосложных презенсов (**lóžitь* и т. п.) и долгосложных (**mõ̑titь* и т. п.) имеют следующие типы отражения[21]:

1. "Архаичный" — *ло́жит ~ му́тит*. Этот тип имеют: из южнославянских — центрально- и восточноболгарские, штокавские зета-ловченские говоры; из западнославянских — по-видимому, среднечешские говоры.

2. "Антский" — *ло́жит ~ мути́т*. Такой тип имеют: из южнославянских — западноболгарские и восточноштокавские ("ресавские"), часть чакавских говоров; из восточнославянских — говоры, восходящие к племенным "языкам" кривичей, "белых хорватов" (укр. галицкий диалект[22]), славян Среднего Побужья (укр. подольский диалект) и Верхнего Дона (юго-восточные великорусские говоры).

---

[19] См. [14]. В более ранних наших работах, в том числе в "Основах славянской акцентологии", данное явление рассматривалось как оттяжка ударения на предшествующий слог (или ее отсутствие).

[20] Так как сдвиги ударения определялись исключительно фонетическими причинами, идентичные соотношения наблюдаются, параллельно с *i*-глаголами, в причастиях на *-an-*, в локативах на *-ěxъ* и многих других позициях. Из-за вторичных (нефонетических) перестроек акцентуации в отдельных морфо(но)логических категориях в различных говорах указанное соотношение может не сохраняться во всех известных позициях, что, однако, обычно не препятствует установлению первоначального типа системы — см. [3, с. 109–129].

[21] Ниже дается в ряде моментов уточненный, по сравнению с приведенным в [3] и [14], список.

[22] В галицкий диалект входят бойковские, закарпатские, лемковские, сянские, днестровские, покутские и частично гуцульские и буковинские говоры. Необходимость введения понятия "галицкий диалект" была вызвана тем, что названные выше группы говоров объединяются рядом очень важных древних изоглосс и все вместе противопоставлены юго-западным украинским говорам, входящим в подольский (подольские, большинство буковинских и часть восточногуцульских говоров) и волынский диалекты. См. [30; 31; 3, с. 110]. Некоторые из галицких и подольских изоглосс приведены на карте 2.

3. "Словенский" — *ложи́т ~ му́тит*. Такой тип имеют: из южнославянских — большинство словенских и многие кайкавские говоры, старохорватский диалект Ю.Крижанича, часть болгарских, штокавских ("северноштокавские", в том числе литературный сербохорватский язык) и чакавских говоров; из западнославянских — сев.-лехитские поморские (словинско-кашубские) говоры и, видимо, полабский язык; косвенные данные позволяют предположить былое наличие этого типа в среднесловацком; из восточнославянских — говоры, восходящие к племенным "языкам" ильменских словен, вятичей, дреговичей (в том числе литературный белорусский язык), древлян, волынян, возможно, полян и северян.

4. "Восточнорусский" — *ложи́т ~ мути́т*. Такой тип имеют: из южнославянских — восточноштокавские говоры Верхнего Поморавья; из восточнославянских — великорусские говоры "литературного типа" (в том числе литературный русский язык).

Недостаток данных не позволяет установить тип сдвига ударения во многих западнославянских и "радимичских" восточнославянских говорах.

Сохранение ортотоничности (чаще всего в виде окситонезы) косвенных форм существительных а. п. *d* независимо от морфонологического вида основы характерно исключительно для говоров, имеющих "антский" тип сдвига ударения.

*

Указанные акцентологические особенности являются наиболее важными свидетельствами древнейшей истории кривичского племенного диалекта, так как они никак не могли возникнуть в период после предполагаемого распада общевосточнославянского языка (например, для возникновения данных типов сдвига ударения необходимо было сохранение праславянских долгот и интонаций), тем более что нетривиальное сочетание акцентуационных признаков (сохранение ортотоничности/окситонезы косвенных падежей слов акцентной парадигмы *d*, 2-й тип сдвига ударения и ударение типа *моли́ши*) несомненно говорит о том, что в позднепраславянский период имелось специфическое родство диалектов — предшественников кривичского, верхнелужицкого, радимичского (?), галицкого, одного из чакавских (типа Суска–Сали), восточноштокавского и западноболгарского.

Географическое расположение большинства диалектов этой группы (восточные Балканы, восток Карпатской области, значительная часть территории Западной Украины) позволяет связать их с антским племенным союзом и, соответственно, с "антским" вариантом праславянской археологической культуры V–VII вв., характеризующейся в первую очередь керамикой пражско-пеньковского типа.

Напротив, диалекты, легшие в основу поморских (словинско-кашубских), южнобелорусских, северно- и восточноукраинских, ильменско-словенских, южных (вятичских) великорусских, старохорватских и словенских говоров, расположенные в основном в западной части славянской языковой территории и в Полесье, видимо, связаны со "словенским" вариантом, характеризующимся керамикой пражско-корчакского типа (см. [5, с. 104–133]).

Интересно при этом отметить, что к настоящему времени, в результате переселений славянских племен в дописьменный период, носители диалек-

тов "антской" группы во всех новых славянских языковых общностях (западно-, восточно- и южнославянской) оказались, как правило, в западных регионах последних. При этом резкое противопоставление юго-западных белорусских и северо-восточных украинских систем юго-западной (галицкой) украинской системе, видимо, связано с расселением на данной территории, с одной стороны, "словен" (бассейн Припяти и Волынь) и, с другой стороны, "антов" (юго-западная Украина, а также среднее течение Днепра)[23].

II. Племенные языки славян Верхнего Дона и вятичей. Великорусские говоры "литературного типа"

Перейдем к особенностям племенных языков **вятичей, славян Верхнего Дона**, а также **великорусских говоров "литературного типа"**.

Здесь уместно заметить, что исследователи, работающие в рамках русской диалектологической традиции, придавая большое значение лингвогеографии и "диалектным различиям", к великому сожалению, редко обращаются к описанию отдельных говоров. Попытки таких описаний предпринимались в начале XX в. (наиболее полное из них — сделанное О.Броком классическое описание одного из вологодских говоров), в последние же 50 лет ни одной подобной работы не было опубликовано. Факты, собранные в огромном количестве пунктов по "Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка" под ред. Р.И.Аванесова (М.; Л., 1947 г.), даже будучи записаны квалифицированными лингвистами, не дают возможности более или менее полного описания каждого конкретного говора из-за ничем не оправданной фрагментарности программы. Материалы ДАРЯ имеют невосполнимые лакуны в области всех разделов языка (не говоря уж о просодической стороне, которая программой почти не затрагивалась, и восточно- и южнорусская территория в этом отношении представляет собой по сути дела белое пятно), поэтому из очень многих прослеживаемых на южнорусской территории специфических явлений "племенного" периода надежные ареалы можно установить в основном для следующих.

Рассматриваемые ниже граничащие между собою ареалы говоров, восходящих к племенным языкам вятичей и "славян Верхнего Дона", находятся в дополнительном распределении в центральной и южной части южновеликорусской территории. В районе Рязани совмещение в современных говорах явлений, предположительно являющихся "верхнедонскими" и "вятичскими" (а также принадлежащих восточнорусским говорам "литературного типа"), обычно проявляется в сосуществовании тех или иных форм в одном и том же говоре или хаотической чересполосице на небольших участках территории.

Такая ситуация возникла в результате этнического resp. языкового смешения, связанного с тем, что языковые потомки вятичей в основном остались на своей первоначальной восточнославянской территории, а "славяне Верхнего Дона" были частично оттеснены кочевниками со своей старой

---

[23] См. [32]. Современные укр. говоры Среднего Поднепровья (полянские в основе?) плохо исследованы — по крайней мере пока нельзя сказать, к какому типу с точки зрения "сдвига ударения" они относятся.

территории к северу и северо-западу, на земли вятичей, хотя в общем сохранили юго-восточную (относительно вятичей) локализацию и традиции "степной" жизни[24]. Экспансия вятичей происходила в основном в южном и юго-западном направлениях, где восходящие к их языку говоры сохранились в сравнительно "чистом" виде.

Судя по современному расположению изоглосс, связанных со "славянами Верхнего Дона", носители этих говоров в древности сместились к северу, частично смешавшись с вятичами в районе Рязани, а в дальнейшем заселили территорию к востоку от линии Коломна — Липецк. Археологический ареал "славян Верхнего Дона" занят сейчас населением, говорящим на "вятичских" в основе говорах.

1. Изоглоссы, предположительно связанные с племенным языком славян Верхнего Дона

Из современных говоров к данной группе относится говор д. Деулино, отраженный в материале дифференциального словаря (ССРНГ)[25].

Важнейшей чертой, противопоставляющей эти говоры всем другим восточнославянским, является окситонеза instr. sg. *i*-основ, в материале ДАРЯ в основном представленная полунаречной формой *осенью́* (спорадически отмечено и немало форм от других *i*-основ — *ночью́, лошадью́* и т. д. (материалы ДАРЯ, вопр. 72г), например, деул. *ис'ан'jу́, нач'jу́*)[26]. Ареал почти сплошного распространения таких форм очерчивается восточной границей Касимов — Сердобск, северной границей Рязань — Касимов, западной границей Рязань — Ряжск — Липецк — Бобров. Конечное ударение в формах, подобных *осенью́* (т. е. в словах подвижной акцентной парадигмы), видимо, невозможно объяснить поздним вторичным развитием, так как не обнаруживаются формы, по аналогии с которыми могла бы возникнуть окситонеза instr. sg.: *i*-основы жен. рода подвижной а. п., в особенности многосложные, имеют в юго-восточных великорусских говорах колонную баритонезу ед. числа (типа *о́сень*, gen. *о́сени*, dat. *о́сени*), и лишь loc. sg. может иметь конечное ударение (*на лошаде́*), однако в loc. sg., видимо, достаточно рано проникло окончание "твердых" *а*-основ (*в воде́*), а в *а*- и *ja*-осно-

---

[24] Этнологические и лингвистические особенности южнорусских "степняков" (сформировавших основную массу однодворцев) и их отличия от остального южнорусского населения отмечались давно, в первую очередь Д.К.Зелениным, который предполагал, "что в качестве военно-служилых людей на степную окраину Московского государства поступали, если не главным образом, то в очень значительном количестве — прежние жители этих же самых степей, т. е. аборигены края или, чаще, их прямые потомки" [33], а также Н.П.Гринковой: "Основной массой населения, которая шла вслед за продвижением сторожевой линии, были прежние степняки, бежавшие в период запустения степи в бассейн Оки... По своему этнографическому облику и языку они, несомненно, отличались от местного старого окского населения и едва ли могли легко и быстро с ним слиться" [8, с. 29]. Н.П.Гринкова считала "степняков" вятичами, однако по современным данным вятичами было именно старое население Поочья.

[25] Краткое описание морфологии содержится в первоклассном очерке Л.Н.Булатовой и С.В.Бромлей [34].

[26] Видимо, еще одним ареалом, где отмечаются подобные формы, является часть "центра" восточнославянского континуума, образуемая некоторыми белорусскими слуцко-мозырскими и украинскими вост.-полесскими говорами. В них конечноударные формы instr. сосуществуют с рефлексами энклиноменов, что, возможно, свидетельствует о сложной предыстории названных говоров: с. Бо́рсуково (на картах Барсуково) Козелецкого р-на Черниговской обл. — adv. *osen'n'ú* наряду с *ósen'n'u* (запись автора); с. Чудин (ныне Ганцевичского р-на Брестской обл.): *касцью, начью* наряду с *нудчью, кудсцью* [35, с. 37].

вах на восточнославянской территории в instr. sg. отмечено исключительно предконечное ударение (*земле́ю*, *водо́ю*). Возникновение окситонезы по аналогии с числительными *пятью́*, *шестью́* и т. д. маловероятно.

Лингвогеографическое распределение начальноударных (энклиномических) форм типа **jěsenьjǫ*, характерных для остальной восточнославянской территории, и конечноударных типа **jesenьjǭ* восходит к праславянскому времени и объясняется различной трактовкой доминантных окончаний в словах а. п. *c* в период, когда слоги еще сохраняли количественные и интонационные характеристики. Окситонеза многосложных форм подвижной а. п. на **-ьjǭ* является диалектной позднепраславянской особенностью, кроме рассматриваемых здесь ареалов она известна лишь из некоторых южнославянских диалектов, в частности, характерна для словенского языка и сопредельных кайкавских, кайкавско-чакавских и чакавских говоров.

Другая изоглосса, связываемая с говорами, в основе которых лежал язык "славян Верхнего Дона", а именно *тепе́ц* в качестве названия бьющей части цепа (материалы ДАРЯ, вопр. 165; АРНГ Юг, карты 264–266) — например, деул. *m'un'éц* — сама по себе не содержит данных о времени ее образования, однако характерно, что из многих славянских названий бьющей части цепа праслав. **терьсь* (производное от глагола **терǫ*[27]) обнаруживается только в словенских говорах — *tépəc* 'debelejši konec (glava) pri cepcu' (Pleteršnik II, с. 663), а на восточнославянской территории — в основной части ильменско-словенского археологического ареала в среднем течении Ловати, восточнее зоны распространения специфических псковско-кривичских явлений. Ареал слова *тепе́ц* на юго-востоке практически совпадает (лишь местами он несколько шире) с ареалом акцентного типа *осенью́*.

Третье явление выделяемого ареала — сохранение праслав. nom. sg. *ū*-основ на *-ы* в слове *свекры́* (материалы ДАРЯ, вопр. 77а, а также карта 10 в ДАРЯ, вып. II). На юго-востоке ареал этой формы очень близок к ареалу слова *тепе́ц*. Также форма *свекры́* отмечена в узкой полосе говоров между Рязанью и Малоярославцем и в отдельных северно-восточных говорах (причем в XIX в. отмечалась и в новгородских говорах — см. Фасмер III, с. 572). Форма *свекры́* является архаизмом, утраченным подавляющим большинством славянских языков.

По отношению к древним акцентологическим изоглоссам система верхнедонских говоров представляет собой очень своеобразную картину. Рефлексация а. п. *d* в них относится к одному из "периферийных" типов, будучи близкой к "северноштокавской" (такую систему имеют и говоры, легшие в основу сербохорватского литературного языка): слова а. п. *d* с праславянской *u*-основой отличаются от слов а. п. *c* только тем, что у первых представлена окситонеза им. и вин. пад. мн. числа (*u*-основы а. п. *c*, а также *o*-основы а. п. *c* и *d* имеют в этих падежах формы-энклиномены). В ед. числе слова а. п. *d* имеют акцентовку слов а. п. *c*. Из прочих славянских систем ближе всего сюда также "периферийная" система подольских украинских говоров, в которых, однако, окситонеза представлена и в формах ед. числа *u*-основ[28].

---

[27] По форме это — архаичное образование на *-ьсь* в значении nomen agentis от основы тематического глагола (ср. еще **šьvьсь*, **žьgьсь*, **žьpьсь*).

[28] См. [3, с. 134] (в этой работе неверно сказано о практически полном совпадении рефлексов а. п. *d* и *c* в штокавском); [14, с. 59–60]. Документированный материал по акцентов-

По отношению к древним сдвигам ударения "верхнедонские говоры" (в том числе архаичный говор Деулина) относятся к "антской" группировке, т. е. близки к кривичским, подольским и галицким говорам, имея тип *ло́жит ~ мути́т*. Эта система диаметрально противоположна "вятичской" (*ложи́т ~ му́тит*, см. следующий раздел). В деулинском говоре, в котором сильна тенденция к переводу окситонированных презенсов в баритонированные, конечноударные формы сохраняются только у долгосложных глаголов праслав. а. п. b_2[29]: *zab'ad'ít'* 171, *nab'ad'ít'*, *nab'ad'át'* 305, *pab'ad'ít'* 407; *n'i zab'al'íš* 222; *выč'ícca* 'упрямится' 72; *ač'arn'ú*, *ač'arn'át'* 385, *patč'ar'n'íš* 426; *č'ar't'ít'* 154, *prač'ar't'íš* 275; *kat'ácca* 140, *kat'ít'* 219, *pakat'ícca* 429; *kraš'ít'* 248; *krut'ít'* 292; *kur'át'* 229, *kur'ít'* 272; *zakut'át'* 180; *raskv'al'át'* 483; *abl'ič'át'* 354 'оскорбят'; *mut'ácca* 301, *pramut'ícca* 464; *małv'át'* 295; *papal'íš* 53; *r'ašьít'*, *r'ašús'a*, *r'ašьícca* 489; *n'i sr'ad'íš* 351; *sul'át'*, *sul'ít'* 548, *sul'ácca* 548; *vałač'át'* 92; *pažałt'íš* 426, *žałt'ít'* 248.

В то же время краткосложные глаголы а. п. b_2 имеют исключительно баритонированные формы презенса: *praɣłót'it'* 158; *uɣrób'iša* 276; *kłón'it'* 76; *kós'ut'* 75, *nakós'iš* 89; *n'a kót'icca* 335; *nakrošьm* 309, *nakrošut'* 326, *nakrošu* 330; *pałóžu* 115, *pałóžьš* 157, 255 (ср. неслучайную замену основы в *l'aθžácca, l'ažús'* 286 вместо **łóžacca*, **łóžus'*, видимо, в результате "подравнивания" ударения под восточнорусское или вятичское); *t'él'icca* 90; *tóč'it'* 202; *zatóp'u* (печь) 84, *tóp'u* 90, *tóp'iš* 127, *tóp'icca* 159, *n'a tóp'imś'i* 164, *istóp'iš* 267, *attóp'icca* 382; *zvón'ut'* 186 — ср. сохранение насуффиксального ударения в краткосложных глаголах а. п. *c*: *daít'* 93, *daíš* 146; *drab'ít'* 243; *padvaíš* 418; *ɣad'ácca* 189, *paɣad'át'* 415; *n'i kar'ú* 138 'не укоряю', *kar'íš* 147, *zakar'ít'* 184; *n'i atraś't'ít'* 380; *słan'íš* 525 и т. п., а также с преобразованным ударением, на что указывает вокализм корня: *łáv'iš* 91, *łáv'ut'* 158, 169, *łáv'ima* 292 (рефлекс **loviti*).

Предполагаемые изоглоссы языка славян Верхнего Дона приводятся на карте 3.

2. Изоглоссы, предположительно связанные с племенным языком вятичей

Явления, связанные с племенным языком вятичей, образуют гораздо более мощный пучок изоглосс. Одним из важных явлений является особое отражение начального **kv-* в позиции II палатализации[30]. В говорах вятического происхождения обычная трактовка этого сочетания — *m'в'-* (*m'в'em*, *m'в'amók*, *m'в'ac'm'ú*), т. е. в данном случае мы имеем дело с трактовкой **kv-*, близкой к западнославянской (ср. чеш. *květ*, польск. *kwiat*), заключающейся в отсутствии **аффрикатизации** палатального или палатализованного **ḱ* (далее > *t'*) в данной позиции[31]. Такой рефлекс праслав. **kv* обра-

---

ке слов а. п. *d* и *c* в названных системах приводится в [36].

[29] Материал приводится в транслитерации по ССРНГ; цифрами обозначены страницы источника. В деулинском говоре глаголы с баритонированными формами praes. имеют начальное ударение и в 1 sg. (ср. *kós'u, nakós'iš ~ kar'ú, kar'íš*).

[30] В основном рефлекс этого сочетания отмечен в слове **květъ* и его производных: ДАРЯ, вопр. 67 и карты АРНГ Вост., 73, АРНГ Юг, 73, АРНГ Сев.-зап., 118, АРНГ Сев., 132, а также данные СРНГ.

[31] Для данного ареала характерна особая "тернарная" система отражения велярных в позициях трех "палатализаций": *ц'* из **k* в позиции II палатализации (перед гласными), *ц* в позиции III палатализации и *ч'/ч* в позиции I палатализации. См. подробнее в [17, с. 151–152].

ет на южнорусской территории сплошной ареал в виде неправильного треугольника с вершиной в области чуть южнее Калуги, западная граница образует линию несколько западнее Белева, Орла, Курска и Суджи, восточная проходит по линии Тула — Мичурин — Борисоглебск. Другим восточнославянским ареалом с подобной рефлексацией (но, как правило, с *кв'*, реже с *к'в'/т'в'* на месте **kv-*) является кривичский, в том числе "кривичский пояс"[32]. Однако непосредственно с кривичской зоной "вятичский" рефлекс **kv-* связать не представляется возможным, так как между западной границей "вятичского" ареала и восточной границей ареала "южнокривичского" пролегает вытянутая с юга на север до Сычевки широкая полоса говоров с рефлексом **kv-* > *цв'* (*ц'в'*). Эта полоса, особенно в своей южной и центральной частях, помимо указанного рефлекса **kv*, отграничена от восточных (вятичских) и западных (кривичских и отчасти радимичских по происхождению) великорусских и белорусских говоров специфическим распределением рефлекса "напряженного" **ъ* (деснинская система, см. выше): [*о*] или (в архаичных системах) [*ѳ*] перед -*ь* следующего слога, т. е. в "сильной" позиции (*молодо́й/молодо́й*) при [*ы*] в "слабой" позиции (*мы́ю*), а от восточных говоров к тому же изоглоссой акц. типа *дала́* : *бра́ла* (в вятичских говорах исключительно *дала́* : *брала́*)[33]. В большинстве "верхнедонских" говоров представлен рефлекс *kv-* > *s'v'-* (деул. *с'в'ет*, *с'в'ат'ёт'*).

Другой диалектной особенностью, также определенно привязанной к археологическому ареалу вятичей, является конечное ударение особого класса слов жен. рода с суффиксом *-ja* типа *ту́ча*, *во́ля*, *до́ля*, *бу́ря*, *су́ша*, *ко́жа* и т. д., праслав. акцентологическая реконструкция которых до сих пор вызывает серьезные трудности. Помимо слова *туча́* с конечным ударением, материал по которому специально собирался (материалы ДАРЯ, вопр. 117а), "странная" окситонеза в этом ареале (в том числе и в ст.-русских рукописях южной локализации) отмечена еще в *буря́*, *воля́* и т. д. Во всех славянских языках с разноместным ударением слова этого типа имеют наконенное ударение и лишь опосредованный рефлекс конечных долгот (например, рефлекс "нового циркумфлекса" на корневом слоге). И только в лехитских диалектах (польских и поморских) во многих словах этого класса регулярно отмечается рефлекс конечной долготы, а в поморских (кашубско-словинских) сохраняется конечное ударение: помор. *kѵ̑ûŕû́* < **kupjā*, *u̯oĭû́* < **orjā*, *sëšû́/sûšû́* < **sušā*, малопольск. (Kucała) *bužå* < **burjā*, *grȯžå* < **gordjā*, *žåza* < **zarjā* (с метатезой) и т. д. Ударение типа *туча́*, видимо, можно поставить в непосредственную связь с лехитскими конечноударными формами с ауслаутной долготой и предположить специфическую связь "правятичских" позднепраславянских говоров с "пралехитскими". Ареал распространения форм типа *туча́* близок к ареалу **kv-* > *т'в'-* в позиции II палатализации, но простирается дальше к северу, почти достигая Москвы, при этом очень точно покрывая археологический ареал вятичей. Отмечен-

---

[32] См. [17], карта 4: на ней показано распределение рефлексов этого сочетания и на великорусском Юге, а также изоглосса акцентного типа *дала́* : *бра́ла*.

[33] Происхождение этих своеобразных говоров, видимо, можно связать с северянами (менее вероятно, с полянами), составлявшими основу Сновской тысячи и, видимо, Вщижской волости, входивших в состав Черниговской земли. А.К.Зайцев отмечает: "Характерно расположение этой территории по отношению к этнической территории радимичей и вятичей. Она как бы продолжает по правому берегу Десны стародубский клин Сновской тысячи между землями вятичей и радимичей, на севере соседствуя со смоленскими кривичами, вышедшими в верховья Десны" [37].

ные в деулинском говоре соответственные формы, видимо, заимствованы из "вятичских" (*бур'á*, adv. *давал'á* 'довольно' < **do vol'a*, ср. синоним *дóвал'и* < *do vol'ě*, но всегда *тýч'а*). Спорадически формы типа *тучá* отмечаются в говорах так называемого "брянского угла" (в районе Новозыбкова, Стародуба, Трубчевска), видимо, частично восходящих к радимичским, однако неясно, не являются ли отмеченные формы принадлежностью переселенческих говоров с востока. Возможно, в пользу исконной связи указанных говоров с "вятичскими" говорит идентичность распределения глагольных форм 3 sg.

Характерной для "вятичских" говоров чертой является особая система распределения форм 3 л. ед. и мн. числа настоящего времени с окончанием *-t'/-t* и с нулевым окончанием. Обычным для большинства "вятичских" говоров (а также для говоров "брянского угла" и сопредельных белорусских "радимичских" говоров Посожья) является следующее распределение (см. ДАРЯ, вып. II, карты 80, 81; материалы ДАРЯ, вопр. 103, 104). Тематические глаголы: sg. *стáне* — pl. *стáнут* (реже *стáну*); sg. *несé* — pl. исключительно *несýт*; *i*-глаголы: sg. *хóди* — pl. *хóдют* (реже *хóдю*); sg. *сидúть* (редко *сидú*) — pl. *сидя́*. Такая система распределения окончаний не похожа на прочие восточнославянские системы с нулевым окончанием в 3 sg. и pl. praes. — как на псковско-кривичскую, так и на белорусско-украинскую систему: ср. укр. *стáне — стáнуть*; *несé — несýть*; *хóдить — хóдять*; *сидúть — сидя́ть*. Вятичская система, также как и кривичская, отличается от украинско-белорусской нетривиальностью распределения *m'/Ø* и бóльшим числом позиций отсутствия рефлекса окончания **-tь*. Восточная граница распространения "вятичской" системы практически совпадает с границей рефлекса **kv-* > *m'в'-* в позиции II палатализации, однако северная граница, так же как у ареала ударения типа *тучá*, проходит на севере ближе к Серпухову и Коломне. Западная граница проходит значительно восточнее границы **kv-* > *m'в'-* в позиции II палатализации, по линии Малоярославец — Тула — истоки Сосны — Курск — Суджа. Видимо, сдвиг прежней границы к востоку произошел под влиянием говоров "между вятичами и радимичами" (см. выше), для которых характерно сохранение *-mь* во всех позициях. Такая же "нередуцированная" система характерна и для "верхнедонских" говоров.

Отсутствие консонантного окончания в 3 л. ед. числа настоящего времени характерно (с теми или иными распределениями) как для украинских и белорусских говоров, так и для большинства южнославянских языков и для всех западнославянских. Напротив, отсутствие *-tь* в формах мн. числа характерно только для западнославянских языков (в том числе для лехитских), при этом начиная с самых ранних памятников письменности. Видимо. отсутствие консонантного окончания в 3 pl. в великорусских "вятичских" говорах (при этом отметим нетривиальное распределение консонантного окончания и нулевого, что может отражать сильно модифицированную архаичную систему, превратившуюся в тривиальную в западнославянских языках), наряду с ударением типа *тучá* и архаичным рефлексом **kv-* > *m'в'-* в позиции II палатализации, говорят о древних генетических связях вятичского племенного языка с лехитскими языками. При этом сохранение в вятичском рефлексе *m'в'-* мягкости (палатальности), видимо, является более архаичным, чем кажущееся сохраненным в первоначальном виде западнославянское сочетание. Это же, основываясь на других фактах, вслед

за Н. Ван-Вейком предполагал Н.С. Трубецкой: "... В случаях типа польск. kwiat, gwiazda ... можно предположить вторичную веляризацию. В этом случае отношение между западнославянскими и другими славянскими языками можно выразить следующим образом: (возникшие в результате третьей [т. е. второй в наших терминах — *С.Н.*] палатализации задненебных) мягкие *задненебные* *ḱ, *ǵ, *ẋ *во всех праславянских диалектах перед мягкими передненебными, а в западнопраславянском и перед мягким губным* *v́ *веляризовались в* k, g, x" [38].

Собственно "вятичской" лексической инновацией, ареал которой также хорошо соответствует археологическому ареалу вятичей, является особое название бьющей части цепа (**tep-inъ-ka/*cěp-inъ-ka*), неизвестное из других славянских ареалов. При этом остается неясным, какой из этих вариантов более старый.

С точки зрения кардинального устройства акцентуационной системы "вятичские" говоры являются типично "словенскими", относясь к тому же типу, что и юго-западные белорусские и северо-восточные украинские, лехитские польские (по крайней мере малопольские и силезские) и словинско-кашубские (поморские) говоры.

Слова а. п. *d* ведут себя в них в общем так же, как слова а. п. *c*, совпадая по рефлексам акцентной кривой с последними (за исключением отдельных основ с корневой структурой *Tъ/ьRT*). В области сдвигов ударения "вятичские" говоры имеют исходный тип *ложи́т ~ му́тит*, причем многие из них поныне сохраняют архаичную систему маргинально-подвижного ударения в глаголе, утраченную более западными восточнославянскими говорами.

Система глагольной акцентуации одного из архаичных "вятичских" говоров отражена в ст.-русском памятнике начала XVI в. "Космография", описанном А.А. Зализняком [39][34]. Также несомненно вятичскую систему акцентуации отражает рукопись нач. XVII в. "Травник и лечебник" (ГБЛ, ф. 37, №431). Ср. акцентуацию презенса глаголов а. п. b_2 в "Травнике"[35]:

Долгосложные основы: борѡ́нить 510b, боро́ни 527b; не ка́зꙗть 522a, ка́зить 520a, ска́зить 527a; ко́рмꙗть 273a, 277a, 411b; оу́кѫ́сить 491b, 495b, 510b, 523a, 526b, 527a; перепол́ѡшитсѧ 488a; порѡ́знить 452b; сꙗ́читсѧ 'сочится' 502a; хва́лѧть 452a; щѣмить 279b, 306b.

Краткосложные основы: вложи́ть 495b, положи́ть 505a, положи́мъ 351b, 479a, приложи́мъ 262b, приложи́шъ 67a, 511a; расплоди́тсѧ 381a, расплодꙗ́тсꙗ 137a; твори́ть 38b, 64b, 161a, 288b, 470a, 497a, твори́тъ‖ 252b, твори́т' 326a, тво|ри́шь 473b, твори́мъ 99a, 112a, творꙗ́ть 147a; затвори́ши 4b, ѡ́твори́мъ 244a, 463b, ѡ́твори́ть 72a, 186a, 350a, ѡ́твори́тъ 251a, 484b, і ѡ́твори́ть 45b.

Некоторые из вятичских изоглосс приведены на карте 1.

---

[34] Некоторые характерные черты "вятичской" системы глагольного ударения в одном из говоров Белевского р-на Тульской обл. описаны в ряде публикаций А А Данилова, в частности [40; 41].

[35] Материал приводится по росписи, любезно предоставленной автору А.А.Зализняком. О локализации памятника см. [42].

3. Великорусские говоры "литературного типа"

Особый интерес представляет собой генезис говоров, легших в основу русского литературного языка. Эти говоры занимают на великорусской территории старого расселения ареал к востоку от Москвы, располагаясь в основном на территории Волго-Клязьминского междуречья, а на западе занимают узкую полосу от Москвы до верховьев Зап. Двины, достаточно четко противопоставляясь там кривичским и вятичским по происхождению говорам. Они также широко распространены севернее Москвы, образуя своеобразный "клин" между новгородскими и ярославско-костромскими говорами ильменско-словенского происхождения (в частности, говорами "литературного" типа являются тверские окающие и часть белозерско-бежецких говоров). Эти говоры распространены также на обширных территориях нового заселения, что в основном связано с ростово-суздальской и "московской" колонизациями.

Эти говоры не могут быть поставлены в генетическую связь ни с одним из реконструируемых восточнославянских племенных языков. Отдельные явления на указанной территории, имеющие кривичский, вятичский или ильменско-словенский характер, легко объясняются влиянием на говоры "литературного типа" языка переселенцев и соседей.

Великорусские говоры "литературного типа" имеют акцентологические особенности, резко отличающие их от прочих славянских языков. В частности, они не входят в две крупнейшие исторические диалектные группировки — "антскую" и "словенскую". Для них характерна уникальная рефлексация ударения *о-* и *u*-основ муж. рода а. п. *d*: они имеют в косвенных падежах ед. числа формы-энклиномены, подобно словам а. п. *c*, тогда как во множественном числе имеют окситонезу, как слова а. п. *b* (литер. *нос*, gen. *но́са*, dat. *но́ носу* — pl. *носы́*) (см. [3, с. 132–133]). Что касается системы "сдвига ударения", то говоры "литературного типа" имеют редчайший тип *ложи́т* ~ *мути́т*[36], засвидетельствованный только в штокавском диалекте бассейна Южной Моравы, возможно, действительно связанном древним родством с великорусскими говорами "литературного типа".

Последние имеют некоторые особенности и в сегментной фонологии и морфологии, многие из которых кажутся "тривиальными" именно из-за традиционного отношения к диалектам "литературного типа" (в первую очередь к диалекту Москвы и ближнего Подмосковья, а из древнерусских диалектов — к так называемому ростово-суздальскому) как к наиболее типичным продолжателям "древнерусского" языка. Многие из этих особенностей являются характерными для бо́льшей части великорусского "северного наречия" и почему-то считаются новгородскими по происхождению, хотя не являются исконными как раз для северо-западного ареала и древненовгородского языка. Другие черты говоров "литературного типа" широко распространились по великорусской территории ввиду престижного положения Ростова, Москвы, а затем — и литературного русского языка. В качестве примеров можно привести твердое *-т* в 3 л., nom. sg. *свекро́вь*, раннюю замену практически всех окончаний "мягкого склонения" окончаниями "твердого склонения" при отсутствии следов обратного процесса (gen. *земли́* как *воды́*, dat. *земле́* как *воде́*, pl. *зе́мли* как *во́ды*, *ножи́* как *носы́* и

[36] См. материал в [3, с. 112–120].

т. д.), местоименная основа с *-е-* в dat. и loc. (*тебé, себé*), неясного происхождения окончание в gen. *меня́, тебя́, себя́* и т. д.

Характерной чертой говоров литературного типа является также редкое в славянских языках праславянское диалектное отличие глагольного деноминативного *-ova-/-uje-* от девербативного *-yva-/-uje-*, первоначально присоединявшегося почти исключительно к основам *a/je*-глаголов и в дальнейшем ставшего универсальным итеративным формантом (*указывать, привязывать, намазывать* в отличие от *следовать, беседовать*). Все прочие восточнославянские говоры, кроме части центральнобелорусских, имеют в обоих случаях рефлексы **-ova-*[37]. Из других славянских языков только литературный польский и мазовецкие говоры (в отличие от велико- и малопольских, на которых базировался старопольский литературный язык[38]) и некоторые штокавские говоры (в том числе и литературный сербохорватский) имеют распределение этих суффиксов, аналогичное литературному русскому.

Для восточнорусских говоров Волго-Клязьминского междуречья характерна черта, отсутствующая в литературном языке, но также свойственная центральнобелорусским говорам (а также, видимо, будучи субстратной, отмеченная в части смоленских и полоцких говоров) и многим, в том числе мазовецким, польским говорам. Речь идет о рефлексе в виде ‹*ê*› суффиксального **ě* в глаголах типа *кричать, дышать*: *dьšêt'*, *dьšêł*, *kr'ič'êt'*, *kr'ič'êł* при том, что итеративы на *-ja-* сохраняют *-a-*: *kon'č'át'*, *m'ešát'* (см. ДАРЯ II, карта 103) — ср. польск. *dyszeć*, но *mieszać*. Не исключено, что в данном случае (по крайней мере в инфинитиве и в формах мн. числа l-причастия) мы имеем дело не с восстановлением *ě* по аналогии с другими *ě/i*-глаголами, а с фонетическим сохранением **ě*$_1$ в позиции перед переднерядными гласными — ср. польск. *czas* ~ *wczesny, doczesny* (диал. *wcześny*), ст.-польск. *żal* ~ *o żeli* и т. п., где *a*, чередующееся с *e*, происходит только из **ē* [44, с. 83].

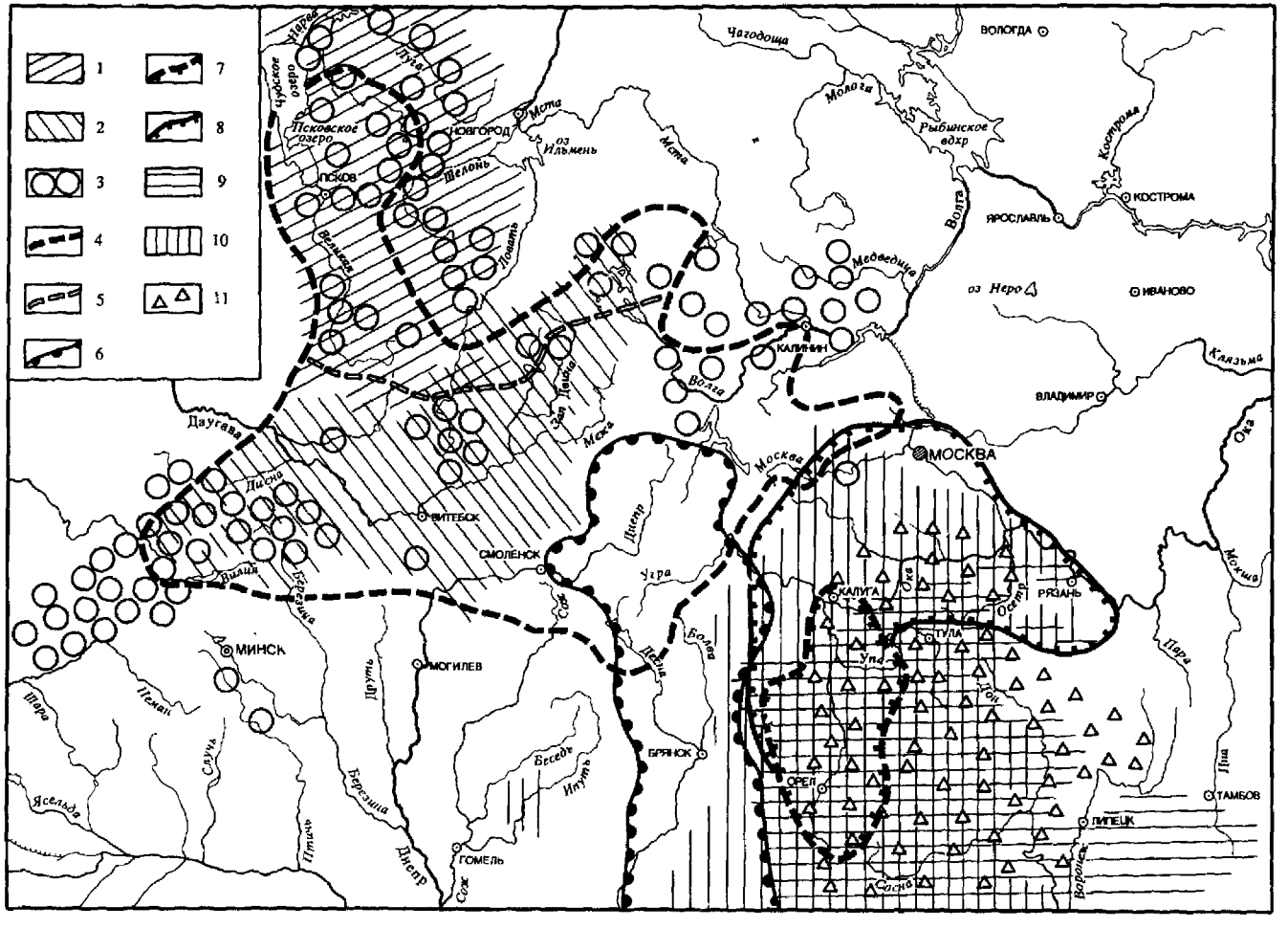
Лингвогеографические факты заставляют отвергнуть гипотезу о сложении великорусских говоров "литературного типа" на основе племенного языка ильменских словен (археологический ареал которых, помимо восточной части Новгородской земли, включал в X–XI вв. небольшой ареал в районе Ростова Великого, Ярославля и Костромы): среди севернорусских говоров достаточно надежно можно отличить говоры литературного типа от ильменско-словенских по происхождению[39]. Также невероятно происхожде-

---

[37] Диалектные формы с твердыми велярными типа *подскакывать, подпрыгывать* несомненно отражают старые формы с *-ова-* при типичной для акающих говоров нейтрализации заударных окончаний и суффиксов и выборе формантов с гласными верхнего подъема, ср. *ходют, стады, рыбкыми/рыбкими* и т. д. Все без исключения "вятические", "верхнедонские" и "кривичские" русские говоры дают основания реконструировать в них первоначальный суффикс *-ova-* как для деноминативов, так и для итеративов. Надежная фиксация рефлекса суффикса *-ova-* в глаголах типа **sъkazyvati* независимо в нескольких слав. языках, видимо, делает неубедительным мнение А.А. Шахматова о вторичности "восточнославянского" суффикса *-yva-* в данной морфологической позиции. При этом укр. лит. и диал. *-ува-* несомненно восходит к *-ова-* — ср. [43].

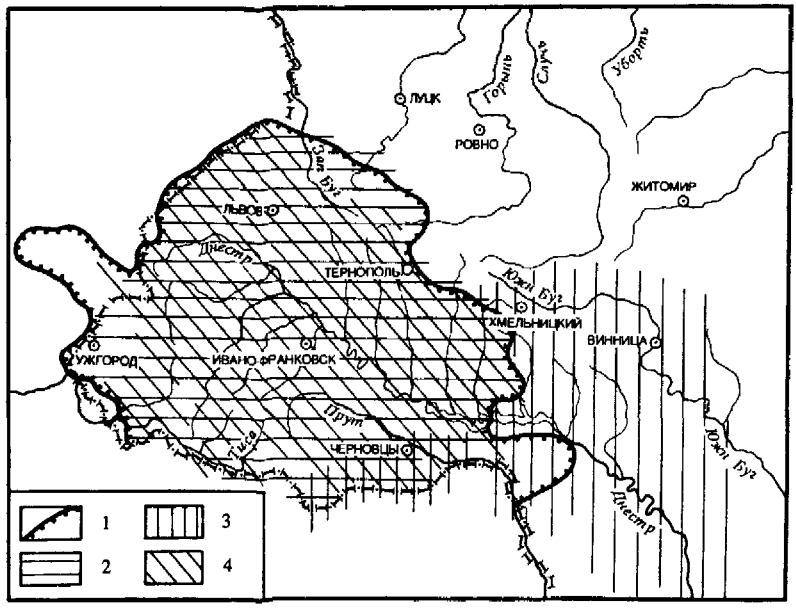
[38] Ср.: "В старопольский и среднепольский период этот формант [*-owa-*] выступал в глаголах, которые позднее заменили его на формант *-ywa-* или *-a-*, например, *zasługować, obiecować, usługować, opisować, rozkazować, opatrować, pokazować, zakazować, zyskować, wypłacować, naprawować, ogarnować* (XIV–XVI в.) Такое состояние характерно и сейчас для говоров всей юго-западной Польши (Великопольша, Малопольша, Силезия)" [44, с. 247].

[39] Для последних характерно другое ударение в некоторых категориях, в том числе в *i*-глаголах, лексема *ело́ха* 'ольха', окончание *-ога/-ова* в gen. sg. прилагательных и т. д.; основной



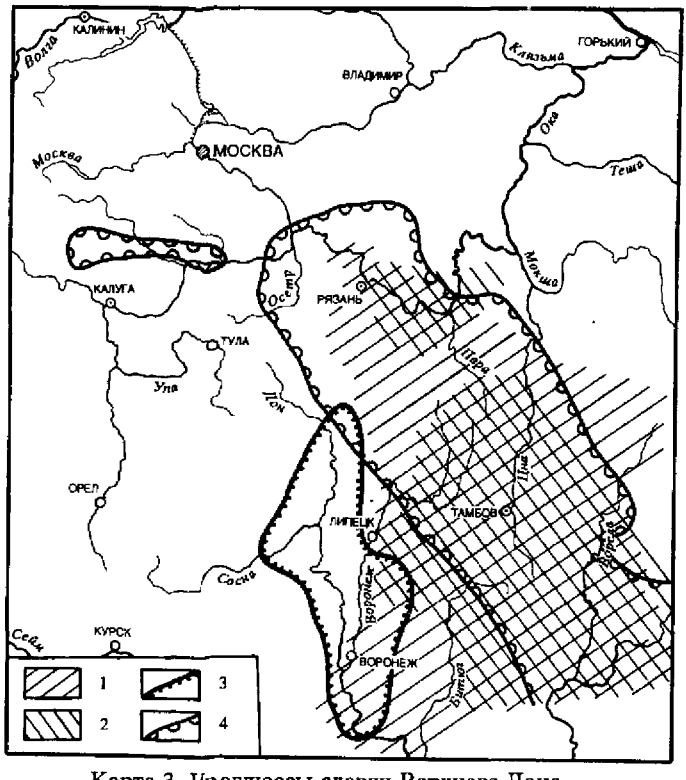
Карта 1. Кривичские и вятичские изоглоссы

Условные обозначения: 1 – псковские типы отражения велярных в позиции II палатализации; 2 – смоленский тип отражения велярных в позиции II палатализации; 3 – рефлексы **Tl* в виде *дл, кл/гл, ул-* и т.п.; 4 – ареал кривичей в X в.; 5 – южная граница ареала псковских кривичей в X в.; 6 – пучок северянских (?) изоглосс; 7 – ареал вятичей в X в.; 8 – территория, заселенная вятичами в XI–XIII в.; 9 – развитие **kʊ* (в позиции II палатализации) > *t'ʊ'* в южнорусских говорах; 10 – ударение типа *тучá, волянá*; 11 – *тепинка/цепинка* (название бьющей части цепа).



Карта 2. Галицкие и подольские изоглоссы

Условные обозначения: 1 – развитие *šestъjь* > *šés*t[ы]*j* (ср. укр. лит. *шóстий*); 2 – ареал "галицкого" развития а.п. *d*; 3 – ареал "подольского" развития а.п. *d*; 4 – развитие **medъ* > > *m'odъ* (*mn'ud, m'üd, m'id* – ср. укр. лит. *мед*).



Карта 3. Изоглюссы славян Верхнего Дона

Условные обозначения: *1 – menék* (название бьющей части цепа); 2 – ареал ударений instr. sg. типа *осенью́*; 3 – ареал славян Верхнего Дона; 4 – ареал сохранения nom. sg. *свекры́*.

ние говоров "литературного типа" из смешения кривичских, словенских и вятичских компонентов, так как наиболее яркие особенности рассматриваемых говоров отсутствовали в соседних племенных языках.

Как известно, одним из характерных этноопределяющих археологических признаков восточнославянских племен являются височные кольца. На территории Волго-Клязьминского междуречья, а также спорадически на бóльшей части территории старого заселения, где распространены великорусские говоры литературного типа, обнаруживаются кольца особого типа (незавязанные браслетообразные), не являющиеся атрибутом ни одного из известных восточнославянских племен (см. [4, с. 185–196]).

Некоторые археологи считают эти кольца принадлежностью финноугорского племени меря, жившего на территории Волго-Клязьминского междуречья. Однако характерные атрибуты финских племен — шумящие подвески, также находимые в большом количестве в этом ареале — имеют несколько иное распределение (как географическое, так, видимо, и этническое), поэтому вполне возможно, что под названием "меря" мы имеем, с одной стороны, сохранивший язык и культуру финноугорский народ, а с другой — потомков славян, возможно, раньше других переселившихся на восток с центральноевропейской прародины, предположительно с территории Восточной Польши. О древности их переселения говорит чрезвычайно архаичная акцентная система, которая не может быть объяснена как результат вторичного развития какой-либо из известных систем, а также отдельные архаизмы в других разделах языка.

Доказательством весьма раннего расселения славян на "мерянской" территории и отсутствия достаточно долгого двуязычия является также фактическое отсутствие в говорах Волго-Клязьминского междуречья финноугорских лексических заимствований — ср. ситуацию на Севере, где в русских говорах широко распространены многочисленные финноугорские заимствования.

ИСТОЧНИКИ

АРНГ Вост. — Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. М., 1957.

АРНГ Зап., Сев., Сев.-зап., Юг — Атласы русских говоров центральных областей а) к западу, б) к северу, в) к северо-западу, г) к югу от Москвы (рукописи, хранятся в Отделе диалектологии и лингвогеографии Института русского языка РАН).

ДАБМ — Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка. Вып. I. М., 1986; Вып. II. М., 1989.

ДАРЯ, материалы — ответы на вопросы ПДА, хранящиеся в Отделе диалектологии и лингвогеографии Института русского языка РАН.

ПДА — Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. М.;Л., 1947.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967—. Вып. 1—.

массив ильменско-словенских по происхождению говоров расположен на территории, приблизительно ограниченной линиями Кострома — Ветлуга — Тотьма — Грязовец — Пошехонье — Кострома, также такие говоры распространены восточнее Новгорода.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1—26. Л., 1965—1991.
ССРНГ — Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского р-на Рязанской области). М., 1969.
Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1964—1973.
Kucała — *Kucała M.* Porównawczy słownik trzech wsi malopolskich. Wrocław, 1957.
Pleteršnik — *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana. D. I–II. 1894–1895.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шахматов А.А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
2. *Трубецкой Н.С.* О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.
3. *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.
4. *Седов В.В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
5. *Седов В.В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
6. *Расторгуев П.А.* Северско-белорусский говор. Исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров. Л., 1927.
7. *Расторгуев П.А.* Говоры на территории Смоленщины. М., 1960.
8. *Гринкова Н.П.* Воронежские диалекты. Л., 1947.
9. *Никончук Н.В.* Правобережнополесские говоры с лингвогеографической и исторической точек зрения // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983.
10. *Аванесов Р.И.* Очерки русской диалектологии. М., 1949. С. 34–38.
11. *Седов В.В.* Восточнославянская общность по археологическим данным // Истоки русской культуры (археология и лингвистика). Тезисы докладов. М., 1993. С. 25–28.
12. *Хабургаев Г.А.* Этнонимия "Повести временных лет". М., 1979.
13. *Булатова Р.В., Дыбо В.А., Николаев С.Л.* Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988. Доклады советской делегации. М., 1988.
14. *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Праславянская акцентология и лингвогеография // XI Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1993.
15. *Зализняк А.А.* Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период. М., 1984.
16. *Зализняк А.А.* Древненовгородское койне // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
17. *Николаев С.Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.
18. *Николаев С.Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание) // Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989.
19. *Седов В.В.* Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970.
20. *Глускина С.М.* О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке // Псковские говоры. Вып. II. Псков, 1968.
21. *Зализняк А.А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте. М., 1986.
22. *Habovštiak A.* Oravské nárečia. Bratislava, 1965.
23. *Николаев С.Л.* К истории племенного диалекта кривичей // Сов. славяноведение. 1990. № 4.
24. *Панькевич Ів.* Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей. Прага, 1938. С. 316–317.
25. *Касаткина Р.Ф.* Рефлексы *ě в некоторых севернорусских говорах // ВЯ. 1991. №2.
26. *Галинская Е.А.* О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г.А.Хабургаева. М., 1993.
27. *Горшкова К.В.* Историческая диалектология русского языка. М., 1972. С. 111–112.
28. *Карский Е.Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 1. М., 1955. С. 202.
29. *Зализняк А.А.* Лингвистические исследования и указатель // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1984–1989 годов. М., 1993.
30. *Николаев С.Л.* Восточнославянские акцентологические изоглоссы. I. Рефлексы оттяжек ударения в галицком диалекте // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.

31. *Николаев С.Л.* Новые данные о краткостной оттяжке в галицком диалекте // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.
32. *Седов В.В.* Анты // Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987.
33. *Зеленин Д.К.* Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением заднеязычных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. СПб, 1913. С. 48.
34. *Бромлей С.В., Булатова Л.Н.* Очерки морфологии русских говоров. М., 1972. С. 402—446.
35. *Сержпутовский А.К.* Грамматический очерк белорусского наречия дер. Чудина Слуцкого уезда Минской губернии. СПб., 1911. С 37.
36. *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л.* Основы славянской акцентологии: Словарь. Вып. 1. М., 1993.
37. *Зайцев А.К.* Черниговское княжество // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975. С 98.
38. *Трубецкой Н.С.* Возникновение общезападнославянских особенностей в области консонантизма // *Трубецкой Н.С.* Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 187.
39. *Зализняк А.А.* Глагольная акцентуация в южновеликорусской рукописи XVI в. // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М., 1981.
40. *Данилов А.А.* Особенности ударения форм прошедшего времени глагола в русских народных говорах // Вопросы теории и истории русского языка. Вологда, 1967.
41. *Данилов А.А.* Особенности образования и ударения причастий в русских народных говорах // Ученые записки ЛГПИ. Т. 293. Л., 1968.
42. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. С. 227.
43. *Шахматов О.* Краткий нарис історії української мови // Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменскої староукраїнщини XI–XVIII вв. Київ, 1924. С. 23.
44. *Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S.* Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1955.

*

"Вопросы языкознания" намерены опубликовать на своих страницах ряд статей, посвященных проблемам древневосточнославянского диалектного ландшафта и происхождения русского языка. Редколлегия надеется, что по этим вопросам возникнет дискуссия, в которой примут участие не только языковеды, но и археологи и этнографы.

*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. К. РЕДЕИ

ВЛИЯНИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА СЕМАНТИКУ И СИНТАКСИС ДРЕВНЕЗЫРЯНСКОГО

1. Приступая к изложению темы, необходимо выяснить некоторые вопросы терминологического порядка.

Принимая во внимание связь церковнославянского и древнезырянского языков, следует иметь в виду русский извод церковнославянского, таким образом, термин "церковнославянский язык" в данной работе относится к церковнославянскому языку, употребляемому в России.

Термин "древнезырянский" здесь используется вместо термина "древнепермский", употреблявшегося ранее [1; 2, с. 7]. Последний образован от названия епископского города Старая Пермь (Пермь Старая, Пермь Вычегодская, Пермь Малая, в настоящее время Усть-Вымь). Зырянский церковный литературный язык так называемой абурской системы письма, созданный святым Стефаном Пермским и его учениками, основывается на говоре Старой Перми и ее области, т.е. на говоре древнезырянского периода, предшествующем современному нижневычегодскому диалекту коми-зырянского языка. Таким образом, термин "старопермский язык" с научной точки зрения был бы вполне подходящим, если бы определение "пермский" не употреблялось в нескольких значениях:

а) как название языка зырянских – библейских и литургических — текстов, написанных в XIV–XVI вв. в епископском городе Старой Перми;

б) в научной литературе наших дней этот термин служит для обозначения южного наречия языка коми, для обозначения пермских или пермяцких говоров; данное название происходит от перенесения названия города Старая Пермь на поселение Пермь Великая (позже Чердынь) в Прикамье;

в) наконец, термин "пермский" употребляется как общее название народов и языков коми и удмуртского (пермские языки, прапермский язык, прапермский период).

Таким образом, из-за данной многозначности термина и во избежание недоразумения, употребляется однозначный термин "древнезырянский".

1.1. Попытки русских освоить зырянские земли начались очень давно. Из исторических источников известно, что в XI–XIII вв. зыряне уже имели торговые контакты с Новгородским княжеством. Конечно, торговые связи в большинстве случаев означали, что зыряне со временем вынуждены были платить дань русским. Распространение христианства, вначале служившее интересам русских, началось в XIII в., но утвердилось оно только в 70-е – 80-е гг. XIV столетия. Епископство в Усть-Выми (Старой Перми) было основано в 1383 г. Его первым епископом был Стефан Храп, который позднее под именем Стефана Пермского был причислен к лику святых. Крещение зырян является заслугой, в первую очередь, Стефана Пермского и его миссионеров. (О миссионерской и связанной с нею литературной деятельности Стефана Пермского и его учеников подробнее см. ниже.) Начиная с XVI в. северные зыряне (коми-зыряне) становятся подданными Московского княжества. Населенную южными зырянами (коми-пермяками) территорию (район верхней Камы) в середине XVI века Иван IV Грозный пожаловал династии графов Строгановых.

Начало контактов народных языков русского и зырянского (оставляя в стороне влияние церковнославянского на зырянский литературный язык в XIV–XVI вв.)

как у коми-зырян, так и у коми-пермяков, прослеживается приблизительно с конца XVI столетия. Однако более интенсивное влияние русского на зырянский наблюдается только начиная с XVIII в. или, точнее, в начале XIX в.

Рассматриваемые в данной работе явления интерференции семантического и синтаксического характера церковнославянского и древнезырянского языков возникли в результате религиозно-литературной деятельности. Они во многих случаях относятся к неологизмам, созданным по чужим примерам, и ничего общего не имеют с позднейшими контактами зырянского и русского народных языков. Это объясняется, во-первых, хронологическими причинами: контакты церковнославянского и древнезырянского литературных языков и, таким образом, древнезырянская письменность ограничивается XIV–XVI столетиями, а контакты народных языков – русского и древнезырянского – начинаются значительно позже, в XVIII–XIX вв. Во-вторых, невозможно допустить существование связи или преемственности влияний по линии "церковнославянский → русский → зырянский" и потому, что влияние церковнославянского языка на зырянский распространяется исключительно на религиозную литературу, имеющую определенные как пространственные, так и временные пределы. Известно, например, что религиозно-литературная деятельность св. Стефана Пермского и его священников после XVI в. не имела продолжения.

1.2. Для того, чтобы представить различия между контактами церковнославянского и древнезырянского языков, с одной стороны, и между русским и зырянским народными языками, с другой стороны, не претендуя на исчерпывающее изложение темы, ниже дается краткое описание характерных моментов влияния синтаксиса русского языка на зырянский.

Синтаксическая интерференция означает, что морфемы и синтаксические категории языка "А" (родного языка) отождествляются двуязычным лицом с морфемами и синтаксическими категориями языка "Б" (второго языка), в результате чего морфемы и категории родного языка говорящий начинает употреблять по чужому образцу [3, с. 39].

На основе указанного ясно, что синтаксическая интерференция часто сопровождается морфологической интерференцией. Во многих случаях их невозможно отделить друг от друга, и, собственно, с научной точки зрения и не целесообразно это делать. Классы морфем образуют иерархию начиная от флективных элементов, структурно и семантически наиболее интегрированных и, таким образом, наиболее сопротивляющихся интерференции через менее сопротивляющиеся грамматические слова (предлоги, артикли, вспомогательные глаголы) до наиболее непрочных и поэтому легко заимствующихся элементов лексики [3, с. 35].

Равноценность морфем и категорий синтаксиса двух языков, языка "А" и языка "Б", для двуязычного лица основывается на их формальном, функциональном, реже на формальном и функциональном сходствах [3, с. 39]. В случае неродственных языков последнее встречается довольно редко.

В отношении контактов зырянского и русского языков типы интерференции, основывающиеся на отождествлении, будут рассматриваться в категориях склонения имен, спряжения глаголов и порядка слов. К склонению имен причисляются и выражения в виде словосочетаний, которые в определенном смысле скорее могли бы быть причислены к лексическим заимствованиям.

2. Выше (см. **1.1.**) упоминалось, что обращение зырян в христианство после первых попыток в XIII в., произошло в основном благодаря Стефану Храпу (св. Стефану Пермскому) и его миссионерам. Жизнь Стефана Пермского описал его сотоварищ, монах Епифаний Премудрый [4]. Известно, что Стефан Храп родился ок. 1335 г. в Устюге, в русской семье. Не исключено, однако, и зырянское происхождение родителей. С раннего юношества он был связан с зырянским окружением, хорошо знал жизнь и обычаи людей этой местности. Позднее он стал первым епископом епископства Старой Перми, основанного в 1383 г.

Стефан Храп (в зырянском произношении *s't'epan krap*) и его священники в тесной связи с миссионерской вели значительную религиозно-литературную деятельность. Результатом этой деятельности явились переведенные затем, в XIV–XV вв., на зырянский язык фрагменты из текста Библии, фрагменты литургических текстов и молитв. Часть этих памятников древнезырянского языка (надписи на иконах) впервые была опубликована Г.С. Лыткиным [5]. Возможность для исследования оставшихся памятников древнезырянского языка вместе с правилами их чтения впервые представилась шестьдесят лет спустя благодаря монографии В.И. Лыткина [1]. На основе текстов В.И. Лыткин составил грамматику и список слов древнезырянского языка, а также написал филологические комментарии к текстам, значительно облегчающие их чтение и перевод.

Св. Стефан Пермский создал для зырян отдельную систему письма, которая на основе первых двух букв азбуки (*а + бур*) называется "азбукой абур". Для древнезырянской азбуки он использовал модификации знаков других языков (греческого, кириллицы, армянского и зырянских знаков-тамг). Из "Жития" Епифания Премудрого известно, что Стефан Пермский перевел несколько книг на древнезырянский язык: "петие им переповаа и перелагаа и писати научая их пермския книги; и сам спомогаа им, преводяще с руских книг на пермскиа книгы, и сиа предасть им. И так оттоле друг друга учаху грамоте, и от книг книгу преписующе, умножаху, исплъняюще" [1, с. 50].

Стефан Пермский перевел, пожалуй, самое главное – песни, молитвы, несколько глав Ветхого и Нового заветов. В 1390 г. в Вотче, по реке Сысоле (в 60 км от современного Сыктывкара) св. Стефан Пермский основал монастырь, где до середины XVIII в. пели на языке коми-зырянском (предположительно на древнезырянском), даже тогда, когда в церквах зырянского края зырянский язык уже не употреблялся.

3. Развитие словарного состава древнезырянского языка под влиянием церковнославянского.

Приступая к анализу процесса возникновения новых слов, созданных под влиянием церковнославянского языка, и изменения значений старых слов, уже ранее существовавших, необходимо выяснить некоторые основные вопросы технического и теоретического порядка. В этих целях следует исключить из исследования языковые элементы, существовавшие со времени прапермского/празырянского периодов и восходящие к финно-пермскому, финно-угорскому и уральскому периодам, поскольку к нашей теме они ничего не могут прибавить.

Общеизвестно, что в случае интерференции отдельные языковые категории образуют иерархический ряд. Влиянию чужого языка подвергается прежде всего словарный состав – самая открытая и, таким образом, самая непрочная система языка. При условии интенсивных контактов в заимствующем языке могут прививаться чужие фонемы и синтаксические структуры. Менее всего поддается чужому влиянию грамматическая (морфологическая) система языка: суффиксы, склонение, спряжение.

Рассмотрим влияние церковнославянского языка на словарный состав древнезырянского. Как восприятие чужого воздействия или в качестве примера сопротивления ему можно различить несколько случаев, которые в отношении восприимчивости к интерференции также создают иерархический ряд. Обобщенно будем называть все эти случаи заимствованиями.

3.1. Заимствованные слова (loanwords, Lehnwörter), как установлено выше, занимают место на самом верху пирамиды интерференционных явлений. "A loanword may be defined as an imported lexeme; the replica is more or less diaphonic with its model" [6, с. 783].

3.2. Гибридные заимствования (loanblends, hybrid loans, hybride Entlehnungen) содержат в себе механизмы как заимствования слова, так и кальки (calque, loanshift). Одни элементы чужой модели становятся заимствованиями, другие (например, элемент какого-нибудь сочетания, суффикс) – заменяются элементами своего языка. Ср.: амер. англ. *plumpie* "торт со сливами" → амер. нем.: *blaumәpai* [7, с. 213].

3.3. Передача (репродукция) чужого слова элементами своего языка (loanshifts). В этом случае чужая морфема/чужие морфемы заменяется/заменяются своей морфемой/своими морфемами. Другими словами, под влиянием чужой модели на основе семантического, в случае родственных языков, фонетического и семантического сходства происходит семантическое изменение. Различается два типа репродукции:

а) калька (loan translation, Lehnübersetzung, calque), например, англ. *sky-scraper* → → нем. *Wolkenkratzer*, русск. *небоскреб;* лат. *compassio* → нем. *Mitleid*, русск. *сочувствие/сострадание;* франц. *demi-monde* → нем. *Halbwelt*, русск. *полусвет*;

б) заимствованные значения (semantic loans, Lehnbedeutung, Bedeutungsentlehnung), например, нем. *lesen* "sammeln, auflesen, отбирать" > "читать" ← лат. *legere*, др.-в.-нем. *heilant, Heilender* "спасающий" > *Heiland* "Спаситель" ← лат. *salvator* "Спаситель" (=*Christus* "Христос").

4. Лексическая индукция (loan creation, Lehnschöpfung). Относящиеся к этой группе слова являются не заимствованиями или подражаниями (полным или частичным переводом) чужой модели; они являются неологизмами, возникающими в языке под влиянием и стимулом чужой, более высокой интеллектуальной, экономической и языковой культуры. Значит, они, в строгом смысле, не входят в круг заимствованных элементов. При возникновении нового слова чужая модель играет только роль катализатора. Например, англ. *sibling*, нем. *Geschwister* "братья и сестры" → амер. идиш *mitkind*; нем. *Automobil* → *Kraftwagen* "автомобиль"; франц./нем. *Milieu* → *Umwelt* "окружающая среда"; франц./нем. *Cognac* → *Weinbrand* "бренди".

4.1. Заимствованные слова. Из церковнославянского заимствовано лишь несколько слов. Представление о процессе перенятия чужих слов дают известные нам труды св. Стефана Пермского и его миссионеров об истории создания древнезырянского книжного языка. Благодаря им зыряне приобрели не только систему письма, отличающуюся от кириллицы, но и язык богослужения, который, если в плане содержания и не отличается (кальки, переход синтаксических структур) от церковнославянского, то внешне (в силу максимального устранения заимствованных элементов) расходится с ним. Св. Стефан Пермский и его последователи стремились сделать христианство, исходящее от государства-захватчика, приемлемым для зырян, питавших к русским враждебные чувства. Из церковнославянского языка в древнезырянский вошли следующие слова:

1. *al'l'ilujja* < русск.-ц.-слав. *аллилуйя*; греч. ἀλληλούια < евр. *Hallelūjāh* "славьте Иегову".

2. *amiń* < русск.-ц.-слав. *аминь*; греч. ἀμην "воистину так, точно так".

3. *grek* "грех" < русск.-ц.-слав. *грех* [8, I, с. 307]; ср. V S Lu Ud P *grek* "Sünde" [9][1].

4. *Xeruvim* "херувим" < русск.-ц.-слав. *Херувим* < греч. χερουβίμ < евр. *kerūb* ед.ч., *kerūbīm* мн.ч. "архангел". Ср. *keruvim* "Cherubim" [12].

5. *s'erafim* "серафим" < русск.-ц.-слав. *серафим* < греч. Σεραφίμ < евр. *sārāf* ед.ч., *serāfīm* мн.ч. [8, II, с. 611].

4.2. Гибридные заимствования.

6. *kreka* "грешный". Производное от слова *grek* "грех", фигурирующего под пунктом **3**, с помощью суффикса прилагательного *-a*. Форма *kreka* является или результатом внутреннего словообразования, или суффикс *-a* заменяет в нем славянский суффикс *-ный*. Ср. V *greka* "sündig" [10], *greka* "грешный" [11].

4.3. Передача (репродукция) слова элементами своего языка.

---

[1] Здесь и далее используются сокращенные обозначения коми диалектов по [9] и [10]: V – вычегодский, S – сысольский, Lu – лузский, Ud – удорский, P – пермяцкий, I – ижемский, Le – летский, VO – верхневычегодский, Pr – прупский, Mez – мезенский, Vm – вымский, Peč – печорский.

7. *art* "чин (ангельский)" < русск.-ц.-слав. *чин*. Ср. *art* "Wache", *in art* "Amt Dienst" [12], Ud VO Lu-Le *art* "ряд; рядом, подряд" (Ud); "лад, толк, порядок (в работе)" (VO Lu-Le) [13].

8. *bur-śi-* "благословить" < ц.-слав. *благословити* < греч. εὐλογεῖυ, лат. *benedicere* [8, I, с. 90]. Др.-зырян. *bur* "хорошее" + *śi* – "желать". Ср. V *bur-śi-*, *bur-śij-*, Le *bur-śi-*, Pr VO *bur-śi-* "Gutes wünschen (bes. den Brautleuten), segnen, Glück wünschen" [10].

9. *e̯t–je̯t̯e̯s* "единосущный, единый, неделимый" < ц.-слав. *единосущный* Др.-зырян. *e̯t* "один" + *je̯t-*"соединять, объединять" + *-e̯s* (отглагольный суффикс имени). Ср. V Ud Mez Pr *jit-*, Le *ji̯ t-*, Vm *it-* "zusamenlöten, zusammenfügen, verbinden, vereinigen" [10].

10. *jordjal-*, *jord'jal-* "судить, осуждать", *jord'jale̯m*, *jord'jale̯m* "суд, суждение" < < ц.-слав. *суд*, *судити* [8, III, с. 38–40]. Ср. V S I Ud *jor-* "verfluchen, verwünschen, beschwören", Ud P *jord-* то же [9].

11. *kanalan* "царствование" < ц.-слав. *царствие*. Др.-зырян. *kan* "Царь" + *-al-* (отыменный суффикс глагола) + *-an* (отглагольный суффикс существительного). Ср. *kan* "Kaiser, König" [12] ~ удм. *kun* "Fürst, Regent, König" ← булг. /χån/ > чуваш. *χun* "Khan, Fürst, Herzog" [14, с. 283–284; 15, с. 7].

4.4. Лексическая индукция.

12. *borda ide̯g* "архангел" < русск.-ц.-слав. *архангел* < греч. ἀρχάγγελος [8, II, с. 27]. Др.-зырян. *borda* "крылатый" + *ide̯g* "ангел".

13. *ide̯gas* "апостол", *ide̯gasa* "апостольский" < русск.-ц.-слав. *апостол* < греч. ἀπόστολος[8, I, с. 20]. Др.-зырян. *ide̯g* "ангел" < *"небесная сила" + *-as* (отыменный суффикс имени).

14. *śuan* "слово" < русск.-ц.-слав. *слово*. Др.-зырян. *šu-* "сказать" + *-an* (отыменный суффикс имени). Ср. V S Lu I Peč Ud *šu-* "сказать" [9]. Образование данного однозначного неологизма было необходимым из-за многозначности древнезырянского слова *kil* "слово, язык; Wort, Sprache, Zunge", S Peč Lu *ki̯l*, V Ud P *ki̯v*, I *ki̯* "Zunge, Sprache; Rede; Wort" [9].

15. *vel*, *vel* "небо" < русск.-ц.-слав. > *небо* [8, II, с. 205]. Др.-зырян. *vel*, *vel* "небо" ← "поверхность, верх". Ср. *vel*, *vev*, V *vev-dor*, S Le *vel-dor*, VO *vē-dor* "Oberfläche; das obere" (*dor* "Rand, Seite, Gegend") [10].

4.5. В пункте 3.1. (см. выше) показано, что из церковнославянского в древнезырянский перешло всего пять слов. Если проанализировать эти слова более основательно, то количество заимствований будет еще меньше. Настоящим заимствованием можно считать только слово *grek* "грех" (3), имеющееся, кроме древнезырянского, и в современных говорах. Слова *amiń* (2) и *al'l'iujja* (1) как заимствованные элементы остались в рамках церковного языка. Слова *xeruvim* (4) и *śerafim* (5) из-за своей звуковой формы не могли укорениться как заимствованные слова в древнезырянском. Они являются чужими словами. В случае, если бы они привились, в них должны были бы произойти изменения $x \rightarrow k$ и $f \rightarrow p$. То же можно сказать и о форме *Xristos* "Христос", прививщимся словом может считаться вариант *Kristos* [1, с. 134, с. 146].

Влияние церковнославянского языка на словарный состав древнезырянского выразилось в категориях передачи (репродукции) чужого слова элементами своего языка (loanshifts) (3.3.) и лексической индукции (loan creation, Lehnschöpfung) (3.4.). Их количество – соответственно 46 и 16 слов. На основе описанных критериев происходит однозначное деление на два типа, хотя из-за довольно продолжительного, а потому весьма размытого процесса, имеющего широкий диапазон, деление это производится нелегко.

5. Ниже проведен анализ интерференции между церковнославянским и древнезырянским языками в сфере синтаксиса.

Типы интерференции, основывающиеся на отождествлении категорий синтаксиса двух языков, рассматриваются в связи со склонением имен, возвратного местоимения и со спряжением глаголов. Особо говорится о причастных и деепричастных оборотах, об аналитическом соединении (с помощью союзов) сложносочиненных и сложноподчиненных предложений и об интерференции (порядке слов, согласовании) синтаксических (грамматических) отношений.

5.1. Склонение имен.

А. Употребление морфем церковнославянского в древнезырянском исключено из-за коренным образом расходящейся структуры флексии двух языков. Не перешли из церковнославянского языка в древнезырянский и предлоги. Иначе и быть не могло, поскольку создатели древнезырянского языка стремились к чистоте языка, к переводу русских моделей, к воссозданию их на зырянском языке, а не к принятию чужих элементов чужого языка.

Б. Под влиянием церковнославянских падежных или предложных конструкций окончание падежа или оборот с послелогом получают функцию, ранее отсутствовавшую в древнезырянском (функциональное сходство).

Винительный падеж. В древнезырянском языке очень редко встречается нулевое окончание у прямого объекта. В случае как неопределенного, так и определенного объекта употребляется винительный с окончанием *-ӗs*. Винительный падеж одушевленного рода также имеет свой показатель. Значит, в древнезырянском языке еще не существовало правила, согласно которому винительный падеж с окончанием *-ӗs*, кроме выражения определенности объекта, служит и для выражения винительного падежа одушевленного рода, а *ϕ*-морфема указывает на неопределенный объект.

Последовательное употребление винительного падежа с окончанием *-ӗs*, несомненно связано с влиянием церковнославянского языка, хотя в нем не всегда четко разграничены винительный и именительный падежи. Данная последовательность может быть обусловлена тем, что св. Стефан Пермский и его ученики в своей обновляющей и созидательной деятельности стремились выделить разницу между грамматическими формами двух языков. Например, *mijan n'an'es* "хлеб наш" (Отче наш) [1, с. 69]; *vel-tӧdalan-inӗs i muӗs i bӧr tӧdalӗmӗs i tӧdaltӗmӗs uӝaliś* "творца небу и земли, видимым же всем невидимым" (в перечислении формы винительного падежа управляются причастием *uӝaliś* "творящий" (Верую) [1, с. 67]; *viśtalam ӗti vӧjtlanӗs* – "исповедую едино крещение" (Верую) [1, с. 68].

Родительный падеж. В текстах на древнезырянском языке довольно редко встречается необозначенный родительный падеж, с *ϕ*-морфемой определения-обладателя. Вместо него употребляется окончание родительного падежа *-lӧn* (иногда *-lan*). Весьма последовательное употребление этой формы родительного с показателем свидетельствует о влиянии церковнославянского языка. Если обладаемое является объектом, то в современном языке коми, как известно, употребляется окончание отложительного родительного *-liś*. В процессе последовательной и целенаправленной нормализации языка и в случае отложительного родительного в древнезырянском церковном употребляется *-lӧn*, хотя в древнезырянском народном языке рядом со словом, обозначающим обладаемое и фигурирующим в качестве объекта, родительный падеж мог иметь окончание *-liś*. Например, *as ćomlӧn ӧjiś doriӝ* "от двери храма его" (Бытие) [1, с. 39–40]; *čӧč-kӧ ajlӧn gažsӧ* "но ... воли Отца" [1, с. 67]; *mezӧslӧn ńimsӧ koram* "и имя Господне призову" [1, с. 69].

Направительный падеж (illativus). Ниже приводится пример, где под влиянием церковнославянского языка зырянское слово *eskiӝ-* "верить" управляется направительным падежом: *eskam ӗti jenn.ӧ ajӧ, biӝ kutiśӧ* "Верую в единаго Бога Отца вседержителя" (Верую) [1, с. 67].

В. В системе склонения имен к случаям интерференции, основывающейся на формальном и функциональном сходстве, можно отнести только звательный падеж, образовавшийся на случайном совпадении звуковой формы и употребления. Разновидности звательного падежа (алломорфы) в древнезырянском: *-ę, -e, -i*, а в современном языке коми *-ę, -ęj, -e, -ej*. По своему происхождению звательный падеж в древнезырянском совпадает с формой родительного с показателем обладателя: *-ę /-e* < **-m*, а *-j*, является их уменьшительным суффиксом, присоединяющимся к показателю обладателя в функции звательного падежа [16, с. 62; 17, с. 384–385]. Формирование звательного падежа из показателя обладателя 1 л. ед. ч. несомненно явилось результатом внутреннего развития, которому только способствовало внешнее влияние, случайное звуковое и функциональное совпадение с церковнославянским вокативом на *-е, -i* (*Боже, Отче наш, Господи*). Например, *jenlęn pii* "Сыне Божий" [1, с. 33]; *mezęse isus kristose* "Господи, Иисусе Христе" [там же]; *mezęse miľišťi* "Господи помилуй" [там же].

5.2. Причастные и деепричастные обороты.

Для прапермского языка-основы, как и для других уральских языков, а также для уральского языка-основы, было характерно употребление не аналитических (союзных) придаточных предложений современного языка, а причастных и деепричастных оборотов. Кроме того, прапермский язык-основа, так же как и уральский язык-основа, мог выразить логические отношения между предложениями, как сочинительную, так и подчинительную связи с сочинением без союза. Причастные и деепричастные обороты имелись уже в старославянском языке, и под влиянием греческого эти конструкции стали популярны в церковнославянском, в языке Библии и литургии. Поскольку причастные и деепричастные обороты были известны в зырянском языке раньше, то для переводчиков церковных текстов передача этих конструкций не представляла особых трудностей. Правда, при абсолютном следовании церковнославянским текстам в древнезырянском появлялись решения, не всегда отвечающие структуре и правилам древнезырянского языка.

Причастия.

Действительные причастия несовершенного вида: *-iś*, редко *-ęś*: например, *kod jęzę gortjasin vęliśjas kiľalsniś* "в онъ же вси сущии во гробах услышат" (Иоанн) [1, с. 66]; *aje mijan vęl-tidalan-iniń vęlęśe* "Отче наш иже еси на небесах" [1, с. 69].

Страдательное (реже действительное) причастие совершенного вида *-ęm*, редко *-am*: например, *ajiś ćužęm* "от отца рожденного" (Верую) [1, с. 67]; *siʒ i jen isus mogiś užamjazdi vajas sikęt* "тако и Бог умершыя в Иисусе приведет с ним" [1, с. 65]; *veveś mezęs voan dirję mi olęmajas miltsalęmajas* "яко мы живущие оставши в пришествие Господне" [там же].

Деепричастия.

1. *-ig* например, *seś vęlmęśśis niľu jukligen kiljassę bi kojd* "И явившая им разделени языци яко огнени" [1, с. 42–43]; *i tirtis będęn kartaęs, kiťęn loiniś pukigęn* "и исполни весь дом, идеже бяху седяше" [там же].

2. *-miś* например, *adʒimiś pišjis voʒʒa niľu* "и видев и притече в сретение им" (Бытие) [1, с. 39–40]; *seś kiľmiś i ľolźęniś* "и услышавше живут" (Иоанн) [1, с. 66].

5.3. Синтаксическая (грамматическая) интерференция.

Сюда причисляются следующие интерференционные явления: 1) порядок слов; 2) модуляция; 3) согласование (ср. [3, с. 37–39]). Модуляция (ударение, интонация, пауза и т.д.), т.е. группа суперсегментных явлений, применительно к древнезырянскому языку не поддается изучению, поскольку речь идет о письменном языке. Интерференция, проявляющаяся в области порядка слов и согласования, явление хорошо известное, ибо употребление достаточно описано в литературе о языковых контактах. Обычность данного типа интерференции объясняется тем, что двуязычные лица не замечают нарушений существующих синтаксических отношений [3, с. 39].

В древнезырянском языке также имеется множество примеров интерференции в области порядка слов и согласования, ибо в интересах верности оригиналу переводчики церковнославянских текстов почти беспрепятственно могли передавать синтаксическую структуру оригинала в зырянском языке.

Порядок слов определения-обладателя с притяжательной конструкцией. Здесь заметно прежде всего расхождение с собственно зырянским порядком (определение-обладатель + обладаемое). Под влиянием церковнославянского языка слова в обороте меняются местами. Например, *piiś mortlęn* "Сын человечь" (Иоанн) [1, с. 66]; *gorasę jen pilęn* "глас Сына Божия" [там же]. Обратный порядок слов в таких оборотах особенно популярен, если в роли определения выступает притяжательное местоимение (родительный падеж личного местоимения). Например, *aje mijan* "Отче Наш" [1, с. 69], *ńimid tenad* "имя твое" [там же], *jord'jalęmę menam* "суд мой" (Иоанн) [I, с. 6]; *podes tijan* "ноги ваша" (Бытие) [1, с. 39–40].

В зырянском языке порядок членов предложения довольно свободен, что дает стилистические возможности для выражения оттенков мысли [2, с. 95]. Наиболее распространенный тип порядка слов (SVO) (субъект–глагол–объект), особенно в том случае, если объект определенный. В случае неопределенного объекта обычный порядок слов: SOV [18, ч. 2, с. 121]; см. также [19, с. 36]. В живом изложении сказуемое может оказаться на первом месте. Под влиянием церковнославянского языка такой порядок слов – VSO – был популярным и в древнезырянском. Например, *seś vęlmęśśis jen avramlu* – "яви же ся Аврааму Бог" (Бытие) [1, с. 39–40]; *seś vęlmęśśis niilu* "И явившая им" [1, с. 42–43].

Относительно правил согласования см. [1, с. 94–95]. Отдельно подчеркивается, что между определением и определяемым словом, так же как в финно-угорских языках, нет согласования ни в числе, ни в падеже. Данное правило необходимо подчеркнуть, поскольку в древнезырянском языке под влиянием церковнославянского наблюдается почти последовательное согласование определения и определяемого. Например, *vežaęs polteseś* "и святаго Духа" [1, с. 67], *vežaęs kujimaęs, etjeteseś, jukiltemeś* "и ... святую Троицу, единосущную и нераздельную" [там же] (последние два слова являются приложениями, поэтому здесь уместно согласование); *pir giśes i vejpanitemeś jennimlęn inśę* "присноблаженную и непрепороченную и Матерь Бога нашего" [1, с. 68]; *olęm uželiślu kujimalu* "и животворящей Троице" [1, с. 67]; *šuis mezęs as ordę voęmjaslu jud'ejsajaslu* "сказал Бог пришедшим к нему евреям" [1, с. 66]; *ikšajas Xeruvi(m)jas kin'ja* "честнейшую херувим ... без сравнения" [1, с. 68].

5.4. При контакте языков может случиться, что подражающая чужой языковой форме реплика может настолько нарушить существующие синтаксические отношения, что в результате получается или бессмыслица, или утверждение, понятное только с помощью возвращения к оригиналу [3, с. 37–38]. В следующих примерах приводится несколько предложений из древнезырянских текстов, которые с точки зрения языка коми кажутся абсурдом. Для современных коми они непонятны: об этом свидетельствуют опрошенные мною коллеги-коми, и, по-видимому, без знания церковнославянского языка они были непонятны и зырянам того времени. Данные примеры до такой степени копируют порядок слов, причастные и деепричастные обороты и другие синтаксические структуры церковнославянского языка, что понять их можно только при наличии исходного, церковнославянского текста. Считаем важным отметить, что такие менее удачные, можно сказать, запутанные переводы в древнезырянских текстах встречаются редко. Например, *veveś menam šuanliś kilziś i eskiś iśtišli menę kutas nemja olęmeś* "яко слушая словесе моего и веруяй пославшему мя, имать живот вечный" (Иоанн) [1, с. 66]; *čęč-kę ajlęn gažsę menę iśtemlęn* "но вели пославшего мя Отца" (Иоанн) [1, с. 67].

6. Что касается явлений интерференции наблюдаемых при контактах церковно-

славянского и литературного древнезырянского языков, то они распространяются, в первую очередь, на словарный состав и синтаксис древнезырянского языка. Заимствованных слов, как показано выше, в древнезырянском всего пять, но действительно привившимся может считаться только одно – *grek* "грех" см. **4.1**(3). Кроме того, было заимствовано еще три союза (*a, i, no*). Они являются продуктивными элементами и современного языка коми. Хотя количество непосредственных заимствований мало, существенны заимствования семантического характера (передача/репродукция чужого слова элементами своего языка и лексическая индукция). Неологизмов, возникших под влиянием церковнославянского языка, вместе с единственным гибридным образованием (*kreka* "грешный") всего 65. Для изучения явлений интерференции такое количество достаточно, в то же время оно составляет лишь 10% полностью представленного словарного состава древнезырянского языка. Синтаксическая интерференция была более значительной, чем влияние церковнославянского языка на словарный состав древнезырянского. Можно сделать заключение, что основоположникам древнезырянского литературного языка удалось создать язык, значительно расходящийся с народным языком того времени в области словарного состава, и, главным образом, в синтаксисе.

7. В настоящее время в пермском языкознании общепринято мнение, что св. Стефан Пермский и его миссионеры взяли в основу древнезырянского литературного языка нижневычегодский говор района Усть-Вымь. Однако остается вопросом, понимали ли зыряне полностью переведенные библейские и литургические тексты. Если принять во внимание все неологизмы, попавшие в словарный состав под влиянием церковнославянского языка, и их синтаксические особенности, имеющие сильное расхождение с духом и грамматической системой зырянского народного языка того времени, то можно дать однозначный и отрицательный ответ: простой люд не мог понимать полностью язык, заполненный неологизмами и конструкциями чужого происхождения. Однако это было особенностью не только древнезырянского церковного языка. Народный русский язык того времени также расходился со старославянским настолько сильно, что русские вряд ли понимали полностью архаический язык церкви. В оборотах церковнославянского языка, во всей его грамматической структуре прослеживается сильное влияние греческого языка Салоник. Таким образом, греко-славянская традиция церковного языка – состав выражений и грамматические структуры – в зырянском облике перешли в древнезырянский язык. Уважая святые тексты, переводчики библейских и литургических текстов придерживались языковых оборотов оригинала. Неологизмы и синтаксис чужого языка придали древнезырянскому литературному языку какую-то святую таинственность, отличающую его от повседневно употребляемого языка, ср. [20, с. 105]. Примеров расхождений разговорного языка и языка религиозных обрядов, священных книг наблюдается множество в самых разных культурах. В связи с этим достаточно указать на самые известные священные или сакральные языки: еврейский, санскрит, язык Авесты (древнеперсидский), греческий, латынь. Сюда же можно отнести выражения-табу мира верований, религиозных представлений примитивных народов.

Постепенное отмирание древнезырянского литературного языка после XVI столетия объясняют тем, что клир следующего периода с русским родным языком уже не понимал древнезырянских текстов. Частично так и было, однако необходимо считаться и с сознательным вытеснением литургии на древнезырянском языке. Из истории православной церкви известно, что после падения Константинополя (1453 г.) русская власть и русская православная церковь Москву считали "третьим Римом", ср.[21; 22, с. 59; 23, с. 252]. Начиная с XVI в. московская церковь начинает принимать определенный национальный характер. С этим изменением во взглядах и экспансией русского государства связано постепенное вытеснение нерусских церковных языков в церквах. Упомянутые работы по истории религии умалчивают о предпринятых мерах, связанных с искоренением церковных языков, но это умолчание (*argumentum ex*

silentio) свидетельствует, собственно, о том, что в истории русской православной церкви процесс постепенного вытеснения "малых" языков не представлял события, достойного внимания. Усиление распространения христианства на северных и восточных (сибирских) территориях России в XVI в. связано с именем московского митрополита Макария [24, с. 754]. Эта миссионерская деятельность уже велась на церковнославянском, вернее, на русском языке. В связи с процессом усиления национальной ориентации русской православной церкви и Русского государства должно рассматриваться распространение церковнославянского (русского) языка и на зырянской земле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лыткин В.И.* Древнепермский язык. М., 1952.
2. *Rédei K.* Chrestomathia Syrjaenica. Bp., 1978.
3. *Weinreich U.* Languages in contact. The Hague; Paris, 1968.
4. *Епифаний Премудрый.* Слово о житии и учении св. Стефана, бывшего в Перми епископом // Памятники старинной русской литературы. Вып. IV. СПб., 1862.
5. *Лыткт ч Г.С.* Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. СПб., 1889.
6. *Haugen E.* Language contact / Proc. of the 8th International congress of linguists. Oslo, 1958.
7. *Haugen E.* The analysis of linguistic borrowing / Lg. 1950. V. 26. P. 210–231.
8. *Vasmer M.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–III. Heidelberg. 1953–1958.
9. *Wichmann Y.* Syrjänischer Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre / Hrsg. von Uotila T.E. Helsinki, 1942.
10. *Fokos-Fuchs D.* Syrjänisches Wörterbuch. Bp., 1959.
11. *Тимушев Д.А., Колегова Н.А.* Коми-русский словарь / Под ред. Лыткина В.И. М., 1961.
12. *Wiedemann F.J.* Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-deutschen in Anhange und einem deutschen Register, St.-Petersburg. 1880.
13. *Жилина Т.И., Сахарова М.А., Сорвачева В.А.* Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / Под ред. Сорвачевой В.А. Сыктывкар, 1961.
14. *Rédei K., Róna-Tas A.* A permi nyelvek őspermi bolgár-török jövevényszavai // Nyelvtudományi Közlemények. 1973. Köt. 74. P. 281–298.
15. *Rédei K., Róna-Tas A.* Early Bulgarian loanwords in the Permian languages // Acta Orientalia Hungarica. 1983. T. 37. P. 3–41.
16. *Rédei K.* Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Bp., 1962.
17. *Rédei K.* Geschichte der permischen Sprachen // The Uralic Languages / Ed. by Sinor D. Leiden e.a. 1988. P. 351–394.
18. Современный коми язык / Под ред. Селькова Н.Н. Ч.I. Синтаксис. Сыктывкар, 1967.
19. *Baker R.* The development of the Komi case system. A dialectological investigation // MSFOu. 1985. T. 189.
20. *Baker R.* Slavonic influence upon the language of the Old Permian texts // FuF. 1983. Bd XLV. I. S. 82–106.
21. *Schaeder H.* Moskau das Dritte Rom. Darmstadt, 1963.
22. *Heiler F.* Die Ostkirchen. München; Basel, 1971.
23. *Hauptmann P., Stricker G.* Die ortodoxe Kirche in Russland. Göttingen, 1988.
24. *Барсов Е.В.* Чтения в императорском обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. Ч. I. М., 1900.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. Д.И. ЭДЕЛЬМАН

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Изучение лексики различных языковых семей в сравнительно-историческом аспекте имеет богатую традицию в плане как практических штудий в конкретных отраслях языкознания, так и теоретических обобщений, сделанных на разных этапах развития лингвистической науки. Тем не менее едва ли не каждый новый опыт сравнительно-исторического анализа лексики той или иной языковой семьи (или даже отдельной генетической группы, подгруппы и т.д.) привносит нечто новое не только в практику таких исследований, но и в теоретическое и методическое осмысление проблем, возникающих в ходе конкретного исследования. В связи с этим представляется уместным высказать некоторые соображения, возникающие при сравнительно-историческом изучении лексики языков иранской семьи на нынешнем этапе, тем более, что некоторые факты и проблемы, относящиеся к иранскому материалу, могут быть небезынтересны и с точки зрения индоевропеистической проблематики в целом.

Сама идея диахронического изучения лексики, и особенно идея создания этимологического словаря иранских (и даже индоиранских) языков с привязкой реконструируемых общеиранских прототипов к их индоевропейским истокам, возникла уже давно. С открытием же все новых рукописей вымерших языков, как и с обогащением фонда материала живых языков (включая рукописи и живые языки, обнаруженные уже в XX в.), по мере изучения истории этих языков в целом и истории их лексики в частности, предлагаются все новые этимологии конкретных слов, что практически "встраивает" новые элементы в некую единую целостную этимологическую систему, включающую как минимум четыре хронологических уровня: общеиранский, индоиранский, общеарийский и в конечном счете индоевропейский (не говоря уже об уровнях "праязыков" для групп и подгрупп внутри иранской языковой семьи). Эта цель — создание единой этимологической системы — породила и продолжает порождать не только этимологические словари и монографические исследования лексики отдельных иранских языков и их групп (о чем будет сказано ниже), но и многие публикации, в которых рассматриваются этимологии отдельных слов в конкретных языках, хотя лишь в небольшой части работ данная цель формулируется эксплицитно — в виде заглавия, подзаголовка книги или статьи (или серии статей), вводных фраз, примечаний, ремарок и т.п. (ср. [1, 2]).

При этом исследователями вполне осознаются и методические трудности в реконструкции элементов такой единой многоступенчатой системы. Так, О. Семереньи, начиная серии своих этимологических статей "Iranian Studies",

"Iranica", выделив в качестве одного из насущных направлений иранистики создание "Iranian Lexicon" и формулируя его основную задачу (список словарных гнезд — word-families, — где в качестве заглавного слова выступало бы древнеиранское, или "первичное иранское", а сама словарная статья включала бы обсуждение его дериватов и их исторических продолжений) [3, с. 60], предостерегает от соблазна непосредственного проецирования фактов конкретных языков на древнеиранский и — тем более — на индоевропейский экран [3, с. 60—61].

Сформулированная О.Семереньи необходимость взвешенности и аккуратного исторического подхода к поискам лексического прототипа, как представляется, тем более необходима, что при непрерывности словообразовательного процесса с древнейших индоевропейских времен до наших дней, в разных иранских языках выявляются слова, не только продолжающие соответствующие индоевропейские (и имеющие аналогии в других индоевропейских языках), но и образованные в общеиранский период или позднее, хотя и из исконного индоевропейского материала.

Особое внимание в этой связи приходится уделять таким словам, которые могут быть образованы от древних — вплоть до индоевропейских — корней, при помощи столь же древних средств, однако характеризуются при этом ограниченностью определенным ареалом функционирования (само по себе это еще не свидетельствует об их инновационном характере, однако настораживает) и, главное, — "продвинутостью" семантики.

В качестве соответствующей иллюстрации можно привести названия водяной мельницы в различных иранских языках Средней и Центральной Азии, образованные по моделям **x^{v}at-ārana(ka)-*, букв. "само-мелющая" (ср. ягн. *xutanna*), **x^{v}at-āraka-*, букв. "само-молка" (ср. мундж. нижн. *xīrɣə*, верх. *xɣ́rgə*, йидга *xĭrɣo*, ишк. *xъdóri*, сангл. *xuδāri*, *xδ̌δāri*, язг. *x°ayérg*, шугн. *xadōrǰ*, *xidōrǰ*, руш. *xadůrǰ*, барт. *xadōrǰ*, сар. *xadurǰ*) из исконного материала, продолжающего индоевропейский (ср. общеир.**x^{v}at-* от местоименной основы **x^{v}a-*, **x^{v}ai-* "сам, свой" — из и.-е. основы **s(e)ue-* и производной от нее основы на **-t-* [4, с. 882—883], и именные и причастные образования от общеир. корня **ar-* — из индоир. **al-*, продолжающего и.-е. **al-* "молоть, размельчать" [4, с. 28-29; 5, № 1, с. 55—56]), согласно исконной же основной модели — композиту. При этом, однако, поскольку природные условия и способ хозяйствования соответствующей древней эпохи не предполагали существования такой реалии, наличие ее обозначения для того периода весьма сомнительно.

В ряде случаев новые слова, состоящие из индоевропейского или общеиранского материала, оказываются не только относительно поздними, но и построенными к тому же согласно моделям неспонтанного, иногда субстратного происхождения, представляя лексические единицы, которых и не должно было существовать в общеиранском и тем более в индоевропейском состоянии. Это касается даже слов, относимых обычно к "центральной", или "ядерной" лексике, или к "основному словарному фонду". Так, например, местоимения 2 л. мн. числа в большинстве юго-восточных иранских языков, как и в соседних с ними индоарийских языках (включая дардские), построены по моделям типа **ta//tu-măx* (в иранских языках), **ta-smā* (в индоарийских), вторая часть которых унаследована из парадигмы старых личных местоимений мн.числа (при сохранении ее в парадигме местоимения 1 л. мн.

числа, ср. общеир. **ah-mākam* > **a-maxam* > **māx*), а первая часть представляет собой как бы препозитивный детерминатив 2 л, продолжающий этимологически основу древнего местоимения 2 л. ед. числа (ср. ном. **tuuat*, ген. **taua*). Обе разновидности (иранская и индийская), сложившиеся в этих языках относительно поздно, параллельно и независимо, представляют собой варианты единой ареальной модели, возникшей, по-видимому, под воздействием общего субстратного построения местоимений мн. числа от основ местоимений ед. числа постпозитивными формантами (подробнее см. [6; 7, с. 209—213], там же материал и предшествовавшая литература)

Нередко картина осложняется еще и заимствованиями лексем из одного иранского языка (особенно из престижного в том или ином регионе — персидского, таджикского, дари, пашто и др.) в другие. Такие слова не всегда легко отличимы от исконных, продолжающих те же древние прототипы, а это затрудняет выявление как фонетического облика самого прототипа и его семантики, так и путей его дальнейшей трансформации по языкам.

Таким образом, критерий "взвешенности" каждой этимологии требует большой предварительной работы в виде анализа как разных аспектов диахронии каждого языка, так и лексических систем различных языков, генетических языковых групп и чисто ареальных объединений. К настоящему времени, как представляется, большая часть такой работы уже проделана.

Во-первых, накоплено поистине гигантское количество конкретных этимологических разработок. Они содержатся в обобщающих иранистических исследованиях, созданных в разные периоды (соответственно с учетом данных тех материалов, которые были известны науке к тому времени, ср., например [8—14]); в работах, посвященных сравнительно-историческому анализу отдельных генетических групп и подгрупп (см [7; 15—18] и мн. др.); в исследовании истории отдельных иранских языков ([19; 20], разделы в [14; 21—25] и др.); в монографиях и диссертациях, посвященных историческому анализу лексики (или ее разрядов и тематических групп) в различных языках, генетических группах, ареалах [26—29]. Наибольшую ценность представляют, естественно, этимологические словари [30—32], а также такие словари, в которых этимология составляет один из элементов словарной статьи (см. [33], словарные разделы в [34], в работах [35—42] и мн.др.). Наличие к тому же большого количества частных этимологических разработок отдельных слов и их семантических групп — в трудах по разным языкам, начиная с эпохи "классической" иранистики конца XIX в. (см. разделы в [8], работы разных лет Хр. Бартоломе, В. Томашка, Вс.Ф. Миллера, П. Хорна, Х. Хюбшмана, Р. Готьо, П. Тедеско, Э. Бенвениста и мн. др.) и до наших дней, — в монографиях, статьях, отдельных этимологических заметках (вплоть до подстрочных примечаний), разбросанных по сборникам и журналам, — делает этот фонд этимологий практически неисчерпаемым.

Во-вторых, успехи индоевропеистики в целом (и отдельных ее отраслей, особенно, в частности, индологии) в плане изучения истории конкретных языков и всей языковой семьи, развития проблематики, формулируемой обычно как "история языка об истории народа" (см. труды В И Абаева, особенно [44—47], Э. Бенвениста, особенно [48] и др; из последних — труд Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванова [49], и др., например [50]), а также многие конкретные этимологические исследования, начиная от этимологических и сравнительных словарей (ср. индоевропейские словари [4, 51], индологиче-

ские словари [5, 52, 53], этимологические словари славянских [54] и других индоевропейских языков [55]), обобщающих трудов по отдельным разрядам лексики [56—58] и кончая множеством отдельных этимологических статей с различным материалом, включая иранский, многократно увеличивают как количество разработанных этимологий, так и их глубину.

Обработка и систематизация всего известного корпуса иранских этимологий (с добавлением данных иранского ономастикона [59—65] и др.) и сведений из "побочных" источников в виде старых иранских заимствований в другие языки ([18, 64; 66—67] и мн. др.), а также в виде новых этимологий, особенно — охватывающих лексику живых бесписьменных иранских языков, описанную относительно недавно и не рассматривавшуюся в традиционных трудах, — во всей полноте — дело будущего. Однако и на настоящем этапе, первичном для "общеиранского масштаба" рассмотрения лексики, — сведение воедино основных этимологических разработок и их общая систематизация представляется необходимой и уже возможной.

В-третьих, последние десятилетия подготовили серьезный собственно ирановедческий и индоевропеистический системный фундамент для построения исторической лексикологии иранской языковой семьи, — в виде исследований структуры языков в сравнительно-историческом, типологическом и ареальном аспектах

В частности, разработка в этих аспектах фонетики и фонологии иранских языков на общем индоевропеистическом фоне обусловила возможность уточнить фонологический и фонетический строй общеиранского состояния (в отношении не только фонемной парадигматики, инвентаря фонем и представляющих их основных звукотипов, но и фонемной синтагматики и просодической системы, см. [17, с. 23—65], что не менее существенно для характеристики слова и для этимологического отождествления словоформ от единого корня), а также характер спонтанных (и неспонтанных) путей трансформации этой прасистемы в системы конкретных иранских языков. Это позволило уточнить, в свою очередь, многие из уже известных этимологий и предложить новые, обнаружить некоторые заимствования, включая относительно ранние, что особенно существенно для выявления заимствований из одного иранского языка в другой.

Анализ в этих же аспектах морфологии и микросинтаксических структур, а также элементов словообразования, способствовал уточнению общеиранских парадигм и выявлению путей их дальнейшей трансформации. Это дало возможность определить взаимоотношения и распределение по парадигмам словоформ, реконструируемых для различных хронологических срезов, включая праязыковой, а также выявить случаи "перебоев" в спонтанном развитии, связанные не только с парадигматическим выравниванием, но и с давлением на словоформу общей грамматической и лексической системы и — в конечном счете — содержательной стороны языка (иногда с привнесением неспонтанных содержательных элементов со стороны субстратной подосновы, о чем будет сказано в другой работе). Все это также способствовало уточнению этимологий ряда слов и, в частности, круга их значений в предшествовавшие эпохи.

Работы этого направления создали системную базу для системного же анализа лексики иранских языков, в частности, в сравнительно-историческом аспекте. Особо хотелось бы подчеркнуть, что значительная часть ира-

новедческих работ этого характера была подготовлена в Секторе иранских языков Института языкознания АН СССР, ныне — Лаборатории иранистики Института языкознания РАН, — под руководством и при непосредственном участии проф. В.С. Расторгуевой и В.И. Абаева и опубликована в виде коллективных монографий [21—25; 68] и серии индивидуальных монографий и статей.

Помимо общей системной базы исторического исследования иранских языков эти работы создали и определенные методические ориентиры для сравнительно-исторического, типологического и ареального анализа иранских языков в целом и, следовательно, их лексики в частности.

В-четвертых, в последние десятилетия усилился интерес к глубоким этимологическим исследованиям различных языков и к самой методике разработки и систематизации этимологий и создания этимологических словарей (см. посвященные этой проблеме публикации в ежегоднике "Этимология", в различных сборниках и журналах [69—73] и др.), отразившийся и в этимологических словарях разных семей и групп (см. [30, 32, 54, 74—76] и др.).

В-пятых, поскольку лексика как языковой уровень особенно тесно связана с содержательной стороной языка и поскольку история слов как языковых знаков подразумевает анализ их динамики не только в формальном, структурном, но и в семантическом плане, работа такого рода на современном этапе развития лингвистики не может быть проделана без учета общих теоретических и методических разработок в области лексикологии и семантики (см. труды В.Г. Гака, Е.С. Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, Т.В. Булыгиной, Ю.С. Степанова, Ю.Д. Апресяна и др., см. краткие, но очень информативные статьи по этой проблематике в [77]), семантической реконструкции [78] и уже упоминавшихся разработок в плане привязки реконструируемой семантики слова к элементу "картины мира" древних (исследования в русле "история языка — история народа", методика "Wörter und Sachen" и пр.).

Тем самым сравнительно-исторические исследования лексики иранской языковой семьи на современном этапе уже не могут не базироваться на современных же достижениях как собственно ирановедческого и индоевропейского языкознания, так и теоретической лингвистики.

Систематизация и способ представления этимологических разработок могут быть проведены ныне по самым различным параметрам.

При этом анализ лексики праязыкового — общеиранского — периода, как представляется, наиболее реально может быть проведен в работах двух основных типов, различающихся принципами систематизации общеиранских этимонов: 1) по материальному облику слов (с учетом их фонетических, фонологических, морфологических и словообразовательных характеристик и их трансформации); 2) по семантическому содержанию (с учетом круга значений каждого слова, соотношения его с другими словами, группировки слов по семантическому принципу и трансформации в этом плане). Естественно, что эти аспекты тесно взаимосвязаны: без учета материальной генетической общности тех или иных конкретных лексем и даже словоформ и без реконструкции материального облика их прототипов невозможно отождествить их в качестве рефлексов единого лексического элемента праязыковой системы и выявить тем самым, хотя бы ориентировочно, набор сем слова-прототипа и его понятийную трансформацию на путях к семантике его потомков — конкретных слов и форм в конкретных языках, и наоборот. Та-

кая взаимосвязанность и взаимообусловленность задач в сравнительно-историческом изучении лексики порождает целый ряд проблем (различных по характеру, объемности и глубине) и делает сравнительно-историческую лексикологию едва ли не самой сложной в методическом плане из всех сравнительно-исторических дисциплин.

По идее первая задача может решаться в ходе работы над "Этимологическим словарем иранских языков", в котором корпус этимологий организован по принципу материальной генетической общности слов и форм на основе их происхождения из единого в этимологическом плане реконструируемого слова или корня[1]. Такая работа ведется в настоящее время в Лаборатории иранистики Института языкознания РАН. Второй задаче может служить исследование лексики (как реальной лексики конкретных языков, так и реконструированной более ранней системы тех же языков или праязыковой) в аспекте ее семантической стороны и систематизация ее по семантическим группам и полям в синхронном состоянии (включая относительно синхронную праязыковую общеиранскую систему), а также наблюдения над трансформацией лексики в этом плане. Опыт такой работы был предпринят автором настоящей статьи. Некоторые проблемы, возникшие в ходе и той, и другой работы, как представляется, было бы полезно обсудить на данном этапе.

Целый ряд вопросов оказался связанным с объективной трудностью (и с принципиальной возможностью или невозможностью) реконструкции слова как языкового знака во всей его полноте и реконструкции лексики как целостной системы, что вполне естественно: чем "выше" языковой уровень, чем теснее он связан с содержательной стороной языка, тем труднее поддаются реконструкции составляющие его единицы и тем сложнее моделирование его системы в целом [80], поскольку и число составляющих его единиц (в данном случае слов), и их взаимоотношения (структурные и содержательные) не только увеличиваются несоизмеримо в количественном плане, по сравнению, например, с фонологическим уровнем, но и многократно усложняются качественно, образуя по существу сложную неформальную открытую систему.

Так, реконструкция слова для общеиранского состояния (как и прошлого состояния какого-либо конкретного языка) предполагает восстановление: 1) его фонетического облика; 2) фонологического состава и просодической характеристики; 3) набора словоформ, объединяемых этим абстрактным "словарным" словом (практически — его морфологической парадигмы или хотя бы ее центральной части); 4) функций этих словоформ (практически — элементов синтаксиса или хотя бы основных синтаксических структур, в которых функционируют данные словоформы); 5) круга значений (или набора сем) — с определением границ этого круга. (В идеале также желательна разработка классификации сем: выявление иерархически значимых, ведущих

[1] Сравнение способов подачи материала, например, в [4] и [51] показывает, что для такой системы, как индоевропейская (то же относится и к общеиранской), в которой вычленим корень слова, удобнее группировать материал в словарные статьи по принципу единства корня, а не единства словоформы или основы, во всяком случае, на этапе первоначального сведения в единый фонд этимологий различных слов, разработанных разными авторами. Такая композиция позволяет объединить в рамках одной статьи разные производные от единого корня и сделать наглядными не только очевидные, но и неочевидные генетические связи слов, представив вместе реконструкции всех трех (по К Уоткинсу) уровней (Е 1 — comparanda, Е 2 — истинную этимологию, Е 3 — глубокую этимологию, включающую не только очевидные, но и неочевидные связи слов [79, с 291—295])

сем при словообразовании, и "ведомых", зависимых сем в праязыковом "слове", а также стилистических, жанровых и др. характеристик слова.) На практике вся эта совокупность характеристик слова едва ли достижима, особенно учитывая хронологическую удаленность общеиранского состояния. Если структурная сторона слова как языкового знака (т.е. пункты 1—3) реконструируется относительно однозначно, хотя для пункта (3) и с определенными ограничениями (о методах и трудностях этих реконструкций см. [17, с. 7—20; 7, с. 3—7]), то его семантическая сторона может быть выявлена лишь в некотором приближении — в виде неких содержательных вех, но не сколько-нибудь полного набора сем, притом без явного разграничения центрального и периферийных значений и тем более без определенных границ словоупотребления, иначе говоря, при возможности допущения неких значений (и, следовательно, словоупотребления), но без возможности выявления запретов на словоупотребление (и, следовательно, выявления отсутствия у слова неких значений). О проблемах и приемах семантической реконструкции имеется большая литература ([78; 81, с. 331—349] и мн. др., см. также сжатый, но весьма информативный обзор работ, освещающих проблемы этимологии и реконструкции семантики в [79, с. 289—292]), однако материал иранских языков может служить дополнительной иллюстрацией трудностей, возникающих в этом плане.

Так, например, на основании фонетических соответствий и некоторых семантических ориентиров для общеиранского состояния реконструируется лексема **źraⱬah-* из и.-е. **ĝleⱬos-* от глагола **ĝlei-* "течь, струиться", отмечаемого только для индоиранских языков [4, с. 401]. Ее продолжения в древнеиранских языках фиксируют обозначения ею некой обширной водной массы: ав. п. *zrayah-* "море" (включая обозначение мирового океана — *Vourukaša-)*, "озеро" (включая названия ряда озер), др.-перс. **drayah-*"море" [33, стб. 1701—1702], при соответствии древнеиндийскому *jráyas-* "движение, струение, бег [воды]" [52, № 7, 29—30]. В более поздних языках находим, с одной стороны, ср.-перс. *drayāk*, кл. перс. *daryā* "море, океан; река", совр. перс. *däryå* обычно в значении "море", тадж. *daryo* "река, большая река" (включая использование этого имени в названиях рек), и — как устарелое — "море", а с другой стороны, в горных местностях Памиро-Гиндукушского региона — йидга *žōi* "озеро", рошорв. *ǯöy* — название озера, язг. *ǯiy* "озеро; маленький искусственный водоем, пруд", вах. *ǯuy* "водоем", барт. *ǯōy* "мокрый, сырой" (для выражения понятия "река" здесь используются этимологически иные термины — от других корней и несколько различающиеся, в зависимости от обозначения главной реки в долине или боковых притоков). Иначе говоря, в языках юго-западной группы (персидском, таджикском) налицо обозначения "большой воды" и/или движущейся воды, а в языках восточной группы — стоячей воды (и затем в бартангском, возможно, через этапы "озеро" → *"болото" → "влажное, сырое место" → "мокрый, сырой").

Тем самым становится очевидным, что реконструкция семантики общеиранского **źraⱬah-* зависит в известной мере от представления о природных условиях иранской прародины. Скорее всего, это слово обозначало тогда, как и несколько позднее (в древних иранских языках), понятие "большой не-неподвижной воды", того водного массива, возле которого жило племя, причем не исключено, что уже тогда этой "большой водой" в разных ареалах иранского мира могло быть и море, и озеро, и большая река, отделявшая данный

этнос от остального мира. И уже позднее — при последующих миграциях племен — в одних языках сохранилось понятие большой воды, волнующейся или текущей мимо, а в других — понятие большой глади воды, из которого постепенно уходила составная часть общего объема этого понятия, связанная с обширностью этой глади.

Если это так, то можно считать, что основная или "ведущая" сема индоиранского уровня — течения, струения, бега воды — сменилась в общеиранском на другую (возможно, периферийную в более ранний период) — обильную, большую воду, а далее, как видно из приведенных примеров — на разные "ведущие" семы по разным группам языков, при том, что само понятие воды постоянно остается на периферии круга значений данного гнезда слов (поскольку центральным значением это понятие является в другом гнезде, обозначающим именно воду как вещество, а позднее и течение и реку в ряде языков — **ар-* : *ār-*).

В результате такой относительности, "приблизительности" в реконструкции набора сем отдельного слова, неявности их иерархии, а также ориентировочности границ круга значений слова, серьезные трудности возникают и при попытках восстановить для праязыкового состояния соотношение постулируемых лексических единиц. Это касается в частности трудностей в реконструкции явлений синонимии и омонимии.

Трудности в анализе фактов синонимии, особенно в выявлении степени синонимичности слов, объясняются в части случаев субъективным фактором, т.е. тем, что мы далеко не всегда можем реконструировать более или менее древнюю границу значений между словами-"соседями" в семантической группе, и нам сейчас, при взгляде "отсюда" могут представляться практически полными синонимами в прошлом такие слова, которые в действительности характеризовались в ту эпоху лишь частичной синонимией (обладая некими семантическими или стилистическими и пр. различиями, которые были впоследствии утрачены), либо вообще не являлись синонимами (см. ниже). Возможно, с этим обстоятельством связано отчасти обилие синонимов, фиксируемых в праязыковом материале этимологических словарей (ср. упреки, которые предъявлялись в этом плане, в частности, к словарю Ю. Покорного).

О другом, уже объективном, факторе в появлении лексической синонимии (в том числе и полной) в праязыковой системе, т.е. заимствовании слов из одного диалекта в другой в условиях диалектной вариативности праязыковой лексики уже писалось [82, с. 12].

"Синонимы", выявляемые в общеиранской системе, могут относиться и к тому, и к другому типу, а причины их возникновения не всегда самоочевидны, особенно в тех случаях, когда рефлексы двух (или более) слов-синонимов впоследствии оказываются "разведены" по ареалам. Иногда при такой ситуации невозможно решить, сосуществовали ли эти слова в рамках единой лексической системы, были ли они синонимами (в том числе семантическими, жанровыми, стилевыми и др. лексическими вариантами выражения единых или сходных понятий, являлись ли они архаизмами или инновациями и т.п.), или они были связаны с диалектной стратификацией праязыка и изначально принадлежали разным диалектным лексическим системам. Так, например, обозначение лошади, коня, в разных иранских языках приводят нас к двум разным праформам древнейшего общеиранского состо-

яния: к *aśu̯a- (ном. м.р. *aśu̯ah) из и.-е. *eḱu̯o- (ном. м.р. *eḱu̯os) [4, с. 301] и к отглагольному *bāraka-, обозначение собаки — к *śu̯an- : śun- из и.-е. *ḱu̯on- : ḱun- [4, с. 632—633] и к (возможно, звукосимволическому) *kuta-, *kuti-.

В некоторых случаях слова-синонимы явно сосуществовали в единой праязыковой лексической системе, хотя, по-видимому, не были полными синонимами в наиболее ранний период (однако, возможно, и становились таковыми позднее), т.е. являлись синонимами, обязанными своим возникновением не диалектной, а хронологической стратификации праязыка.

Так, в общеиранском состоянии еще сохранялось индоевропейское (и общеарийское) название ночи: общеир. *nakt-, naxt- из общеар. *nakt- (ср. др.-инд. nakt-, ном. ж.р. nak), продолжавшего и.-е. *nekʷ-(t)-, *nokʷt- (ж.р.), *nokʷti- (ж.р.), *nokʷt(e)r- (ср.р.) [4, с. 762], однако имелось и второе, восходящее к общеарийскому: общеир. *xšap- (а также *xšapan- : xšapar-, *xšapā-) из общеар. *kšap- (ср. др.-инд. kṣap-, kṣapā- "ночь" ж.р.), — также обозначавшее "ночь" и продолжавшее в конечном счете и.-е. *kʷsep- "темный, темнота" [4, с. 649]. В дальнейшем в индоарийских языках второе слово широкого распространения не получило, ограничившись северо-западным регионом дардских языков. В иранских же языках оно распространилось почти повсеместно: ср. ав. п., др.-перс. xšap- (ж.р.) "ночь", ав. п. xšapan- (ж., ср. р.), ав. п. xšapar- (ср.р.), ав. г., п. xšapā- "ночь" — всегда в противовес дню [33, стб. 548—549]. В значении "ночь" (в широком смысле) рефлексы этого слова прослеживаются почти во всех иранских языках (ср. перс. šab, тадж. šab, согд. будд. 'γšp-, ман. (')xšp-, ягн. x(i)šap, осет. æxsæv/æxsævæ и т.д. Рефлексы же первого слова сохранились лишь в авестийском языке — в составе образования upa-naxtar- "сумеречный, близкий к ночи" (о вечерних и утренних сумерках) [33, стб. 391] и в современном ваханском языке — naγd "ночь". Трудно определить, были ли эти два слова — *nax/kt- и *xšap- в раннем общеиранском состоянии уже полными синонимами, либо они сохраняли вначале некие оттенки значения, разграничивавшие их, и стали полными синонимами позднее (вследствие чего и произошло вытеснение вторым словом первого), однако, судя по наличию обеих основ в языке Авесты, они не были "разведены" в праязыке ареально даже в относительно поздний период, а судя по семантике их в том же языке Авесты, они оба использовались в позднем общеиранском для обозначения понятия ночи и как времени суток, и как темноты.

В диахронии иранских языков имеются интересные примеры перехода слов, близких по значению, но не синонимичных, в разряд частичных и затем полных синонимов, иногда с последующей поляризацией значений и разрушением синонимии.

Так, для общеиранского состояния уверенно реконструируются (на основании историко-фонетических, фонологических и морфологических правил и по набору "центральных" сем) несколько слов для обозначения особей крупного рогатого скота. Для нас в данном случае существенны два из них:

1) *gau- : gāu- (м. и ж. р.; ном. ед.ч. *gāuš) "корова, бык" (из и.-е. *gʷou-, ном. ед.ч. *gʷōu-s [4, с. 482]), соответствующее др.-инд. gáv-, gau- (ном. ед.ч. gauḥ) "корова, бык" и широко распространенное в вымерших и живых иранских языках: ав. gav- : gāv- "корова, бык; крупный рогатый скот", др.-перс. gau-, ср.-перс., кл. перс. gāv, перс. gâv, тадж. gov, курд. курм. ga, согд. будд. γ'w

"корова", ягн. *γow* "корова, бык", хор. *γ'w-*, *γok* < **gāu̯(a)-ka-* "корова", скиф. **gau-*, осет. *qūg/γog* "корова" (с суф. *-g* < **k*), хот.-сак. *gāha-* "бык, корова", *gūha-* "бык", *gūhā-* "корова" (с *-h-* на месте зияния вм. исчезнувшего **-u̯-*), пашто *γwā* "корова" (из **gau̯a* + вторичн. суф. ж.р. **-ā*, см. ниже), мундж. *γṓwə*, йидга *γavo* "корова, бык", шугн., бадж., руш., хуф. *žōw*, барт., рош. *žaw*, барв. *žāw*, сар. *žεw* "корова" (*ž-* < **γ-* < **g-*), ишк. *γu*, сангл. *uγū(i)*, *ōγūi* "корова", вах. *γ̌ыw* "корова", но язг. *γew* (< **gāu-*) "бык" (подборку лексем на **gau-* см. [12, с. 139—140]).

2) **uxšan-* (м.р., по диалектам также **ukšan-;* ном. ед.ч. **uxšā*, **ukšā*) "бык, телец, вол (?)" (из и.-е. **ukʷsen-*, **ukson-* — о различных индоевропейских вариантах, их значениях и этимологии см. ниже), соответствующее др.-инд. *ukṣan-* (ном. ед.ч. *ukṣā*) "молодой бычок, телец" и отразившееся в более узком кругу иранских языков в виде: ав. *uxšan-* "самец крупного рогатого скота; бык, телец", шугн. *x̌īǰ* "бык", руш., хуф. *x̌oǰ* "бык, вол", барт. *x̌öǰ* "бык, вол", рош. *x̌öǰ* "бык", сар. *x̌eǰ* "вол" (все из ном. **uxša* + суф. **-ka*); аналогичное образование (**uk/xša* + *-ka*) не исключено для ягн. *kišok* "бык", мундж. нижн. *kū́yō*, верхн. *kūwō* "бык", йидга *qiāγ* "вол", ишк. *kъẓ̌uk*, сангл. *kužū́k* "бык" — при контаминации здесь рефлексов **uk/xša-ka* с рефлексами производных от вторичной глагольной основы **kaš-* от общеир. **karš-* "тянуть, тащить" → "проводить борозду"[2]; к прототипу **ukšan-* восходит вторая часть вах. *d(ы)rukṣ̌* "бык, вол" (при соотнесении первой части с **druu̯a-* "здоровый, крепкий, сильный"). Только в язгулямском языке от этой основы образовано название коровы — *x̌°ān* — из раннеязгулямского вторичного образования жен. рода из рефлекса общеир. **uxšā̆n-* + суф. **-ā*, ср. образование пашто *γwā* с аналогичным суффиксом.

Материал показывает, что эти лексемы не были "разведены" по диалектам праязыка, хотя вторая активнее использовалась в относительно ограниченном ареале восточноиранских диалектов Средней Азии и примыкающих регионов. Отдельные языки сохранили рефлексы обеих лексем в разных значениях. При этом в подавляющем большинстве языков за продолжениями основы **gau-* : *gāu-* закрепилось значение "корова", редко также "бык", т.е. практически обозначения коровы как представителя вида (для обозначения собственно быка иногда используются вторичные аффиксальные образования, композиты, заимствования и пр.). Продолжения основы **uk/xšan-* обычно имеют значения "бык, вол". Однако в язгулямском языке эти лексемы как бы "поменялись" семантикой, причем относительно поздно, поскольку: а) в близкородственных ему языках шугнано-рушанской группы сохраняется "обычное" распределение значений; б) в язгулямских топонимах сохраняется употребление рефлексов основы **uk/x̣šan-* в значении, которое можно трактовать и как "обычное" — более архаичное "бык, вол", и как общее видовое название коровы и быка[3].

Очевидно, что в условиях давней традиции молочного хозяйства Западного Памира названия самца и самки крупного рогатого скота не могли просто совпасть (и размежеваться затем иным, противоположным образом): они

---

[2] В условиях Памиро-Гиндукушского региона, где пахота, молотьба и пр традиционно производилась на быках или волах, такая ассоциация вполне естественна — с переосмыслением данного слова как "тягловый" → "пашущий".

[3] Если предлагаемая этимология верна, то топоним язг. *Šabug* продолжает **uxšā̆-pr̥tu-* "коровий, бычий брод", ср. англ. *Oxford*, греч. Βόσπορος (ср. шугн. *X̌ipōδ* — то же, но с изменением второй части слова по аналогии с шугн. *pōδ* "нога").

обычно четко противопоставлены лексически, а при "угрозе" фонетического совпадения их противопоставление "регенерирует" путем создания новых терминов различными словообразовательными средствами (см. ниже) или заимствованиями. Следовательно, в раннеязгулямском или в "малом праязыке", общем для севернопамирских языков (шугнано-рушанской группы, язгулямского и старованджского), рефлексы общеиранских **gau-* и **uxšan-* различались в семантическом плане не обозначением (или не только обозначением) пола животного, но и другими семами, "перевесившими" затем в язгулямском первоначальные.

Семантика этих слов еще для индоевропейского состояния обсуждалась в литературе неоднократно. Если **g^{w}ou-* относят обычно к обозначениям единицы крупного рогатого скота (с соответствующим оформлением их наименований муж. или жен. родом имени), то семантика, дальняя этимология и даже фонологический состав второго термина вызывает споры: ср. возведение его к корню **uk^{w}s-* "увлажнять, брызгать" с реконструкцией **uk^{w}sen-*, **uk^{w}son-* "бык-производитель" или к корню **u̯eg-* (или **Hu̯eg-)* "расти" + *-s* с реконструкцией **ukson-*, **Huksen-* "подрастающий (не взрослый) или выращиваемый бычок, жертвенный телец" и т.п. (обзор см. [4, с. 1118; 5, № 3, с. 210; 49, Т. II, с. 566; 83]). При любой трактовке конкретного значения ясно, что индоевропейский этимон общеиранского **uk/xšan-* служил первоначально не родовым обозначением единицы крупного рогатого скота, как **g^{w}ou-* > общеир. **gau-*, а названием бычка или быка, предназначенного для каких-то особых целей.

О круге значений и того, и другого слова в общеиранском состоянии можно судить на основании сопоставления более ранней — индоевропейской — семантики с семантикой в конкретных иранских языках, в частности, в наиболее древнем — авестийском, где *gau-* (м., ж. р.) выявляет значения "бык, телец, корова" (с разными оттенками) [33, стб. 505—509], а *uxšan-* "самец крупного рогатого скота, телец" и персонифицированного изображения солнечного сияния — "бык сияющего дня" [33, стб. 383], т.е. использовалось для обозначения не только или не столько единицы крупного рогатого скота, сколько для наименования быка или бычка для обособленных функций. По-видимому, сходный круг значений имели эти слова и в общеиранской системе: **gau-* : *gāu-* (муж., жен.) "единица крупного рогатого скота" — **uk/xšan-* "телец, бычок на откорме (?)" или "(будущий) тягловый бык, вол".

Если это так, то в древних диалектах Средней Азии, включая "прасеверно-памирский", можно усмотреть расширение или, во всяком случае, изменение семантики второго слова до обозначения им всякого быка, независимо от хозяйственных или ритуальных функций, и, следовательно, до совпадения центрального круга его значений с кругом значений первого слова в мужском роде, т.е. до образования пары синонимов.

Далее при филиации севернопамирских языков в раннеязгулямском могли совпасть (полностью или частично) и периферийные значения, образовав практически полные синонимы для обозначения быка — в ном. ед.ч. предположительно в виде **γāw* и **x̌°ā* или **ux̌ā*. Поскольку это был период продуктивного образования имен жен. рода от имен или основ муж. и ср. рода (а также первичных имен жен. рода) наращением суффиксов **-ā*, **-i*, **-ī* (ср. пашто *γwā* "корова"), в язгулямском реализовалась возможность построения двух синонимических пар для обозначения самца и самки крупного

рогатого скота. При этом для названий быка сохранялись древние основы, а для обозначения коровы были образованы вторичные с суф. *-*ā*:

1) м.р. ном. **γāw* (< **gāu-*), основа **γăw* (< **gau- : gāu-*)

~ ж.р. **γăw-ā* (< **gau- : gāu-* + *-ā*).

2) м.р. ном. **x̌°ā* (< **uk/xšā*), основа **x̌°an-* (< **uk/xšan-*)

~ ж.р. **x̌°ăn-ā* (< **uk/xšan-* + *-ā*).

В дальнейшем для обозначения быка, вола в язгулямском сохранился рефлекс старого — первого слова в виде **γāw* > *γew*, а для коровы "выбрано" максимально отличное от него в плане выражения **x̌°ăn-ā* > *x̌°ān*. При этом данные основы сохраняли какое-то время и "периферийные" значения, на что указывает использование основы **x̌°ā-* или **uxā-* > *ša-* в топонимике (см. примеч. 3), а основы **γăw-ā* > *γaw-* в образовании *γawə̀k* "говяжий" (обычно в сочет. *γawə̀k-i gəx̌t* "говядина", букв. "говяжье мясо").

В диалектах же, легших в основу языков шугнано-рушанской группы, в названии коровы закрепился рефлекс основы **gau-* с *-ā-* от формы ном. ед.ч. и с вторичным суф. ж.р. **-ā* (т.е. **γāw-ā*), присутствие которого в прошлом подтверждается исторической фонетикой (без этого суффикса отсутствовала бы *a*-умлаутная перегласовка корня, и в рушанском языке было бы **žûw*, а не *žōw*). Историческая форма м.р. без суф. **-ā*, т.е. **γāw* в некоторых языках (в частности, в шугн., барт., сар.) должна была совпасть фонетически с формой жен. рода, что, возможно, способствовало вытеснению ее синонимом и дальнейшей поляризации названий. В результате в названии быка здесь возобладала вторая лексема, но с наращением суффикса **-ka* (и сокращением гласного, по типу **uxšā* + *ka-* > **x̌aka-* > шугн. *x̌ĭǰ*, руш., хуф. *x̌oǰ* и т.д.), употребительного и в других вторичных именах муж. рода, в том числе и при необходимости подчеркнуть пол животного (включая случаи фонетического совпадения древних имен муж. и жен. рода, ср. шугн. *maγ̌*, руш. *mēw*, барт. *māw*, сар. *mɛwl* "овца" < общеир. **maišĭ-* или вторичное **maišā-*, но шугн. *miγ̌ĭǰ*, руш., хуф. *mawoǰ*, барт. *mawōǰ* "баран" < **maiša-ka-* [15, с. 52]).

Таким образом, при возникновении в какой-то период между двумя словами отношений полной (или приближающейся к полной) синонимии могут наблюдаться тенденции к ее устранению. Это создает дополнительные трудности в реконструкции системы синонимов (и ее динамики) даже в относительно позднем региональном праязыке для небольшой языковой группы. Тем более велики они при реконструкции общеиранской праязыковой системы, если учитывать ее серьезную диалектную и хронологическую (и, по-видимому, стилистическую) неоднородность.

Определенные трудности возникают в ряде случаев и при лексической атрибуции реконструируемых праязыковых словоформ, сходных материально, но не тождественных семантически. Проблема отнесения их к единому для общеиранского состояния "словарному слову" с развитой полисемией или к разным "словарным словам" — омонимам не всегда может быть решена однозначно. История иранских языков выявляет примеры как "изначальных" для общеиранской системы омонимов, появившихся в результате фонетического совпадения разных индоевропейских слов и словоформ, так и становления омонимов в результате "расщепления" единого доиранского слова с развитой (или еще не затухшей) полисемией. В последнем случае вопрос об омонимии и полисемии не всегда может быть решен однозначно. Проблема возникает иногда с определением относительной хронологии про-

цесса "расщепления" единого индоевропейского слова: его "расщепление" в доиранскую эпоху означает омонимию его продолжений в общеиранском состоянии, а отнесение этого процесса к иранской (даже праязыковой) эпохе — полисемию единого слова. Поскольку данный круг вопросов освещался неоднократно в лингвистической литературе в самых различных аспектах (см. [82, с.10, 14—15; 84] и мн. др.), достаточно ограничиться рассмотрением здесь одного примера, предоставляемого иранским материалом.

Так, можно строить различные предположения о наличии одного или двух слов в общеиранском, представленных в виде **nāu-*, — продолжений (или продолжения) и.-е. **nāu-* (в словаре [4, с. 755—756] реконструирована основа **nāus-* ж.р., однако ее рефлексы в индоиранских языках свидетельствуют о прототипе **nāu-*, поскольку и.-е. **-s-* продолжилось бы здесь в виде **-š-*, чего не произошло). Для индоевропейского реконструируется значение "судно (выдолбленный или пустой ствол дерева)" [4, с. 755], однако даже в ряде языков Европы отмечаются др.-в.-нем. *nuosc*, ср.-в.-нем. *nuosch* "корыто, желоб", др.-фриз. *nōst* "корыто", ср.-н.-нем. *nōste* "ясли, корыто для скота; корыто для воды" [4, с. 755], — что указывает на относительно длительное переживание здесь и наиболее архаичного значения слова: "выдолбленный (//пустой) ствол дерева" → "сосуд // изделие из выдолбленного (//пустого) ствола".

В иранских языках древнего периода (как и в древнеиндийском или латинском) засвидетельствованы только значения **nāu-*, связанные с понятием лодки, челна, судна: др.-перс. *nāv-* "лодка, судно", *nāviya-* "судоходность"; ав.п. *navāza-* "лодочник, моряк", *nāvaya-* "судоходный" (ср. др.-инд. *nāv-* "лодка, бот", *nāvājá-* "лодочник, моряк", *nāvya-* "судоходный" и т.д.). Однако в более поздних языках находим рефлексы **nāu-* не только с этим кругом значений (см., например, ср.-перс. **nāydāg* [*n'ywt'k*] "глубокий, судоходный" [37, с. 58], кл. перс. *nāv* "корабль, судно" [85, с. 854]; совр. перс *nâv* I "1) военный корабль; 2) корабль, судно" и производные от него: *nâvbär* "штурман", *nâvbäri* "кораблевождение", *nâv(e)gân* "флот" и т.п. [86, с. 624—625]; осет. *nau* "пароход, корабль, судно" и производные [87] и т.д.), но и со значениями, восходящими к более раннему индоевропейскому "изделие из выдолбленного //пустого ствола". Обычно это "желоб", реже — "трубка". Таковы, например, ср.-перс. *nāy* "труба, трубка; флейта; жердь, мера длины (10 футов)" (из **nă̯u̯(a) i̯a-* при возможной контаминации с *nay* "тростник") и производные типа *nāyīzag* [*n'yck'*] "мелкий тростник, солома" [37, с. 58]; кл. перс. *nāv* "ручей, канал, проток; водосток"; *nāv*, *nāvdān* "желоб, водосток, труба"; *nāvis* "небольшая стрела", *nāva* "корытце для раствора на стройке", *nāy* "камыш, тростник; флейта, горло" (параллельно с *nay* "тростник") и др. [82, с. 854—855; 85]; совр. перс. *nâv* II "1) труба или деревянный желоб (для стока воды); 2) водосток, акведук" (в словаре дается как омоним к *nâv* I "корабль, судно" и т.д.) [86, с. 624] и производные: *nâvdân* "деревянный желоб; открытый лоток для слива или сброса (чего-либо)" *nâve* "творило" и др. [86, с. 624—625]; тадж. *nová* (< **nāu̯aka-*) "желоб", в говоре Бухары *nouča* "продолговатая наковальня для ковки кувшинов" [89], в Исфаре *novča* "желоб" [90] и т.д.; осет. *nuk/nokæ* "желоб" (с вторичным суффиксом *-k*); йидга *nowoɣō* (< **nă̯u̯aka-*) "желоб для воды", мундж. *nəwóɣīkə* (с поздним наращением вторичного суф. **-ka* к первичному, перешедшему в *-ɣ-*) с тем же значением, пашто *nāwá* "желоб, водосток" (заимств.?); шугн., руш., хуф., барт. *nōw*, сар. *nɛw* "желоб, желобок,

лоток", язг. *new* "желоб для воды (на мельнице)", ягн. *nōw* "желоб" (заимств.?) и др.

В горных долинах среднеазиатского и примыкающих регионов из значения "желоб" развилось дальнейшее — "узкое ущелье, лощина, ложбина в горах", вначале как переносное в рамках круга под-значений общего значения "желоб" (ситуация, сохранившаяся в язгулямском), затем ведущее (например, в шугнанском) и, наконец, единственное, свойственное слову "ущелье", омонимичному слову "желоб" (например, в ягнобском). В классическом персидском развивается вторичный круг значений *nāvdān* — "шлюз, река, канал" и др. [88].

Сема "полый ствол" получила и другую линию развития, продолжившись в применении к стволу не только дерева, но и других растений, в частности, трубчатых. С этим связано развитие значения "трубка" и контаминация этого слова с обозначениями тростника, камыша: т.е. *nāy* (< **nă̯u̯(a) i̯a-*) ~ *nay* (ср. также упоминавшиеся выше ср.-перс. *nāy* "трубка, флейта" и продолжавшее его кл. перс. *nāy* "камыш, тростник; флейта, трубка; горло" и их производные). Формы, продолжающие основы без суф. **-i̯a-*, т.е. **nāu̯-* и **nāu̯aka-* с наращением позднего суф. *-ak*, характеризуются набором сем, являющихся дальнейшим развитием значений "трубочка" → "камыш, тростник", часто с приобретением значения "трубчатый" или "изделие из тростника". Так кл. перс. *nāvak* переводится обычно как "камышовая стрела", однако отмечаются и значения "трубка, через которую пускается стрела, самострел; камыш или что-н. пустое; канал; жало пчелы" и др. [88]. Слово отмечено и в сочетании *tīr-i nāvak* "стрела *nāvak*", — очевидно при частичной утрате значения "стрела" в самом слове *nāvak*. Характерен в отношении семантики этого слова оборот: *va tīr-andāzān va nāvak-andāzān va naft-andāzān* "и метатели стрел, и метатели *nāvak*, и метатели "нафта" (горючей жидкости, горящей нефти)" в памятнике XII—XIII в. [91]: здесь речь идет об особых стрелах, причем смысл их употребления может быть не в особом материале (камыш?), а в трубчатой форме. Ср. продолжения этого слова в современных языках: перс. *nâvâk* "1) [небольшая] стрела; 2) (редко) тростник"; *nâvâkândâz* "(уст.) стрелок из лука, лучник"; тадж. *novak* "стрела"; пашто *nāvak* (заимств. из дари) "род стрелы; жало (осы, пчелы)" и т.д.

Характерно, что развитие различных линий значений и их поздняя трансформация по языкам (типа "лодка" → "судно" → "военный корабль"; "желоб" → "лощина в горах"; "трубка" → "вид стрелы" и пр.) зависели от природных условий, хозяйственного и общественного уклада и в конечном счете от способа обработки и использования природных реалий.

Рассмотренные линии развития значений показывают примеры становления омонимических пар в конкретных иранских языках из слов с некогда единым значением, однако оставляют открытым вопрос о семантическом соотношении прототипов в общеиранском состоянии: были ли в ту эпоху **nāu-* "лодка" и **nāu-* "желоб и пр. "хозяйственные" изделия из полого ствола" уже разными словами-омонимами[4], либо это было еще, как и в индоевро-

[4] По мнению В И. Абаева это были два слова с различными прототипами, во всяком случае для осетинского языка **nāu-* "корабль, лодка" и **nauaka-* "желоб" (из индоир. **nau-* "двигаться") [30, Т. II, с. 192—193], однако другие иранские языки указывают на оба круга значений у продолжений прототипов **nāu-* Часть языков, включая мунджанский и йидга (возможно, сюда же входит и осетинский), имеет тенденцию к сокращению корневой гласной в суффиксальных формах, особенно при переносе ударения на суффикс (по типу **nă̯u̯-aka-* > **nau̯ák-a-*), а

пейском, единое слово с отчетливо выраженной полисемией, однако обозначавшее уже не "выдолбленный // полый ствол растения", а "изделие из выдолбленного // полого ствола", и конкретные значения: "большой сосуд из выдолбленного // полого ствола, используемый для плавания в нем" и "желоб, труба // трубка, сосуд для воды и пр. из выдолбленного // полого ствола, используемый в хозяйственных и др. целях", — принадлежали еще этому единому слову (см. также [93]).

Эти немногие примеры еще раз иллюстрируют сложность семантического анализа и единичных слов как отдельных элементов системы праязыковой лексики и — тем более — ее подсистем, даже таких минимальных, как синонимические и омонимические пары. Естественно, что при обращении к бо́льшим участкам системы проблемы возрастают многократно.

Трудности выявления границ значений слов и взаимоотношений слов в системе (отразившиеся и в реконструкции систем синонимов и омонимов) праиранского состояния сказываются и на попытках реконструкции не только праязыковой лексической системы в целом (что достаточно проблематично), но и отдельных семантических полей и групп, а также на их "заполненности". При этом если результаты реконструкции лексики, отражающей конкретные реалии и предметы, могут быть с большей или меньшей степенью вероятности верифицированы данными археологии и смежных исторических наук, то реконструкция более или менее отвлеченных понятий, абстракций, качеств (например, обозначения цветов, оценочные слова и т.п.) во многом опирается на здравый смысл и интуицию исследователя и на общие "сегодняшние" представления о природном, культурно-историческом фоне и менталитете носителей праязыковых диалектов.

В известной мере это положение касается также и обозначений конкретных реалий, поскольку, как уже говорилось, такие слова способны отражать не только сходные, но и различные — с позиций древнего человека — понятия, культурно-исторические концепты, не сводимые им в единый ряд (или единое поле). И сведе́ние их в единый ряд (для синонимов или специально не рассматривавшихся здесь антонимов) или разведение их по разным рядам (для омонимов) с сегодняшних позиций может приводить к определенным натяжкам.

Сходные трудности возникают и при изучении лексики вымершего языка, зафиксированного древними памятниками письменности. Однако в этом случае семантическое и стилистическое соотношение лексем и соотнесенность отражаемых ими понятий с одной или различными сферами выявляются в целом из контекста, хотя и не всегда в полной мере, зачастую — с изрядной долей экстралингвистической коррекции. Ср., например, опыт анализа несинонимического употребления четырех лексем, обозначающих мужчину, и еще большего числа (до семи) обозначений женщины в языке Авесты — при различении автором семантических аспектов: "обозначения" и "значения" [94]; то же относится к обозначению в древних индоевропейских языках различных действий, являющемуся проявлением полисемии, а не омонимии глаголов [81, с. 333–335] и др.

часть (авестийский и согдийский) — к сокращению долгих перед сонорными *y* и *w* в определенных позициях (ср. др.-инд. *nāvā́ja-* "моряк", ср.-перс., парф. *nāwāz*, но ав. *nawāza-*, согд. *nawāz* [92]. Скорее здесь можно говорить о контаминации рефлексов **nāu-* и производных от **nau-* в тех случаях, когда речь идет о желобе, стоке.

В условиях же заведомого отсутствия текста для общеиранской праязыковой системы (за исключением минимума поэтических и магических формульных последовательностей, верифицируемых их повторяемостью в различных древних индоевропейских языках и относимых исследователями к индоевропейскому достоянию [95]) выявление более или менее полной смысловой структуры слова требует особого внимания к общему культурно-историческому фону и к конкретным сферам, в которых слово функционирует. Иначе говоря, здесь требуется выход за пределы собственно лингвистической лексикологии[5].

В этих условиях в реконструкции общей лексической системы и отдельных семантических полей общеиранского состояния приходится исходить из этимологий слов, из общих представлений о структуре семантических полей и их наборе в языке в целом и из представлений о природном и культурно-историческом фоне той эпохи, к которой условно можно отнести общеиранское состояние. Однако и эти критерии не всегда могут помочь, особенно когда мы имеем дело с такими "тонкими" понятиями, которые с трудом поддаются верификации (например, лексика, связанная с цветообозначением, глагольная лексика различных видов движения и т.п., подробнее об этих семантических группах будет сказано в других публикациях).

Тем не менее определенные вехи в реконструкции общеиранской лексической системы все же выявляются.

В целом наиболее точной семантической реконструкции и наиболее четкой классификации по семантическим группам и полям поддаются такие разряды слов, которые образуют относительно закрытые системы. Наиболее "удобными" в этом плане оказываются числительные (главным образом, первого десятка) и местоимения определенных разрядов (личные, указательные, частично вопросительные, реже — некоторые другие). Образуя относительно жесткие и четко структурированные лексические парадигмы, эти слова не только связаны однозначными или, во всяком случае, достаточно ясными отношениями, но и постоянно регенерируют, не допуская выпадения одного из членов парадигмы, что сохраняет каждую данную лексическую парадигму в целом и составляющие ее элементы в плане содержания. Изменения же в плане выражения, связанные либо с парадигматическим выравниванием (что ведёт к "сбоям" в исторической фонетике, морфологии и к инновациям в словообразовании), либо с заменой "слабеющих" звеньев новыми образованиями (например, замена рефлексов старого местоимения 2 л. мн. ч. инновационным, о котором говорилось выше, или употребление нового слова или оборота для обозначения "девяти" в отдельных языках взамен рефлексов общеиранского числительного **паца-*, см. [7, с. 186—187]), не разрушают парадигмы в целом, хотя могут и видоизменить ее в материальном плане.

Характерно сохранение в общеиранском состоянии трехступенчатой раннеиндоевропейской системы указательных местоимений, коррелирующей с системой личных местоимений и выявляющей соотнесенность указания на предмет, ближайший к говорящему, к собеседнику или к 3-му лицу (либо

---

[5] Автор пользуется случаем выразить признательность Ю.С. Степанову за замечания и советы по рукописи данной статьи и особенно за тезис о непрямолинейности соотношения собственно лексической системы (проявляющейся, помимо прочего, в системах лексической синонимии и омонимии) и общего культурологического контекста ее функционирования.

удаленный от говорящего и собеседника), т.е. бицентрической системы "Ich-Deixis" — "Du-Deixis" — "Jener-Deixis" [96], продолжившейся в отдельных иранских языках [7, с. 55—57, 222—229; 97—99], но утраченной в большинстве индоевропейских языков.

Вся прочая лексика, реконструируемая для общеиранского состояния, может быть сгруппирована, исходя из наших современных представлений, по неким семантическим разрядам, которые, с поправками на релевантные данные морфологического уровня языка (о взаимодействии лексического уровня с другими будет сказано в другой публикации), могут выявлять определенные семантические группы, представляющие те или иные семантические поля (при разной степени компактности заполнения этих полей), которые будут выглядеть следующим образом.

Имена существительные, которые в раннеиндоевропейскую эпоху еще имели лексическую классификацию по одушевленности / неодушевленности, или активности / инактивности, в диалектах общеиранского состояния, возможно, подразделялись уже по принципу названий личности / неличности, т.е. людей и всего остального. Далее, в названиях личностей относительно четко выделяются некоторые традиционные группы: термины родства и свойства (особенно в плане обозначения вертикальных прямых линий — родителей, детей, внуков, в меньшей степени — дедов), имена по роду занятий (например, "царь", "пастух" и др.). В названиях неличностей — термины, обозначающие одушевленных — животных (домашних и диких), птиц, насекомых и пр., — и неодушевленные предметы (названия частей тела, домашних и диких растений, термины ландшафта, реалий, связанных с кочевым бытом, с домом и пр.), а также абстрактные понятия, родовые или собирательные названия и пр.

В именах прилагательных выделяются обозначения оценочных качеств, величины, цвета и т.п.

Что же касается глагольных лексем, то проблем здесь значительно больше, и решение их во многом связано с вопросами глагольной морфологии, словообразования и синтаксиса (т.е. организации глаголами с той или иной семантикой определенных синтаксических структур). Переход в морфологии от ведущей оппозиции позднеиндоевропейского, общеарийского и раннего общеиранского состояний актив / медиалис (выражавшейся в флексии) на оппозицию переходности / непереходности в древнеиранских языках (и порождение затем соответствующих морфолого-синтаксических структур) свидетельствует о том, что на лексическом уровне в более раннюю, возможно, общеиранскую (или доиранскую) эпоху этот признак был уже релевантным и что глагольная лексика уже членилась на классы по признаку наличия в словах семы непереходности / переходности. В этом плане особую проблему представляет соотношение глагольной морфологии и словообразования, поскольку разные типы (или классы) глагольных презентных основ, рассматриваемые традиционно в качестве составной части глагольной морфологии, имеют непосредственное отношение к семантике и лексической характеристике глагола. Ср. изменение семантики глагола на переходную или каузативную при подъеме огласовки и/или присоединении каузативного суффикса, на непереходную — при присоединении "инхоативного" суффикса или суффикса "пассива" *-*ia* и т.п. Иными словами, глагольные презентные основы несут не только определенную морфологическую инфор-

мацию, но и указывают на принадлежность глагола к определенному семантическому классу.

Отдельную тему составляет роль наличия или отсутствия в общеиранском состоянии тех или иных слов и отражение затем этого факта в истории конкретных иранских языков. Так, огромную роль в будущей судьбе синтаксиса, а затем и морфологии (и даже отчасти исторической фонологии) сыграло отсутствие в общеиранской системе (и позднее, в древних и отчасти в живых иранских языках) отдельной глагольной лексемы с абстрактным значением "иметь" (что породило конструкции типа "у меня есть сделано // сделанное", преобразовавшиеся впоследствии в "эргативные" или "эргативообразные" конструкции предложения с переходными глаголами в прошедших временах, о которых так много писалось в иранистической и индологической литературе, обзор см. [7, с. 66, 70—72, 103 и сл.]).

Таким образом, при том, что каждый из общеиранских "словесных" элементов, будь то словоформа, слово (с рядом словоформ), основа или корень, — является результатом единичной, "штучной" реконструкции — структурной и содержательной, — их общая совокупность, при всех трудностях, поддается в целом определенному обобщению и осмыслению с точки зрения как основных структурных характеристик разных лексических разрядов, так и набора сем каждой из единиц, соотношения сем некоторых смежных единиц и организации семантических полей и семантических групп в целом.

Это дает возможность реконструировать фрагменты (иногда довольно значительные) основных семантических полей и групп и даже некоторые целые поля и группы (особенно образующие замкнутые системы, как числительные первого десятка и некоторые разряды местоимений). Опыты реконструкции отдельных полей и групп лексики общеиранского состояния, подобранных по общим для них семам, имеются в литературе (см. особенно [26; 100—107]), как и в трудах по другим индоевропейским языкам и по индоевропеистике в целом. Они показывают перспективность и самого направления такого исследования лексики как таковой, и реконструкции на ее основании культурно-исторического контекста существования пра-этноса. Однако обработка в этом аспекте всего массива реконструируемых общеиранских праформ — дело будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bailey H.W.* A problem of the Indo-Iranian vocabulary // Rocznik orientalistyczny. T. XXI. Warszawa, 1957. P. 59.
2. *Turner R.L.* Preservation of original Aryan vocabulary in the modern languages // BSOAS. 1979. V. 42. Pt. 3.
3. *Szemerényi O.* Iranian studies. I. // Zeitschrift für vergl. Sprach. Bd 76. H. 1/2. 1959.
4. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
5. *Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg, 1986 –
6. *Эдельман Д.И.* К вопросу о словообразовании местоимений в индоиранских языках // Индийская и иранская филология: Вопросы лексики. М., 1971.
7. *Эдельман Д.И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.
8. Grundriss der iranischen Philologie. Strassburg, Bd I. Abt. 1—2. 1895—1901.
9. Handbuch der Orientalistik. Leiden-Köln, 1958. Abt. I. Bd 4. Iranistik. Abschn. 1. Linguistik.
10. *Оранский И.М.* Введение в иранскую филологию. М., 1960.
11. *Оранский И.М.* Иранские языки. М , 1963.

12. *Оранский И.М.* Иранские языки в историческом освещении. М., 1979.
13. *Оранский И.М.* Введение в иранскую филологию. 2-е изд. М., 1988.
14. Compendium Linguarum Iranicarum. Hrsg. von R.Schmitt. Wiesbaden, 1989.
15. *Соколова В.С.* Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.
16. *Соколова В.С.* Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы. Л., 1973.
17. *Эдельман Д.И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.
18. *Расторгуева В.С.* Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология. М., 1990.
19. *Стеблин-Каменский И.М.* Историческая фонетика ваханского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1971.
20. *Ефимов В.А.* Язык ормури в синхронном и историческом освещении. М., 1986.
21. Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
22. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
23. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Западная группа. М., 1982.
24. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987.
25. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Северо-западная группа. I. М., 1991.
26. *Стеблин-Каменский И.М.* Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М., 1982.
27. *Битарова З.А.* Лексика родства и родственных отношений в осетинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тб., 1974.
28. *Цховребов В.К.* Скотоводческая терминология в осетинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тб., 1973.
29. *Мирбобоев А.* Лексика животноводства ваханского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Душанбе, 1991.
30. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л., 1958; Т. II. Л., 1973; Т. III. Л., 1979; Т. IV. Л., 1989.
31. *Morgenstierne G.* An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927.
32. *Morgenstierne G.* Etymological vocabulary of the Shughni Group. Wiesbaden, 1974.
33. *Bartholomae Chr.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (repr. B.; N.Y., 1979).
34. *Morgenstierne G.* Indo-Iranian frontier languages. Oslo. 1929. V. I; 1938. V. II.
35. *Benzing J.* Chwaresmischer Wortindex. Wiesbaden, 1983.
36. *MacKenzie D.N.* The Khwarezmian glossary // BSOAS. 1970. V. 33. Pt. 3; 1971. V. 34. Pt. 1, 3—4; 1972. V. 35. Pt.1.
37. *MacKenzie D.N.* A concise Pahlavi dictionary. L., N.Y., Toronto, 1971.
38. *MacKenzie D.N.* The Buddhist Sogdian texts of the British Library. Téhéran—Liège, 1976 (Acta Iranica, 10).
39. *Henning W.B.* A fragment of Khwarezmian dictionary (ed. by D.N. MacKenzie). L., 1971.
40. *Samadi M.* Das chwaresmische Verbum. Wiesbaden, 1986.
41. *Nyberg H.S.* A manual of Pahlavi. Pt. II: Glossary. Wiesbaden, 1974.
42. *Bailey H.W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge etc., 1979.
43. *Bielmeier R.* Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz. Frankfurt-am-Main, Bern, Las Vegas, 1977.
44. *Абаев В.И.* История языка и история народа // Вопросы теории и истории языка. М., 1952.
45. *Абаев В.И.* Этногенез осетин по данным языка // Происхождение осетинского народа. Орджоникидзе, 1967.
46. *Абаев В.И.* Язык и история // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.
47. *Абаев В.И.* О родовых отношениях и терминах родства у осетин // Энгельс и языкознание. М., 1972.
48. *Benveniste E.* Le vocabulaire des institutions indo-europeennes. I—II. Paris, 1969.

49. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I—II. Тб., 1984.
50. *Mallory J.P.* In search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth. L., 1989.
51. *Mann S.E.* An Indo-European comparative dictionary. Fasc. 1 — 11. Hamburg, 1984—1987.
52. *Mayrhofer M.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953—1975.
53. *Turner R.L.* A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages. V. I—XI. L., 1963—1966.
54. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Под ред. Трубачева О.Н. Вып. 1—19. М., 1974—1993.
55. *Топоров В.Н.* Прусский язык: Словарь. М., 1975—1990.
56. *Трубачев О.Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
57. *Трубачев О.Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960.
58. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
59. *Абаев В.И.* К этимологии древнеперсидских имен *Kuruš*, *Kambujiya*, *Čišpiš* // Иранская филология. Ташкент, 1966.
60. *Абаев В.И.* Персидский топоним *Xūnsār* // Топонимика Востока. М., 1969.
61. *Mayrhofer M.* Onomastica Persepolitana. Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen. Wien, 1973.
62. *Mayrhofer M.* Zum Namengut des Avesta. Wien 1977.
63. *Mayrhofer M.* Iranisches Personennamenbuch. Bd I. Die altiranischen Namen. Wien, 1979.
64. *Hinz W.* Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen. Wiesbaden, 1975.
65. *Schmitt R.* Die Iranier-Namen bei Aischylos (Iranica Graeca Vetustiora. I). Wien, 1978.
66. *Абаев В.И.* ΠΑΝΤΙΚΑΠΑΙΟΝ // Изследвания в чест. на акад. Д. Дечев. София, 1958.
67. *Абаев В.И.* Из истории слов. Древнерусское *кърчий* "кузнец" и топоним *Керчь* // ВЯ. 1959. № 1.
68. Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. I—II. М., 1975.
69. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
70. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. М., 1991.
71. Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
72. Теория и практика этимологических исследований. Материалы к ЭСТЯ / Отв. ред. Левитская Л.С. М., 1988.
73. *Bammesberger A.* (ed.) Das etymologische Wörterbuch, Fragen der Konzeption und Gestaltung. Regensburg, 1983.
74. *Севортян Э.В.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974—1980.
75. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы "Ҷ", "Ж", "Й" / Отв. ред. Левитская Л.С. М., 1989.
76. *Климов Г.А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
77. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
78. *Трубачев О.Н.* Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
79. *Watkins C.* Etymologies, equations, and comparanda: Types and values, and criteria for judgment // Trends in Linguistics. Studies and monographs 45. Linguistic change and reconstruction methodology. B.; N.Y., 1990.
80. *Lehmann W.P.* The importance of models in historical linguistics // Language Typology 1988. Typological models in reconstruction (Current issues in linguistic theory, 81). Amsterdam, Philadelphia, 1991.
81. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974. 331—349.
82. *Трубачев О.Н.* О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.

83. *Zimmer S.* Idg. **ukson-* // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. 1981. Bd 95, H. 1. S. 84—91.
84. *Абаев В.И.* Об омонимии и полисемии // Лексикографический сборник. Вып. IV. М., 1960.
85. *Гаффаров М.А.* Персидско-русский словарь. Т. II. 1928 (= М., 1974).
86. Персидско-русский словарь / Под ред. Рубинчика Ю.А. Т. II. М., 1970.
87. Осетинско-русский словарь. Орджоникидзе, 1962. С. 271.
88. *Ягелло И.Д.* Полный персидско-арабско-русский словарь. Ташкент, 1910. С. 1653.
89. *Маҳмудов М., Бердиев Б.* Луғати мухтасари лаҳҷаҳои Бухоро. Душанбе, 1989. С. 166.
90. *Расторгуева В.С.* Очерки по таджикской диалектологии. Вып. 3. Таджикско-русский диалектный словарь. М., 1963. С. 145.
91. *Нажмутдинова Д.У.* Военная лексика сочинения "Адаб äл-häрб вä-ш-шоджаäт" Мубаракшаха (XII—XIII вв.): Дис. ... канд. филол. наук. Душанбе, 1991. С. 96.
92. *Henning W.B.* The disintegration of the Avestic studies // TPhS, 1942 (repr.: Amsterdam, 1968). P.50.
93. *Gershevitch I.* Outdoor terms in Iranian // A locust's leg. Studies in honour of S.H. Taqizadeh. L., 1962. P. 79.
94. *Oettinger N.* Avestisches *hāirišī-* 'Frau' syn- und diachron // Indogermanische Forschungen. 1986. Bd 91.
95. *Watkins C.* The comparison of formulaic sequences // Reconstructing Languages and Cultures (Eds. E.C. Polomé, W. Winter). Trends in Linguistics. Studies and Monographs 58. Ed. W. Winter. Mouton de Gruyter. B.; N.Y., 1992.
96. *Brugmann K.* Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen (Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung) // Abhandl. der philol.-hist. Kl. der königlich-sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Bd XXII. Leipzig, 1904. № VI.
97. *Беликов В.И.* К употреблению указательных местоимений в шугнанском языке // Памирские языки и фольклор. I. Душанбе, 1972.
98. *Эдельман Д.И.* К истории язгулямских и шугнано-рушанских указательных местоимений // Иранское языкознание: История, этимология, типология (к 75-летию проф. В.И.Абаева). М., 1976.
99. *Юсуфбеков Ш.П.* Семантика и прагматика дейктических слов в языках шугнано-рушанской группы: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1992.
100. *Абаев В.И.* Осетинский язык и фольклор. Т. I. М.;Л., 1949.
101. *Benveniste E.* Noms d'animaux en indo-européen // BSLP. 1949. T. 45. Fasc. 1.
102. *Szemerényi O.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages (with special reference to Indian, Iranian, Greek, and Latin. Téhéran — Liège, 1977 (Acta Iranica 16).
103. *Стеблин-Каменский И.М.* Флора иранской прародины (Этимологические заметки) // Этимология 1972. М., 1974.
104. *Стеблин-Каменский И.М.* Земледельческая лексика памирских языков в сравнительно-историческом освещении: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1984.
105. *Стеблин-Каменский И.М.* Памирская лексика, связанная с веянием зерна и подметанием гумна // Вопросы памирской филологии. 3. Душанбе, 1985.
106. *Стеблин-Каменский И.М.* Название пахотного орудия в памирских языках // Иранское языкознание. Ежегодник 1981 М., 1986.
107. *Стеблин-Каменский И.М.* Термины орошения в памирских языках // Иранское языкознание. Ежегодник 1982. М., 1987.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

МАРГИНАЛИИ К НОВОМУ "ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ ДРЕВНЕИНДОАРИЙСКОГО ЯЗЫКА" М. МАЙРХОФЕРА

Одним из значительных событий индоевропейского сравнительного языкознания последних лет стала продолжающаяся публикация нового труда М. Майрхофера – "Этимологического словаря древнеиндоарийского языка" [1]. Разумеется, это специальное и капитальное (в нескольких томах) издание заслуживает, чтобы о нем отозвались наши специалисты-индологи, к которым автор этих "маргиналий" не может себя причислить. Об этом я и сказал лично М. Майрхоферу при встрече в Вене в конце сентября – начале октября 1991 г. по случаю проведения там этимологической конференции к столетию со смерти Миклошича. Но ответные аргументы венского индоевропеиста (издатель большого Этимологического словаря славянских языков должен иметь под рукой этот словарь, а для получения Rezensionsexemplar'a необходимо дать хотя бы короткую рецензию) меня почти убедили, тем более, что у нас рецензии на этот словарь еще не появлялись, в отличие от Запада (ср., например, рецензии Ф. Бадер на новый словарь М. Майрхофера, публикуемые из года в год в "Бюллетене Парижского лингвистического общества").

Я избрал для себя достаточно трудоемкий способ параллельного чтения обоих трудов Майрхофера – его ранее изданного "Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка" [2] и вышеупомянутого нового. Это чтение оказалось чрезвычайно поучительным для меня лично, дав пищу для разнообразных наблюдений, т.е. в конечном счете и для рецензии тоже. Но особенно важной мне показалась возможность продолжить принципиальный разговор об этимологической лексикографии, имея в виду и собственный опыт, и интерес, обнаруженный Майрхофером в некоторых сопутствующих публикациях, включая важный обмен мнениями между Майрхофером и Унтерманом. Именно это и побудило меня, в конце концов, взяться за дело, несколько медленное исполнение которого извиняется тем, что оно не является собственно рецензированием, хотя и включает его элементы. Я начну с них, чтобы перейти потом к вопросам, которые занимают, как представляется, не меня одного.

Из предисловия к новому словарю Майрхофера мы узнаем, что «"Этимологический словарь древнеиндоарийского языка" не является новым изданием "Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка". С этой более ранней книгой его объединяют только предмет исследования и автор» (Vorbemerkungen, S.IX). Ф. Бадер, рецензент словаря Майрхофера, солидарна с тем, как автор дистанцируется от своего предыдущего словаря [3]. И все-таки трудно отделаться от впечатления, что мы имеем перед собой в немалой степени то, что можно было бы принять за новое (второе) издание уже известного древнеиндийского этимологического словаря. Тот же (как уже сказано самим автором) предмет, тот же запланированный автором трехтомный объем словаря "древнего языка" (Ältere Sprache), наконец, тот же (опуская детали) словник из заглавных слов письменного древнеиндийского языка. Последнее кажется весьма существенным, поскольку само понятие "древнеиндоарийский" тяготеет к сфере праязыка и вполне допускает трактовку соответствующего словника как реконструкции. Заглавных форм под звездочкой в новом индоарийском словаре Майрхофера практически нет. Редкие случаи реконструированных индоарийских форм запрятаны внутрь словарных статей, ср. s.v. *JAN*[1] (S.568): «indoar. viell. **nava-jñ-a-*"neugeboren"» (вслед за Тернером).

Надо отдать должное Майрхоферу, который предстает перед читателем как исключительно объективный, строгий к себе самому исследователь, который не щадит своего собственного предыдущего детища и прямо указывает, что́ в нем кажется ему теперь нелепым или "непонятно почему воспринятым" от других авторов (s.v. *kúśala-*, S.379), или "праздным глоттогоническим сопоставлением" (Bd.II, S.13, s.v. *NABH*). Признавая, вслед за автором, начальные слабости его первенца – "Этимологического словаря древнеиндийского языка", – к осуществлению которого Майрхофер приступил еще в свои студенческие годы (!), все же считаю здесь необходимым отметить, что он завершил его на достаточно высоком уровне и заслужил этим глубокую благодарность всех, кто этим словарем пользуется вот уже десятки лет.

Явное стремление Майрхофера при составлении нового своего словаря отталкиваться в том или ином смысле от своего же древнеиндийского этимологического словаря не заслоняет от нас того существенного обстоятельства, что оба словаря как бы взаимодействуют. Уже упомянутое выше параллельное чтение приводит нас далее к не менее важному заключению, что хотя новый словарь в одних случаях содержит новые решения, дает новые материалы, новую, улучшенную этимологизацию, в других (как представляется, не менее многочисленных) отказывается (без достаточных оснований) от прежней здравой трактовки, предпочитает не самые удачные решения, чрезмерно расширяет практику корневой этимологии. О последнем приеме и о том, что от этого страдает, мы еще будем говорить специально дальше, теперь же – ряд избранных постраничных иллюстраций к сказанному выше и другие замечания о новом словаре Майрхофера.

S.89: *apvā́-* "паника, смертельный страх", с уточнением значения против "Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка" (далее KEWA) I, 40: a° "название какой-то болезни".

S.89–90: *apsarás-* название женских ду́хов. Тесная связь с водой и, естественно, с *áp-* "вода", признаваемая в KEWA I 40–41, здесь подвергается сомнениям со стороны грамматики.

S.90: *ápsas-* "грудь, лоб, передняя сторона", оставляемое в KEWA I, 41 без объяснения, сближается, вслед за Бейли, с осет. *æfcæg* "выдающаяся часть тела, шея".

S.102: вместо *éti* – 3 л. ед. ч. наст. вр. (KEWA I, 128), дана статья с заглавным корнем *AY*[1] "идти".

S.112: *aritár-* "гребец", *arítra-* "весло" совмещены в одной статье; KEWA I, 49 трактует их раздельно как самостоятельные позиции.

S.114: *arghá-* "стоимость, цена'; сближение с именными же соответствиями литов. *algà* "награда, жалование", греч. ἄλφή (см. KEWA I, 50) здесь отсутствует, будучи перенесено в корневую статью с глагольным этимоном *ARH* (S.124) "заслуживать, стоить".

S.116–117: *árṇa-* "волнующийся; волна, пучина, поток"; сравнение с хетт. *aruna-* "море" (KEWA I, 51) отсутствует.

S.191: *índu-* "капля; луна"; оставляется без всякого толкования. Ср. KEWA I, 88 с обзором литературы.

S.231, s.v. *ulū́khala-* приводится неизвестное мне «russ. *vol* "Walze"».

S.291: *káṇa-* "зерно, семя" признается неясным, причем автор готов прибегнуть к умозрительной этимологии из незасвидетельствованного **kána-* "маленькое", сюда же *kánīyas* "меньший", оставляя без объяснения церебральность *-ṇ-*. Кажется нелишним напомнить, что к древнеиндийскому названию зерна и семени относится и индоиранское название конопли (как семенного растения) **kana-*, откуда осет. *gæn/gænæ* "конопля" и, возможно, далее, греч. κόνις "пыль", лат. *cinis* "зола"; при этом упомянутая церебральность объяснима экспрессивностью значения и употребления слова,

ср. как эквивалент последней геминацию в греч. κάνναβις "конопля" из "скифского" источника [4].

S.300–301: *kapí-* "обезьяна". "Неясно". Проблематичными сочтены отношения к созвучным названиям обезьяны в греческом и семитских, а также в германском (нем. *Affe* и родственные). Автор полностью обходит молчанием версию "общеиндоевропейского названия обезьяны" у Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова [5].

S.317: *kartá-* "яма, дыра". Сохраняется сближение с мл.-авест. *vouru kaša-* "имеющий широкие заливы (о Каспии)" (ср. KEWA I, 173). Но, может быть, последнее относится к др.-инд. *kakṣa-*?

S.358: *kīstá-* "певец панегириков, поэт". "Не прояснено". Можно попытаться объяснить как **kī-stá(va)-* "кого славящий?". Ср. *stava-* "хвала". Мнимая фонетическая необъяснимость непалатализованного *k-* перед *-ı-* (там же) как раз объяснилась бы как архаизм в вопросительном местоимении *kí-* [1, S.347, s.v.].

S.368: *kúbha-* "название какой-то реки, предположительно реки Кабул". Думается, автор излишне строг, отвергая всякие "попытки обнаружить это **kubhā* за пределами Индии [в названиях Кубани, Буга (Южного), Кумы]".

S.372–373: *kúla-* "сотрапезники". Литов. *kùrtas* "борзая собака", несомненно, заимствованное из слав. *хъrtъ, вопреки В.П. Шмиду [6], необходимо удалить тем самым из числа аргументов в пользу произведения *kúla-* из и.-е. **kur-*.

S.424: *kṣáp-* "ночь". Кажется, напрасно опускается важное сближение с европейскими названиями вечера и прежде всего – с греч. ἑ-σπέρα, лат. *ve-sper* (см. KEWA I, 285, вслед за Гётце), речь, видимо, идет о потенциальном префиксальном сложении – и.-е. **u̯e-ks(e)per*.

S.428–429: *KṢAR* "течь", *kṣárati*, *KṢAL*. Остается неясным, почему предпочтение отдано громоздкой консонантной реконструкции **d^{h}g$^{u̯h}$er* (**g^{uh}ṗer*), а, скажем, не более логичной конструкции "преформант" *k-* + *sar-/sal-* "течь"?

S.462: *gandharvá-* "название мифических существ". Соответствующая статья в KEWA I, 321–322 информативнее хотя бы в том отношении, что уделяет внимание роли табуистических искажений для понимания этого слова.

S.481: *gávya-*, *gavyá-*..., s.v. *gáv-*. Типичный пример лексикографического обеднения, сравнительно с KEWA I, 332, где, вместо упомянутой отсылки, проводится сравнение идентичных или однотипных производных в ряде языков: кроме авест. *gavyō-* "коровий", также еще арм. *kogı*."(коровье) масло", греч. -βοιος в сложениях.

S.486: *GĀH* "погружаться в воду". Для суждений об этом лексическом гнезде существенно, что славянские соответствия распространены не только в южнославянском, но шире, (см. [7], где приводится блр. диал. *газ* "брод" с дальнейшей литературой).

S.691–692: *daṇḍá-* "палка, посох", *dáṇḍana-* "вид тростника". "Не объяснено". В решении вопроса об этимологии, в частности как критерий для окончательного отвода сближений с греч. δένδρον "дерево", δένδρε(F)ον, и.-е. **der-dreu̯o-* или догадок о неиндоевропейском происхождении призвано играть важную роль местное название *Daṇḍaka-*, название леса в Деккане, здесь Майрхофером опущенное (но см. KEWA II, 11, где, правда, дана реконструкция и этимологизация **Dandra-ka-* "voll von Baumen") Думаю, что конец этим всем домыслам кладет более внимательный учет побочной традиции (Nebenuberlieferung) в виде северопонтийского индоарийского реликта Δανδάκη, местность в Херсонесе Таврическом, т.е. в Крыму (Ptol. III, 2, 6), по-видимому, тождественная одной из тамошних трех страбоновских гаваней. Предпринятая мной идентификация птолемеевской Δανδάκη и, в сущности, калькирующего ее сохранившегося поныне местного названия *Камышовая* бухта (в городской черте Севастополя) неуклонно возвращает нас к пониманию индийского *Daṇḍaka-* как изначального "тростниковый, камышовый (лес)", а не "лес, полный деревьев" (!). См.

специально [8]. Обращаю внимание на изложенные выше данные еще и потому, что знаю о неприятии Майрхофером тезиса о наличии в Северном Причерноморье индоарийских языковых следов.

S.755–756: *DRAV* "бежать, спешить". Еще один (из многих) пример той тенденции к лексикографическому обеднению, которую мы наблюдаем при сравнении нового словаря Майрхофера с его предшествующим словарем. Автор упоминает о вхождении индоевропейского корня **dreu̯-* в древнеевропейские гидронимы *Dravos, Druentia, Druta* в конце словарной статьи. Но это не ослабляет негативного итога его отказа от особой словарной статьи о словообразовательном производном *dravantī* "река", собственно "бегущая, текущая", сравнимом с европейскими названиями рек – галл. *Druentia*, польск. *Drwęca* (KEWA II, 73).

S.764–765: *dvar-* "дверь, ворота". Статья выглядит свернутой сравнительно с KEWA II, 83–84, в частности, урезаны попытки объяснения, почему реально представлена как бы дезаспирированная форма, вместо ожидавшейся закономерной **dhvār-*.

Bd II, S.17 и сл.: *NAY* "вести, направлять", там же, далее, обзор индоарийских, иранских и хеттских соответствий, объединяемых глагольным корнем и.-е. **neu̯H-*. Здесь было бы полезно упомянуть о праслав. диал **nēti* "нести, приносить", сохраненном только в сербохорватском, в связанных формах вроде *zànijeti* "понести, забеременеть" [9].

Теперь я намерен затронуть практически еще только одну проблему этимологической лексикографии – сначала в том виде, в каком она решена или могла бы быть решена в новом словаре Майрхофера, если бы не дала себя знать авторская установка на бóльшую компактность, обернувшаяся потерями, которые мы формулируем как лексикографическое обеднение. Эту проблему мы кратко рассматриваем далее на фоне лексикографических дискуссий нашего времени, в которых, как всегда, наверное, в подобных случаях, проявляются склонности и к минимализации, и к максимализации. Последняя, по всей вероятности, наиболее полно формулируется в виде принципа: о д н о с л о в о – о д н а с л о в а р н а я (э т и м о л о г и ч е с к а я) с т а т ь я. Как любая крайняя точка зрения она подвержена различным ограничениям и оговоркам, которые сводятся к указанию на возможность параллельных (независимых) новообразований в разных языках, не говоря о сомнительных случаях. И тем не менее целиком удовольствоваться в этом вопросе только позицией сомневающегося (во многом, я согласен, удобной) на практике – да и в теории тоже – означало бы только одно: помеху в деле создания многих поучительных страниц этимологической лексикографии, к тому же, страниц новых. Конечно, и тут самый благой путь пролегает, скорее всего, где-то посредине, не сливаясь ни с одной, ни с другой крайностью. Но о деталях дискуссии – несколько позже, а сначала, признав реальность тенденции к дальнейшему расчленению словника также в этимологической лексикографии, обратимся к конкретному материалу на эту тему, который составили мои *Lesefruchte* – плоды параллельного чтения обоих названных словарей. Предлагаемый материал – это результат отбора, за рамками которого остались случаи, вызывающие сомнение, как, например, следующий, возможно, самый знаменитый и самый сомнительный.

Собственно говоря, речь может идти только о фиктивном тождестве др.-инд. *prahlāda-* "освежение, наслаждение" и русского, а точнее – церковнославянского, *прохлáд, прохлáда* "приятная свежесть", каково актуальное значение слова, при старых и областных его значениях (по Далю) "покой, нега, жизнь в довольстве, утеха", хотя, повторяю, слово в русский язык заимствовано, чисто восточнославянский эквивалент представлен в укр. *прохолода "прохлада"*. Праславянская форма корня **xoldъ* будет еще дальше, и необходимое историческое тождество отсутствует, поскольку корень древнеиндийского слова имеет совсем другую природу и связи, ср. др.-

инд. *hradá-* "водоем" (KEWA III, 614–615, 618). Остается случайное сходство др.-инд. *prahlāda-* и русск.-цслав. *прохлáда* (KEWA II, 373; Фасмер III, 385), согласимся, по справедливости не удостоенное в новом словаре Майрхофера особой статьи, если не считать типично отсылочной "*prahr̥̄da-, pr̥̄hrādi-*, s.u. *HLĀD*" (Bd.II, S.187).

Нижеследующие случаи, к которым хотелось бы привлечь внимание, как раз принципиально отличаются от случая *prahlāda-*, поскольку представляют собой сложные или производные слова с исторически тождественными образованиями в других родственных языках, и эти исторические тождества как бы подтверждают реальность самостоятельной жизни слов и необходимость их раздельной – не корневой-гнездовой – лексикографической трактовки.

Итак, возвращаемся к началу древнеиндоарийского этимологического словаря Майрхофера:

S.65: *ádman-* см. статью *AD*. Типично отсылочная статья, представляющая шаг назад по сравнению с KEWA I, 30, где дано отдельной статьей *ádma* "пища", ср. греч. инф. ἔδμεναι (= др.-инд. *ádmane*), литов. мн. ч. *ėdmenys* "Maul", к *átti* 3 л. ед. "ест". Именные соответствия слову *ádman-*, практически проигнорированные в корневой статье *AD* нового словаря, могут быть существенно дополнены этимологическим лексическим соответствием праслав. диал. **ėdmę̄-mene* в виде др.-русск. *ѣмена* "зерно для еды", русск. диал. *ѣмены*, блр. *ѣме, ѣмя, ѣмiна* "пища, еда" (ЭССЯ, вып. 6, 41–42, там же литов. *edmenẽ* "съестное", лтш. *ēdmenis, ēdmanis*).

S.91: *abhí* "сюда, к; против; ради, через". В эту статью оказались запрятаны (S.92) важные сложные слова, более удачно выделенные в особые словарные статьи в KEWA I, 41, 42: *abhicara-* "спутник, слуга", ср. греч. ἀμφιπολος "слуга", лат. *anculus* "слуга"; *abhidhā́nī* "недоуздок", ср. авест. *-aⁱwidāna-* тж. Далее, имеются основания выделить в отдельную словарную статью др.-инд. *abhí-dhā-* "запрягать" (букв. "налагать"), с которым образует глагольно-именную этимологическую пару ст.-слав. *обьдо* θησαυρός "сокровище" (о славянском слове см. Фасмер III, 98, без древнеиндийского соответствия).

S.135: *ávi-* "овца, баран"; суффиксальное производное *avikā́-* "овечка" (внутри статьи) было бы целесообразнее дать отдельной статьей, имея в виду старые равнооформленные производные в некоторых европейских языках и прежде всего слав. **ovьca* и кимр. *ewig* "олениха, лань" (**oi̯kā*), еще приводимые в KEWA I, 59, s.v. *ávih̥*, но полностью опущенные в новом словаре.

S.202: *ihá* "здесь, сюда, теперь" < **idha*. Индоевропейский фон можно было бы усилить сравнением со слав. **jьde* (см. Berneker I, 418; Фасмер II, 117; ЭССЯ, вып. 8, 206).

S.594: *JĪV* "жить". Даже внутри этой корневой статьи мы не встретим упоминания производного *jīvaka-* "живой, живущий", которое в KEWA I, 439 не без основания было выделено в особую статью, с привлечением однотипных производных – лат. *vīvāx* "полный жизненных сил", лит. *gyvókas* "живой, оживленный".

S.620–621: *tanú-* "тонкий". Ни здесь, ни отдельно не дано такое важное производное, как *tánuka-* "маленький, тонкий". См. в KEWA I, 474 особую статью *tánukah̥*, мотивированную хотя бы весомостью внешнего сравнения с новоперсидским *tanuk* "тонкий", ст.-слав. *тьнъкъ* тж. Оба последних соответствия наличествуют в новом словаре Майрхофера под заглавным *tanú-*; тем загадочнее отсутствие там *tánuka-*

S.698: *DAM* "укрощать, подавлять". И тут мы тоже наблюдаем, как по сути была рассыпана особая словарная статья, убедительно выделяющая в KEWA II, 19, судя по всему, старое производное имя деятеля *damitár-* "укротитель" вместе с его четкими

этимологическими соответствиями с их тождественными значениями – лат. *domitor* "укротитель", греч. δμητήρ тж., -δαμάτωρ, иллир. *Domator*. То обстоятельство, что некоторые из них мелькают в произвольном порядке внутри упомянутой корневой статьи *DAM*, в значительной степени утрачивает смысл.

S.713: *DA*[1] "давать, дарить, воздавать". Очень невыразительно присутствие внутри этой типично корневой статьи такой безусловно самостоятельной словарной позиции, как *dā́tar-*, *dātár-* "податель, дающий", тем более, что ниже (S.715) автор признает индоевропейский возраст уже для словосочетания *dātā́ vásūnām* " податель благ". Поэтому и тут вызывает сожаление отказ автора от практики KEWA II, 30, где дана особая статья *dā́tar-*, *dātár-* и сравнение с равнозначными авест. *dātar-*, греч. δωτήρ, δώτωρ, δοτήρ, лат. *dator*. Сюда же, в конечном счете, слав. **datelь* (близкая вариантность формантов *-tel-/-ter-*), см. ЭССЯ, вып. 4, с. 193–194). Столь же оправдана отдельная словарная статья для *dātrá(m)* "дар, подарок" (KEWA II, 32), сравнимого не только с авест. *dāθrəm*, *dāθra-* "дар, пожертвование", но очевидно, на индоевропейском уровне и с литов. *dúoklė, duoklė̃* "подать, дань" (и.-е. **dō-tl-i̯ā*, с меной *-tl-/-tr-*). То же следует сказать об упраздненной отдельной словарной статье *dāti-* "дар" (см. KEWA II, 31), ср. авест. *dā[1]ti-* "выдача, предоставление", слав. **datь* (см. ЭССЯ, вып. 4, с. 196), греч. δῶτις, δόσις "даяние", лат. *dōs/dōtis* "приданое, дар", литов. *dúotis* "дар" < и.-е. **dōt-s*. И, наконец, равным образом упраздненная отдельная словарная статья для такого индоевропейского производного, как *dānā́(m)* "дар" (KEWA II, 32), ср. лат. *dōnum*, слав. **danь*.

S.728–729: *dīrghá-* "длинный, долгий". Не упомянуто – вероятно, по причине отнесения к более позднему языку – *dīrghatā́* "длина", трактуемое в KEWA II, 47 как самостоятельная словарная позиция; ср. слав. **dьlgota*.

S.721: *dāru-* дерево". Из производных от *dru-*, *dāru-* названо и даже выделено в особую статью *dróṇa* "деревянная посуда, кадка" (S.761), но осталось даже не упомянутым (ввиду недостаточной или поздней документации?) *druṇa(m)* "лук" (см. KEWA II, 78), достаточно древнее *-n*-производное с этимологически тождественными обозначениями лука, дуги, радуги в иранском, сюда же слав. **drynъ* (русск. диал. *дрын* "палка, дубинка"); все вместе, видимо, еще из и.-е. **drū-no-* "деревянный". См. ЭССЯ, вып. 5, с. 145.

Bd.II, S.26: *návya-*, см. *náva-*. Гораздо выгоднее смотрится специальная статья, посвященная этому производному в KEWA II, 145: *návya(ḥ)* "новый, молодой", тождественное греч. ион. νεῖος, галл. *Nevio-*, *Novio-*, др.-ирл. *nūe*, гот. *niujis*, литов. *naũjas* – все со значением "новый", сюда же лат. имя собств. *Novius*. Понимание весомости этих производных форм, вплоть до готовности допустить, наряду с и.е. **néu̯o-* "новый, молодой", также индоевропейскую праформу **néu̯ i̯o-* – тж., не покидало автора и при написании корневой статьи *náva-* "новый, молодой" (II, S.25). Тем более непонятен этот регресс в трактовке словника нового словаря сравнительно с KEWA.

II, S.54: *NEJ* "мыть, очищать" Внутри этой обобщеннокорневой статьи можно найти (в несколько разбросанном виде, отчего пропадает самое главное – эффект этимологического родства) все формы, составлявшие особую словарную статью в KEWA II, 158: *nikta(ḥ)* "мытый, очищенный", тождественное греч. гомер. ἄ-νιπτος "немытый", др.-ирл. *necht* "чистый". Речь идет о рано адъективированном причастии, что существенно для суждений о древности образования.

II, S.173–174: *prá* "перед, впереди, прежде, вперед". Это служебное слово, выступающее и первым компонентом многих сложений, трактуется очень сдержанно и кратко, в два с лишним раза короче, чем в KEWA II, 350–353, куда читатель и отсылается, с замечанием, что сложения с *pra-* "нуждаются в сравнительном комментарии",

для чего, как нам кажется, наилучшим способом было бы выделение по крайней мере некоторых из них в самостоятельные словарные статьи, но автор относится скептически к унаследованному характеру внеиндоиранских параллелей этих сложений ("sind schwerlich ererbt", Bd.II, S.174). На этот раз, правда, уже KEWA начал проявлять эту склонность к корневой этимологии, причем любопытно, что в особые статьи там выделены, скорее, те сложения с *pra-*, которые носят специфически индийский характер, без заметного индоевропейского фона, как например, *prakṛti(ḥ)* "основа природа" (KEWA II, 354–355), тогда как ряд других подверстаны под общее заглавное *pra*, несмотря на наличие у них серьезных индоевропейских словообразовательно-этимологических параллелей и оснований для раздельной лексикографической трактовки. Таковы *pra-jñu-* кривоногий" = авест. *fra-šnu-* "у кого колени вперед" = греч. гомер. πρόχνυ (sc. lic. *πρό-γνυ то же; знаки равенства из KEWA II, 351!); *prá-ṇapāt* "правнук", ср. лат. *pronepōs*; *pra-dā-* "отдать, передать, предоставить", ср. греч. προδιδόναι "передать, выдать", лат. *prō-dō* "передавать, отдавать", слав. **prodati* (русск. *продáть* и др.; *pra-vāhá-* "поток", "непрерывное продолжение", авест. *fravāza-* "продвижение", ср. русск. *про-вóз* (Уленбек у KEWA II, 352); *préti-* "уход, бегство" из *pra-i-* и, в конечном счете, к и.-е. **pro-i-ti̯ o-*, ср. др.-сакс. *frēthi*, др.-в.-нем. *freidi* "беглый" (KEWA II, 353), куда мы можем добавить и слав. **projьti*.

KEWA II, 366 дает отдельной словарной статьей *prabhú(ḥ)* "выдающийся", ср. лат. *probus* "хороший, честный". KEWA II, 372: *prastará(ḥ)* "подстилка", ср. русск. *простóр*, что, впрочем, считает результатом независимого развития. Новый словарь довольствуется корневой отсылкой: *prastará-*, s.u. STAR (II, S.187).

Едва ли оказывается прогрессом утрированная корневая трактовка, наблюдаемая сразу в двух статьях – *PRAY* "радовать, услаждать(ся)" (II, S.181 182), где хотя бы названо производное *pretár-* "друг, любовник" (но больше – ничего!), *priyá-* – "милый, желанный" (II, S.189–190), где даны внешние сравнения – гот. *freis*, др.-в.-нем. *frī* "свободный", ст.-слав. приѣ́ти "проявлять доброжелательство, заботу". KEWA II, 380 сообщает по крайней мере иранское соответствие – авест. *ā-frītar-* "благословитель". Но ведь перед нами образование явно индоевропейского возраста **pre i̯ -ter-/*pri i̯ ātel-*, ср. слав. **prijatelь*, др.-в.-нем. *friudil* "возлюбленный" (см. Фасмер III, 369).

Др.-инд. *plutá-* "залитый, наводненный, плавучий" лишь упомянуто в новом словаре под корневым *PLAV* (II, S.195), тогда как следует говорить о целой серии родственных рано лексикализованных форм part. praet. pass., ср. греч. πλυτός "мытый", слав. **plъtъ* (русск. *плот*), откуда, возможно, лтш. *pluts* (см. KEWA II, 386).

Некоторые упущения могут при этом носить и случайный характер. Так, например, в укрупненной корневой статье *BĀDH* "притеснять, угнетать" (II, S.222) не обращено должного внимания на полезное специальное именное тождество: др.-инд. *bādhá-* "утеснение" – лит. *bãdas* "голод" (ср. в этом смысле точнее – KEWA II, 426).

Под заглавным *bhága-* "благосостояние, счастье, имение, удел" (II, S.239–240) помещены, несколько порознь, такие тяготеющие друг к другу данные, как *su-bhága-* "имеющий благую часть" и близкое младоавест. *hubaγa-*, а также слав. **sъbog-* в укр. *збіжжя*, блр. *збóжже* (Фасмер II, 84. Так же еще в KEWA II, 458–459. Однако адекватная лексикографическая и этимологическая инвентаризация требовала бы выделения *subhága-* в отдельную статью, как, разумеется, и в случае с др.-инд. *su-drú-* "хорошее, крепкое дерево", которое запрята́но в новом словаре s.v. *dāru-* "дерево" (I, S.721), а в KEWA II, 479 – s.v. *sú* "хороший, добрый"), тогда как полное родство с праслав. **sъdorvъ*, русск. *здорóвый* свидетельствует о наличии еще индоевропейского **su-dru-/*su-deru̯-* и о позиционной самостоятельности др.-инд. *su-drú-*.

Работе Майрхофера над "Этимологическим словарем древнеиндоарийского языка"

предшествовало не только издание "Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка". Годы, истекшие между окончанием одного и началом другого словарного предприятия, были в немалой степени также посвящены размышлениям над предпочтительным типом этимологического словаря вообще, что делает их (эти размышления), естественно, интересными не только для индологов. Поскольку, не зная этих предшествующих авторских исканий, трудно понять манеру выражаться и терминологию предисловия Майрхофера к его новому словарю [1, Bd.I, с. IX] мы должны, очевидно обратиться по крайней мере к двум его специальным работам: [10–11].

Этимологу-словарнику должны быть понятны терзания Майрхофера, и хотя он, если я не ошибаюсь, нигде не говорит буквально о компромиссе (в духе более известного у нас щербианского понимания, что словарь есть компромисс), он думает именно об этом, размышляя о форме словаря, который, с одной стороны, отличался бы практичностью и удобозавершаемостью (praktikabel und abschließbar), а с другой стороны, приближался бы к идеальным параметрам этимологического словаря "большекорпусного" языка (Vorbemerkungen, S IX). Этот тяжеловесный термин, эквивалент которому в русской терминологии отсутствует и к которому сам автор привыкал не сразу, судя по первоначальному написанию полуслитно, в кавычках – "Grosscorpus-Sprache" (1980) и только в последнее время – в одно слово и без кавычек Großcorpussprache (1992. Vorbemerkungen), все же относительно понятен в силу своей описательности. "Язык большого корпуса" – это язык с богатой письменной традицией (примеры: латынь, древнегреческий, санскрит, в более широком смысле – древнеиндоарийский [10, с. 17]). Термин этот употребляется Майрхофером в совокупности с другими терминами–понятиями. Так, "языками корпуса" являются, в его изложении, языки, представленные в текстах, надписях и т.п. источниках (иначе и не очень точно – "мертвые языки"). Наконец, "языки малого корпуса" – это языки, которые могут наличествовать в относительно крупных текстах, но все же представлены лишь фрагментарно, например, готский, древнеперсидский. К последним примыкают реликтовые языки, дошедшие порой лишь в глоссах, косвенных свидетельствах, личных и местных именах: фракийский, лидийский, мессапский, фригийский [10, с. 16–18].

Реакция на критику своего предыдущего словаря (притом, что эта критика выдвигала подчас взаимоисключающие требования и пожелания), со своей стороны, побуждала Майрхофера сосредоточиться на мыслях об идеальном словаре такого рода, а попросту говоря – на невозможности "угодить всем" ("es allen recht zu machen") [10, с. 18]. Особенным же стимулом послужили, как сам Майрхофер признает, внешне "непритязательный рабочий доклад "Etymologie und Wortgeschichte" Ю. Унтермана (1975) и переписка с этим кёльнским лингвистом. Унтерман решает дилемму "étymologie-origine" и "étymologie-histoire-des-mots"в пользу последней и вообще выступает как максималист (что чаще случается именно с людьми, в своей жизни ни одного этимологического словаря – подобно Унтерману, не написавшими). Максималисту нетрудно смутить даже опытного этимолога-лексикографа, имеющего за плечами такую большую словарную практику, как у Майрхофера. Этимолог-словарник и сам постоянно одолеваем сомнениями – о границах этимологизации, о составе словника. А тут вас припирают к стенке тезисом, сводящим в с ю этимологию к (письменной) истории ("étymologie-histoire-des-mots"), звонко закругляя этот тезис утверждением, что этимология "тем самым" ("damit") принадлежит к синхронному описанию языка... Правда, при некотором опыте и терпении, это поддается разоблачению все-таки как терминологическая игра, потому что история ("histoire des mots") процессуальна, процесс этот не идентичен рамкам письменной традиции, но получает наиболее полное выражение как раз в этимологии ("étymologie-origine").

Более существенно, пожалуй, другое требование Унтермана к этимологическому словарю, смутившее Майрхофера. Последний даже, с присущей ему строгостью к себе, чистосердечно кается, что, следуя "старой школе" и веря лишь "дидактике фонетического закона", прежде решительно "выбрасывал за борт" все, что грозило отнять лишнее место [10, с. 13-14]. Тогда как Унтерман пишет (цитирую по Майр-

хоферу, там же): "Этимология делается всегда для отдельного слова, для однажды запечатленной формы с подчиненным ей содержанием. Каждая из этих форм, если она стоит на правах автономного включения в синхронном лексиконе, может также претендовать на автономную позицию в этимологическом словаре... Чем лучше этимологический словарь, тем полнее дает он в качестве заглавных слов синхронно засвидетельствованные единицы лексики (items)...". Майрхофер демонстрирует отличное понимание затронутой Унтерманом проблемы и очень точно указывает при этом как на недостаток лучших этимологических словарей греческого и латинского языков отсутствие в них самостоятельных словарных статей – (греч.) ἄκτωρ "предводитель" и (лат.) *āctor* "погонщик; лицедей", производных с продуктивным формантом *-tor-* от и.-е. **aĝō* "гнать [11. с. 13–14]. Этот пример стоит удержать в памяти хотя бы для того, чтобы правильно оценить аналогичные отмеченные нами выше "невключения" самого Майрхофера. Конечно, Майрхофер знает, что ответить нам на возможный при этом упрек, и он отвечает: "И при этом истолковании умных положений Унтермана меня охватывает неприятное чувство, стóит только подумать о массах слов латинского, греческого и – рассуждая ближе к моим интересам (pro domo) – древнеиндоарийского..." [10, с. 15].

Рассуждать на тему о том, что каждой синхронной лексеме языка должна соответствовать позиция в этимологическом словаре, легко в случае с готским, продолжает Майрхофер. Все зависит от масштабов и типов письменной традиции, считает он, переходя затем к своей классификации языков под этим углом зрения – большого, малого корпуса и т.д. (о чем уже у нас выше). Очевидно, что великий практик Майрхофер представляет себе лучше, чем теоретик Унтерман, что это такое – перевести в с е самостоятельные позиции большого словарного корпуса в словарные статьи этимологического словаря... [10, с. 22]. На практике от этого приходится отказаться – таково мнение Майрхофера [10, с. 24], – по-прежнему продолжая трактовать слова в составе лексических гнезд (семей), ограничиваясь и при этом "избранными производными", с неожиданной информацией (unerwartete Aussagen) по словообразованию, семантике или исторической фонетике.

И в последующие годы Майрхофер лишь укрепился во мнении о неисполнимости того – идеального – типа этимологического словаря великокорпусного языка, который "потребовал бы от издателя двузначной цифры количества томов", а от составителя – обязательства прожить и проработать трехзначное количество лет" [11, с. 147]. Вместе с тем он разумно признает необходимость иметь этот идеал в виду и попытаться – по возможности – к нему приблизиться. Понимает он также и главную свою задачу – создать не словарь индоевропейских корней в древнеиндоарийском, а этимологикон древнеиндоарийского лексического состава [11, с. 152].

Другое дело – насколько удалось реально воплотить эти планы в словарную практику теперь уже наполовину готового словаря и насколько они (планы) остались в области теоретических пожеланий. Ответить на этот непростой вопрос отчасти помогает предпринятое нами параллельное чтение в соединении с некоторым собственным опытом индоевропейской и праславянской лексико-этимологической реконструкции, о котором я скажу также ниже. Проделанная выше процедура все же показала, что Майрхофер на практике стремился к означенному идеалу непоследовательно и предпочел в довольно многих случаях работать с чистыми корнями, а не с реальными словами языка. Отход в эту сторону очевиден даже при сравнении с его первым этимологическим словарем, недостатки которого, как теперь кажется, сам автор сильно преувеличивает. В итоге оказались неоправданно лишенными своих собственных словарных позиций древнеиндоарийские лексемы *ádman-, abhicara-, abhidhā́nī, abhī-dhā-, avikā́, jī́vaka-, gávyá-, tánuka-, Daṇḍaka-, damitár-, dā́tar-/dātár-, dātrá(m), dāti-, dānā́(m), dī́rghatā, dravantī́, druṇa(m), návya-, nikta-, pra-jñu-, prá-ṇapāt, pra-dā́-, pra-vāhá-, préti-, prabhú-, prastará-, pretár-, plutá-, badha-, su-bhaga-, su-drú-* Потенциальной гарантией древности этих производных и сложных слов, как уже

указывалось выше, служат словообразовательные и лексико-этимологические соответствия, параллели в других родственных языках. Нисколько не умаляя такого рода соответствий из других индоевропейских языков (см. о них выше), выделим здесь только славянские, поскольку дальше будет речь идти о близком (славистическом) опыте. В порядке следования приведенного выше индоарийского лексического материала это будут праслав. *ědmę/-mene, *obьdo, *ovьca, *tьnъkъ, *datelь, *datь, *danь, *dьlgota, *drynъ, *prodati, *provozъ, *projьti, *prostorъ, *prijatelь, *plъtъ, *sъbog-, *sъdorvъ (прямой чертой подчеркнуты заглавные лексемы уже опубликованных частей ЭССЯ, остальные займут свое место в продолжении словаря). Здесь перед нами производные с индоевропейскими формантами и сложения старого типа. Разумеется, подобные славянско-индоарийские лексико-этимологические схождения не ограничиваются только перечисленными здесь. Можно рассчитывать и на новые результаты поисков, актуальность которых имеет как бы двухсторонний характер, подтверждая потенциальную древность как индоарийского, так и славянского (праславянского) члена пары. В памяти языкознания давно отложились и другие, не менее яркие соответствия такого рода, например, праслав. **pьjanъ* (русск. *пьяный*) и др.-инд. *pyāná-, píyāna-* "напоенный". Мы давно работаем с таким материалом. В практике подготовки нашего Этимологического словаря славянских языков, можно сказать, вот уже тридцать лет как место корневой этимологии и гнездового расположения словарного материала заняла этимология лексемы, цельнолексемное соответствие (Ganzlexem-Entsprechung), чем подразумеваются внеславянские параллели. Максимально расчлененная подача словника [префиксальные и прочие сложения и дериваты, даже групповые лексемы (Wortgruppenlexeme) как регулярные заглавные формы] придают нашему ЭССЯ скорее характер словообразовательно-этимологического, а не традиционно этимологического словаря, причем грань между историческим словообразованием и этимологией, если не стирается, то становится во многом условной. ЭССЯ – словарь праязыка ("словарь-реконструкция", в нашей терминологии), но праязык мы трактуем как живой язык. Это означает, что уже давно мы поняли необходимость перестроить всю систему понятий этимологической лексикографии. Наши ориентиры в чем-то напоминают унтермановские (см. выше), но, в отличие от этого идеального теоретизирования, мы имеем огромную словарную практику, которая не только подтверждает наши искания, но и корректирует их, не позволяя ни на один день забывать о том, что словарь – это компромисс. О масштабах нашей словарной практики дает представление то фактическое обстоятельство, что ЭССЯ доведен в рукописи до *Ni...* (выпуск 23); вышло из печати с 1974 по 1993 гг. девятнадцать (1–19) выпусков; в каждом выпуске – 300–400 и более словарных статей. ЭССЯ, кроме заглавных реконструированных форм (Stichwörter), дает материал соответствий из пятнадцати живых и мертвых славянских языков. Остается добавить, что гораздо полнее и систематичнее эти принципы были изложены в свое время в печатных изданиях [12–14], которые должны быть известны и на Западе. Но... Rossica non saepe leguntur[1]

[1] Как показывают изложенные краткие сведения о нашем словаре, эффект словаря "Großcorpussprache" здесь налицо. Больше того, здесь, пожалуй, целесообразно говорить о "словаре-левиафане" ("Leviathan-Wörterbuch") с особо большим словником (Wortindex). К тому же, словник этого словаря не дан нам в непосредственном наблюдении, как это имеет место в словаре языка сколько угодно большого корпуса. В нашем словаре применяется как бы **двухступенчатая модель реконструкции:** 1) сначала отбираются (реконструируются) праславянские словники для каждого из пятнадцати отдельных славянских языков; 2) только затем – путем слияния этих частных праславянских словников – получается единый словник праславянского языка и его диалектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Lf. 1–13. Heidelberg, 1986–1993.
2. *Mayrhofer M.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd I–III. Heidelberg, 1956–1976.
3. *Bader F.* – BSLP. 1990. T. LXXXV. fasc. 2. P. 94: Rec.: Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen.
4. *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян. М., 1991. С. 76, 168.
5. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984. С. 523–524, 867, 872.
6. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. М., 1981. С. 149.
7. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 6. М., 1979. С. 113–114.
8. *Трубачев О.Н.* О синдах и их языке // ВЯ. 1976. № 4. С. 62.
9. *Трубачев О.Н.* Об одном случае глагольного супплетивизма: праслав. **-nĕti* "нести, принести" // В чест на акад. Вл. Георгиев. Езиковедски проучвания. София, 1980. С. 273–274.
10. *Mayrhofer M.* Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer "Grosscorpus-Sprache". Wien. 1980.
11. *Mayrhofer M.* Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des Altindoarischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung // Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983.
12. [*Трубачев О.Н.*] Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963. С. 9, 21, 25, 29.
13. *Трубачев О.Н.* Работа над Этимологическим словарем славянских языков // ВЯ. 1967. № 4. С. 34 и сл.
14. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. Трубачева О.Н. Вып. I. М., 1974. С. 3 и сл. От редактора.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. Н.А. КОЗИНЦЕВА

КАТЕГОРИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(проблемы типологического анализа)

Язык как естественная знаковая система характеризуется целым комплексом признаков, отличающих его от знаковых систем, искусственно созданных людьми. Помимо структурной сложности, естественному языку свойственно сопровождать передачу некоторой объективной информации, выражением авторской позиции говорящего, его субъективного отношения к сообщению. Одним из семантических параметров высказывания, отражающих это отношение, является отсылка к источнику информации, передаваемой говорящим. Языки могут быть устроены так, что 1) говорящий всегда имеет возможность строить свое высказывание, не указывая на источник своих знаний; 2) говорящий обязан в определенных ситуативных условиях выразить источник, на котором основаны его сведения. Таким источником могут быть: а) собственные наблюдения говорящего (прямое свидетельство); б) сведения из вторых рук, умозаключение (непрямое, или косвенное свидетельство).

Настоящая работа ставит своей целью на базе существующих исследований категории эвиденциальности, накопивших разнообразный языковой материал и содержащих попытки его теоретического осмысления, поставить задачу разработки целостного типологического описания этой категории как сетки логических возможностей, которая определяет положение каждого языка в типологическом пространстве. Нами будут рассмотрены определение, семантика и средства выражения эвиденциальности, связь этой категории с другими семантическими и грамматическими категориями, вопросы, связанные с анализом происхождения данной категории. Одним из результатов этой работы является прилагаемая к ней анкета, вопросы которой определяются представлениями автора о существенности тех или иных языковых фактов для типологии. Составление анкеты – один из обязательных этапов типологического исследования, который в данном случае призван стимулировать дальнейшее изучение эвиденциальности (о методике типологических исследований см. [1]).

В языках мира существуют разнообразные средства, указывающие на косвенный характер информации. Возможна также специальная маркировка тех случаев, когда говорящий подчеркивает, что был очевидцем описываемого им события. В одних языках данные значения, объединяемые термином "эвиденциальность", являются грамматически обязательными для оформления высказываний определенных типов – тюркских, кавказских, финно-угорских, в языках американских индейцев, африканских и др. В других языках, как, например, в русском, английском, немецком, французском и др., эти значения передаются лексически.

Таким образом, используя определение, данное Р.О. Якобсоном [2], эвиденциальность можно понимать как область рамочных значений, представляющих собой указание на источник сведений: говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении какого-либо другого лица, на снах (сведения, полученные путем откровения), на догадках (предположительные сведения) – косвенная засвидетельствованность – или на собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из памяти) – прямая засвидетельствованность.

Другие термины для обозначения данного понятия: пересказывательность/непересказывательность, инференциальность/неинференциальность, очевидность/неочевид-

ность (заглазность), засвидетельствованность/незасвидетельствованность, конфирмативность/неконфирмативность, дистантность (±), имперцептив. Из перечисленных терминов в качестве обобщающего примем эвиденциальность, которая относится как к случаям очевидности, конфирмативности, непересказывательности, так и неочевидности, неконфирмативности, пересказывательности. Приведенные термины в большинстве образованы по принципу привативной оппозиции: выраженность/невыраженность признака. Эвиденциальность как термин допускает разнообразные эпитеты (прямая, непрямая, косвенная, из вторых рук, из третьих рук, инференциальная и пр.), что дает возможность построить шкалу подтипов данного значения. В дальнейшем для обозначения семантики, связанной с указанием на источник сведений говорящего, будет использоваться термин "эвиденциальность" и его русский перевод – "засвидетельствованность" с различными эпитетами.

1. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДТИПЫ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Семантика высказываний, передающих указание на источник информации говорящего, может быть представлена как содержащая рамочную (EV) и пропозитивную части (P):

Г сообщает, что [X видел/полагает/узнал, что] P,

где Г – говорящий, X – субъект модуса EV ("хозяин" информации). Информация может быть получена посредством: 1) чувственного восприятия, 2) логического умозаключения, 3) сообщения.

Чувственное восприятие может детализироваться как: а) зрительное, б) слуховое, в) основанное на общих ощущениях.

Как показывает материал языков американских индейцев, обобщенный в работе [3], граница между прямым и косвенным свидетельством в языках может проходить по-разному. В языке патвин специально маркируется прямая засвидетельствованность, основанная на данных зрения:

(1) патвин
behna?u *meem* *khontaro* ***bees***
Назавтра вода высохла EV:DECLARATIVE
"На следующее утро вода высохла" [3, с. 65][1].

В языке винту прямая засвидетельствованность понимается как основанная на зрительном восприятии и специально не маркируется. Все остальные подтипы чувственного восприятия маркируются как косвенная эвиденциальность. При этом дифференцируются следующие разновидности чувственного восприятия:

а) слуховое – говорящий слышал те события, о которых он говорит:

(2) винту
heket *wɪra* *wačaa**bintheem***
кто-то приходить плакать:IMPERF:EV:DUBITATIVE
"Кто-то идет и плачет (я это слышу): [3, с. 65];

б) основанное на общих ощущениях:

(3) винту
čepkal *neel* *baa**binthida***
плохой мы есть:IMPERF:EV:WE
"Мы съели что-то плохое (я это чувствую)" [3, с. 65].

Указывая, что передача фактов основана на косвенном свидетельстве, говорящий ставит своей целью информировать о том, что не был очевидцем P и что у него нет полной уверенности в достоверности сообщаемого, снимая тем самым с себя ответственность за утверждение. К области косвенной эвиденциальности в языках различных типов несомненно относятся случаи, когда высказывание основано на умозаключении (инференциальность) или на сообщении другого лица (пересказывательность).

---

[1] Здесь и далее оформление примеров заимствованных из научной литературы, сохраняется без изменений

Утверждение основывается на логическом выводе, когда в случае поиска причины наблюдаемой ситуации говорящий восстанавливает ситуацию, о которой делается сообщение, по некоторым наличным признакам. Инференциальность может передаваться недифференцированно:

(4) тепехуан

vahii ***vak*** *kugi*

COMPLETIVE:уехал EV AFFIRMATIVE

"Значит, должно быть, он уехал" [3, с. 69],

либо дифференцированно, а именно:

а) как вывод по наличным (зримым) результатам:

(5) винту

heke *maan* *haraaki**reem***

куда-то восклицание идти COMPLETIVE:EV:DUBITATIVE

"Он, видимо, куда-то ушел" (я его не вижу) [3, с. 65];

б) как вывод на основе интуиции, общих знаний, логики, снов, мыслительной деятельности:

(6) винту

ʔimtoon *nuqaaʔ**el***

ягоды спелый:EV

"Ягоды, должно быть, спелые" (в это время года) [3, с. 65].

Пересказывательность также может выражаться недифференцированно, как, например, в следующем примере:

(7) тепехуан

tukuaʔ ***jǒ̱***

DISTRIBUTIVE:кушать EV

"Он ест" (в ответной реплике) [3, с. 69],

либо может, в свою очередь, подразделяться на следующие разновидности:

а) сообщение человека, который был свидетелем события, пересказ из вторых рук:

(8) тепехуан

baiʔ ***sap*** *šihiim*

к EV IMPERATIV:идти

"Иди сюда (он сказал)" [3, с. 69];

б) сообщение человека, который сам не был свидетелем события, пересказ из третьих рук:

(9) тепехуан

paiʔ *na* ***sak*** *puiʔ* *tɨtɨʔ* *Jaaraščaʔm*

там что EV так называлось краб:на

"Там то, что называется, Crab Place" [3, с. 69].

Передача высказывания другого лица может быть нейтральной, но может быть также сопряжена с выражением собственного эмоционально-оценочного отношения говорящего к передаваемой информации, ср.:

(10) болг.

Ти тези работи още не ги разбираш! – Тъй ли?... магаре кроставо! Не съм ги разбирал! (К.К.)

"Ты этих вещей еще не понимаешь! – Да?... паршивый осел! Так (по-твоему) я их не понимаю!" [4, с. 272].

Одной из распространенных функций форм, передающих значение косвенной эвиденциальности, является адмиративность – выражение удивления по поводу неожиданного обнаружения факта имеющего место в момент речи:

(11) болг.

Като видяха Павел, те и трите се спряха изненадани и учудени...– Гледай, гледай, гост сме имали, а не знаем (Е.П.)

"Увидев Павла, все три остановились в изумлении. – Посмотри-ка, у нас гость, а мы не знаем" [4, с. 275].

Возникает вопрос о том, каким образом семантически адмиративность связана с косвенной эвиденциальностью, формами которой она обычно передается. Можно предположить, что эта связь основана на самоотстранении говорящего от ситуации, по поводу которой высказывается удивление. Говорящий представляет себя как "неочевидца", для которого описываемая ситуация либо действительно неожиданна и вызывает удивление, либо говорящий в силу каких-то причин неискренен. Таким образом, в данном случае формы косвенной эвиденциальности выступают в несобственном – переносном ("как будто") – значении.

Рассмотрим возможные соотношения между говорящим как участником коммуникативной ситуации (роль слушающего в данном случае нерелевантна) и субъектном модуса. Говорящий может быть субъектом модуса в том случае, если источником информации является его собственное непосредственное наблюдение или логическое умозаключение. Если источником информации является сообщение другого лица, то говорящий не является субъектом модуса.

Обратимся теперь к возможным соответствиям между говорящим и ситуацией, передаваемой в пропозитивной части: говорящий может быть или не быть участником этой ситуации. Участие говорящего в ситуации не влечет автоматически значения прямой эвиденциальности – если говорящий был без сознания, во сне или с ним произошло некоторое событие независимо от его сознания (т.е. говорящий не имел контроля над ситуацией), то обычно такое положение дел, о котором говорящий знает от других, в языках передается с помощью показателей косвенной эвиденциальности (см. ниже примеры 22, 35, 36). В том случае, если говорящий не является участником ситуации, выражаемой пропозитивным компонентом, он также может быть ее очевидцем, сообщать о ней понаслышке или на основании своих умозаключений.

Учитывая указанные соотношения говорящего и компонентов EV и P, частные значения эвиденциальности можно представить в следующей таблице:

Исчисление частных значений эвиденциальности

Способ получения информации	Субъект модуса EV		
	Говорящий		Не-говорящий
	Участник P	Не-участник P	
Прямое восприятие			(5) КЭ
зрительное	ПЭ	(1, 20) ПЭ	
не зрительное	(3) ПЭ/КЭ	(2) ПЭ/КЭ	
Логический вывод	(21) КЭ	(4, 5, 6) КЭ	КЭ
Сообщение			(7, 9) КЭ

Примечание: в скобках указываются NN примеров, в которых реализуется данная комбинация признаков; ПЭ – прямая эвиденциальность, КЭ – косвенная эвиденциальность; ПЭ/КЭ – зоны, в которых граница между ПЭ и КЭ подвижна. В некоторых клетках нет примеров, что может быть связано со следующими факторами: а) маркировка прямой засвидетельствованности действия, в котором принимает участие говорящий, по-видимому избыточна; б) специальное обозначение косвенной засвидетельствованности на основании логического вывода, делаемого не-говорящим, – редкая ситуация, которая дополнительно осложнена тем, что в любом случае информация, полученная так или иначе, передается говорящему посредством сообщения.

В представленном исчислении имеется единственная нереализуемая клетка, отражающая несовместимость представления в качестве субъекта модуса EV говорящего и способа получения им информации через сообщение. Дальнейшая детализация этой классификации может быть основана на различии по признаку участия/неучастия в P субъекта модуса, представленного не-говорящим.

2. СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Существенным является различение двух типов языков: 1) языки, которые имеют специальные средства для выражения эвиденциальности, и 2) языки, в которых эвиденциальность выражается совмещенно с другими значениями, модальными и аспектуальными, ср. [5, 6].

Специализированные средства

Среди специализированных средств можно выделить морфологические и лексико-синтаксические.

1. Морфологические средства. К морфологическим следует отнести формы, трактуемые в грамматиках как пересказывательное наклонение, – в болгарском, албанском, абсентив в уральских языках, заглазное наклонение в таджикском, арчинском.

Множество специфических морфем и аналитических форм распространено в языках американских индейцев, в сино-тибетских, африканских языках.

2. Лексико-синтаксические средства.

1) Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным, подчиненным модусному глаголу:

(12) *Говорят, что...*

2) Союз. В языке руанда (группа банту) противопоставление по эвиденциальности сопряжено с выражением ассертивного статуса пропозиции, передаваемого придаточным изъяснительным, которое может присоединяться с помощью следующих союзов:

а) *ko*, если говорящий нейтрально относится к истинности высказываемой информации:

(13) руанда

ya-vuze	***ko***	*a-zaa-za*
он-PAST-говорить	что	он-FUT-приходить

"Он сказал, что придет (говорящий нейтрален относительно истинности придаточного)" [7, с. 30];

б) *ngo*, если говорящий имеет прямое свидетельство, заставляющее его сомневаться относительно истинности придаточного предложения

(14) руанда

ya-vuze	***ngo***	*a-zaa-za*
он-PAST-говорить	что	он-FUT-приходить

"Он сказал, что придет (но у говорящего есть прямое свидетельство, заставляющее сомневаться в его приходе)" [7, с. 30];

в) *kongo*, если говорящий имеет косвенное свидетельство, заставляющее его сомневаться относительно истинности придаточного предложения:

(15) руанда

ya-vuze	***kongo***	*ya-zaa-za*
он-PAST-сказать	что	он-FUT-приходить

"Он сказал, что придет" (но у говорящего есть косвенное свидетельство, заставляющее сомневаться в его приходе) [7, с. 30].

3) Модальные слова, например, *экан* и *эмиш* в узбекском языке:

(16) узб.

У	*келган*	*экан*

"Он пришел говорят" [8, с. 175].

4) Вводный оборот, выраженный модусным глаголом:

(17) *Как мне стало известно, завтра состоится совещание.*

(18) *Петров, говорят, поправился.*

5) Обстоятельства, указывающие на косвенный источник информации: англ. *allegedly* "ссылаясь", *reportedly* 'как сообщается", на выводной характер информации: *evidently* "очевидно", *apparently* 'по-видимому", русск. *очевидно, по-видимому*.

6) Частицы, восходящие к глаголам сообщения: русск. *де, мол, якобы, дескать,* выражающие сомнение, например:

(19) *Он де не виноват* ("кто-то или он сам говорит, считает, утверждает..."), о средствах выражения косвенной эвиденциальности в русском языке см. [9].

Совмещенные формы

Грамматический статус эвиденциальных форм (видо-временные формы или наклонение?) зависит от морфологической системы языка. В болгарском языке говорят об особой категории или с оговорками о эвиденциальном наклонении, так как в этом языке различаются две системы форм: "прямое повествование" и "косвенное повествование" [4]. Другой полюс – язык такельма, в котором формы времен и наклонений выражаются синкретично и данные категории образуют единство (Сэпир называет их tense-modes [10, с. 157]). Форма эвиденциальности в языке такельма входит в ряд: аорист, будущее, потенциалис, настоящее время императива, будущее время императива. Каждая из этих форм имеет собственный набор местоименных окончаний. Помимо данного набора окончаний эвиденциальная форма морфологически выделена специальным показателем -k'-(g-), который сохраняется во всех залогах, например:

(20) такельма

mena *yap!a* *t!omõk'wa*

медведь человека он.убил.его (аорист)

"Медведь убил человека";

(21) такельма

mena *yap!a* *dõmk'wa-k'*

медведь человека убил.по-видимому (эвиденциалис)

"По-видимому, медведь убил человека" [10, с. 158].

Указание на источник информации обычно передается совмещенно с видо-временными значениями индикативных форм.

Более распространено выражение подтипов эвиденциальности формами прошедшего времени аористом, перфектом, плюсквамперфектом, имперфектом.

В этом случае маркируется прямая эвиденциальность и только иногда дифференцируются разные подтипы косвенной эвиденциальности. Болгарский и македонский передают очевидность и инференциальность, соответственно, прошедшим определенным (аористом) и неопределенным прошедшим (перфектом). Установлено, что в ряде языков аорист выражает преимущественно прямую засвидетельствованность, т.е. маркированным грамматически является значение прямой засвидетельствованности. Перфект же не во всех своих употреблениях передает косвенную засвидетельствованность, таким образом, незасвидетельствованность является немаркированным признаком.

В турецком языке противопоставление форм на *-di* (аорист) и на *-miš-* (перфект) используется для передачи прямой/косвенной эвиденциальности не всегда последовательно. Форма прошедшего времени на *-miš-* совмещает результативное и пересказывательное значения [11, 12]. Пример реализации результативного значения:

(22) турецк.

Yorul-muš-um

Устать-RES-1SG

"Я устал" [12, с. 280].

Пример реализации пересказывательного значения:

(23) турецк.

Uyu-muš-um

Спать-EV-1SG

"Я, должно быть, заснул" [13, с. 160].

Употребление формы на *-miš-* предполагает инференциальность – вывод говорящего о прошедшем действии делается на основе каких-либо признаков, доступных восприятию.

Другая форма прошедшего времени на *-di* также может употребляться для обозначения незасвидетельствованных действий:

(24) турецк.
Karim bir mektup yaz-di
"Моя жена написала письмо" (если речь идет о письме, написанном говорящему) [12].

Единственный тип предложения в турецком, который не допускает употребления прош. вр. на *-di-*, – это антиаффирматив (*Я сомневаюсь, что .*):

(25) турецк.
*Inanmiyorum ki o adam bunu *yap-ti/yap-miš*
"Я не верю, что тот человек сделал (**-di*) это" [11].

Противопоставление по прямой/косвенной эвиденциальности в настоящем времени зафиксировано в лакском языке [14, 15].

3. СООТНОШЕНИЕ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ

Эвиденциальность и эпистемическая модальность

Эвиденциальность близка по своему содержанию к эпистемической модальности. Разграничение эвиденциальности и эпистемической модальности проводят авторы работы [16]. С их точки зрения, говорящий прибегает к эпистемической модальности, характеризуя ситуацию в отношении к актуальному и потенциальному мирам. Этот тип модальности охватывает области возможности и необходимости, ср. гипотетическая возможность:

(26) *I could have died*
"Я мог умереть".

По данным работы [16], это характеристика актуальности ситуации per se, которая не совпадает с указанием на источник информации. Соотношение эпистемической модальности и эвиденциальности рассматривается в [7]. Гивон строит следующую схему:

а) высшая степень достоверности пропозиции – противопоставление по эвиденциальности не используется (говорящий сам вовлечен в действие либо выражена фактивность пропозиции);

б) степень достоверности нейтральная (средняя) – эвиденциальность маркируется (пропозиция не является фактивной);

в) самая нижняя степень достоверности – недостоверность (гипотетичность) – эвиденциальность невозможна.

Таким образом, противопоставление по эвиденциальности релевантно для тех случаев, когда степень достоверности нейтральная.

В тех случаях, когда достоверность/недостоверность выражена специально – с помощью модусного предложения, значение прямой или косвенной эвиденциальности существенно для выбора формы сказуемого в подчиненном предложении.

Контекст прямой засвидетельствованности – подчинение глаголу знания, непосредственного восприятия, утверждения, имплицирующих истинность (фактивность) включенной предикации:

(27) *Я знаю, удостоверяю, свидетельствую, клянусь, что...*

Антиаффирмативный контекст (*Я сомневаюсь, что...*) не допускает употребления форм прямой засвидетельствованности. Так, например, показатель косвенной засвидетельствованности *ngo* в языке руанда не сочетается с фактивной пропозицией:

(28) руанда
а. *n-uku-ri* ***ko*** *amazi yari mare-mare*

ВЕ-правда что вода была глубокая-глубокая
"Правда, что вода была очень глубокой"
b. **n-uku-ri* ***ngo*** *amazi yari mare-mare* [7, с. 28].

Таким образом, нефактивная пропозиция в руанда характеризуется как незасвидетельствованная. Выше отмечалось, что данный контекст требует в турецком употребления формы перфекта в зависимом предложении, что связано с антиаффирмативностью этой формы.

Эвиденциальность и императив

Одним из подтипов косвенной засвидетельствованности является собственно пересказывательность, т.е. передача чужой речи, вследствие чего в сферу действия показателя эвиденциальности может попасть высказывание не о реальном действии, а сам императивный речевой акт. Пересказывательные формы императива указывают на то, что прескриптором является не говорящий, а другое лицо. Такие формы могут использоваться для нейтральной передачи повеления, см. пример (8), а также:

(29) кора
šaatauhka?anye *yee* *heice?e*
вы:PLURAL:COMPLETIVE:PERFECTIVE:REFLEXIVE:лить EV больше
"Лейте на угли, все вы, больше (сказал он)" [3, с. 68];

(30) лакск.
Nanu *ṭar,* *nanu* *ṭar*
Давай.пойдем EV, давай.пойдем EV
"Давай пойдем, она говорит, давай пойдем, она говорит" [16].

В других случаях непрямое цитирование императивного высказывания может быть сопряжено с выражением недоверия, сомнения говорящего в целесообразности повеления. Ср. следующий пример:

(31) ⟨Обломов пересказывает советы доктора⟩ *Ты послушай, что он тут наговорил: "живи я где-то на горе, поезжай в Египет или в Америку"* (И. Гончаров).

Конструкция *да* + пересказывательные формы служит для пересказывания форм повелительного наклонения и конструкций *да* + наст. вр., содержащихся в передаваемом чужом высказывании. Ср. примеры:

(32) болг.
– Че какво да правя в Пловдив? – Юрталана сви устни и тръсна глава: – Виж го ти него – какво да правел в Пловдив? (Г.К.)
"– А что мне делать в Пловдиве? Ю. сжал губы и тряхнул головой: – Ну и ну (букв. Посмотри на него), что ему делать в Пловдиве?" (т.е. как это он задает вопрос, что делать в Пловдиве) [4, с. 288];

(33) болг.
Но защо сега нещо му беше тъмно и чоглаво? Да оставел Деяна... Да се борели . Но с кого? И как? (Г.К.)
"Но почему ему сейчас было что-то непонятно и не по себе? Оставить Деянова... Бороться... Но против кого? И как?"
(говорящий воспроизводит содержание советов, данных ему другим лицом: Остави Деяна) [4, с. 288].

Эвиденциальность и условное наклонение

В существующих описаниях обычно отмечается, что формы условного наклонения не замещаются формами косвенной эвиденциальности при передаче незасвидетельствованных говорящим событий; относительно болгарского языка см. например [17].

Эвиденциальность и лицо

Формы косвенной эвиденциальности чаще характеризуют действие третьего лица, так как говорящий является очевидцем своих действий или действий адресата.

Перфектные формы 1 л. обычно не имеют пересказывательного значения, ср.:

(34) груз.

Bevri vai-vaglaxi minaxavs čems sicocxleši

"Я много видел в жизни горя" [18].

Тем не менее косвенная эвиденциальность действия, совершаемого 1 л., может быть выражена в следующих случаях:

1) при сообщении говорящим о себе таких фактов, которые он сам не помнит, а потому передает с чужих слов:

(35) тадж.

Модарам рӯзу давраи кӯдакии маро баˆёд оварда ҳикоя кард, ки ман бисьёр ором ва осуда будаам, гирьяро ҳеҷ намедонистааму вақти зиёд хоб мерафтаам

"Моя мать, вспоминая как-то дни моего детства, говорила, что я, оказывается, был очень спокойным, совсем не плакал и большей частью спал" [19, с. 93].

2) при рассказе о том, что было совершено говорящим в бесчувственном состоянии, во сне и др.:

(36) тадж.

Шаби гузашта ман хоб дидам, ки ба осмон паридаам ва аз болои шаҳрҳои бусьер гузашта ба Тошкент расидаам

"Прошлой ночью я видел во сне будто бы я взлетел на небо и, пролетев над многими городами, попал в Ташкент" [19, с. 94];

3) в сообщении о ситуации, не известной слушающему:

(37) арчинск.

un dez bexle ertili

"Ты мне черной стала (=Я тебя ненавижу)",

здесь заглазность подчеркивает новизну сообщения для слушающего [20, с. 231].

Гивон [7] и Вудбери [21] приводят случаи нейтрализации данного противопоставления для формы 1 л. в сино-тибетском языке шерпа (Непал).

В эстонском языке формы пересказывательного наклонения не различают лиц: *sa paluvat* "ты, якобы, спросил", *ta paluvat* "он, якобы, спросил" [22]. В коми-зырянском языке прошедшее неочевидное время (перфект) не имеет форм 1 л. ед. и мн. ч. [23].

Эвиденциальность и время

В тех языках, где противопоставление по засвидетельствованности выступает как оппозиция наклонений, возможно указание на косвенную засвидетельствованность как в отношении фактов в прошлом, так и в настоящем и в будущем. При этом в болгарской грамматике отмечается например, что передача с помощью форм пересказывательного наклонения фактов в прошлом более обязательна и поэтому носит нейтральный характер. Говоря о событиях в настоящем, можно использовать как пересказывательные, так и изъявительные формы. При этом при употреблении пересказывательных форм больше чувствуется оттенок сомнения, неодобрения или иронии:

(38) болг.

Аз дори не я познавам. – Не я познавал!

"Я даже ее не знаю. – Не знает ее!" (Весь свет ее знает, а он не знает!) [4, с. 275].

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОРМ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

На материале языков американских индейцев было показано, что маркеры прямой засвидетельствованности во многих случаях восходят к глаголам чувственного восприятия. Показатели пересказанной информации восходят к глаголам речи, а

формы, передающие выводную информацию, образованы либо от перфектных форм, либо от глаголов зрительного восприятия [3, с. 79].

В истории балкано-славянских и турецкого языков имеется общая тенденция, заключающаяся в том, что формы определенного прошедшего (аориста) в этих языках получают значение маркированной прямой засвидетельствованности [11]. Вместе с этим (или благодаря этому) прошедшее неопределенное (первоначально перфект) во всех этих языках преобразовался в немаркированное прошедшее, контекстуальным вариантом значения которого выступает косвенная эвиденциальность. Это явление наблюдается во многих языках и не должно рассматриваться только как ареальное. Развитие перфекта в немаркированное прошедшее прослеживается в русском, французском, немецком и других языках. Связь косвенной эвиденциальности и перфектных форм установлена в финно-угорских языках. В коми-зырянском, марийском и удмуртском языках выделяется наклонение абсентива, формы которого связаны с перфектом [23]. Семантическая связь между перфектным значением (результативом) и засвидетельствованностью основана на том, что оба этих значения имплицируют действие в прошлом не данное в непосредственном восприятии [24].

Вместе с тем представляется необходимым обратить внимание на справедливое замечание А.М. Щербака о том, что семантическая двойственность перфекта (указание на действие, происходившее до момента речи, отсюда близость к простому претериту, и указание на результативное состояние и связанная с этим отнесенность к настоящему) приводит к тому, что на первом плане в зависимости от ситуации речи и контекста может актуализироваться именно акциональное (а не результативное) значение. Тогда значение неочевидности оказывается связанным непосредственно именно с повествовательной функцией перфекта, ср. [25]. Примечательно, что общей функциональной особенностью форм, выражающих пересказывательное значение в индоевропейских языках балканского ареала, а также в армянском, латышском, литовском, таджикском, является их способность использоваться в качестве повествовательных временных форм [26].

Изучение истории становления пересказывательного значения перфекта требует анализа синтаксического функционирования причастия прошедшего времени (перфектного причастия), являющегося компонентом перифрастического перфекта. В исследованиях по болгарскому языку обращалось внимание на отсутствие вспомогательного глагола в аналитических формах пересказывательности, содержащих причастие прошедшего времени. В связи с этим можно упомянуть также случаи самостоятельного употребления в качестве сказуемого причастия прошедшего времени в древнеармянском языке.

В произведениях эпической прозы на древнеармянском языке допускалось употребление ряда причастий прошедшего времени, передающих последовательные действия, см [27–29], например:

(39) др.арм.

Yets$_1$ *kac-eal*$_2$		*yuxtēn*	*k'ristonēut'ean*	*ew*	
Отступив$_{1,2}$-PAST.PART		от обета	христианского	и	
awer-eal	*z-bazum*	*tełis*	*Hayoc*	*ašxarhin. .*	
разорив-PAST.PART	ACC-многие	места	Армянского	мира	
ar-eal	*awer-eal*	*ew*	*hrjig*		
взять-PAST.PART	разорить-PAST.PART	и	поджог		
arar-eal,	*ew*	*z-amenecun*	*jer*	*z-entanis*	
произвести-PAST.PART	и	ACC-все	ваши	ACC-семьи	
p'axuc-eal	*merž-eal*	*yiwrak'ančiwr*	*bnakut'enē*		
бежать-PAST.PART	покинуть-PAST.PART	свое	проживание:ABL		
Jern	*ark-eal*	*ew*	*i*	*surb*	*ekełecis-n,*
Руку	наложить-PAST.PART	и	на	святые	церкви-DEF

tar-eal *ew* *z-surb* *spas* *ekełecwoy-n* *sełanoy,*
уносить-PAST.PART и ACC-святой сосуд церковь:GEN-DEF престол:GEN
geri *var-eal* *z-entanis* *k'ahanayic,* *ew* *z-nosin*
плен увести:PAST.PART ACC-семьи священников и ACC-их
kap-eal *ew* *ed-eal* *i* *bandi* (Егише, 79)
связать-PAST.PART и заключить-PAST.PART в тюрьму
"Отступив от обета христианского и разорив многие места... взял, разорил и произвел поджоги, и все ваши семьи заставил бежать, покинув святые места своего пребывания. Наложил руку и на святые церкви, унеся и святые сосуды церковного престола, увел в плен и семьи священников, а их (самих повелел) связать и заключить в тюрьму"[2].

В специальной литературе обсуждается вопрос о том, следует ли данное употребление рассматривать как элиминацию вспомогательного глагола при форме перфекта либо трактовать эти случаи как особое употребление аппозитивного причастия прошедшего времени в нарративной функции. Аргументом в пользу последнего решения выступает то, что сложное прошедшее в древнеармянском не употреблялось для передачи последовательных действий [30].

Как бы ни расценивать формы в примере (39), очевидно, что подобные употребления являются предпосылкой развития значения косвенной засвидетельствованности перфекта современного армянского языка.

В результате проделанного обзора семантики и средств передачи эвиденциальности можно предложить следующие вопросы для описания рассмотренной категории в языках различных типов.

5. АНКЕТА

Есть ли в изучаемом вами языке специализированные средства передачи ситуаций, очевидцем которых не является говорящий, о которых он знает с чужих слов или догадывается на основе некоторых косвенных признаков?

Является ли передача данного значения обязательной в высказывании на изучаемом вами языке?

Какие из рассмотренных выше типов средств представлены в вашем языке? Возможно ли использование комбинации различных средств?

Какие из имеющихся средств являются центральными (преферентными), а какие – периферийными? На каком основании то или иное средство оценивается вами как центральное или периферийное?

Каков грамматический статус морфологических форм, передающих значение эвиденциальности, – формы наклонения или иной категории? Какие категории подчинены эвиденциальности? (Если данное значение передается особым наклонением или иной категорией, какие формы входят в ее состав?)

Какие подтипы значений эвиденциальности маркируются данными формами в вашем языке?

Выражается ли значение косвенной засвидетельствованности совмещенно с семантикой перфекта (неопределенного прошедшего)? Какие подтипы незасвидетельствованности передаются совмещенно с семантикой перфекта? Какие частные значения имеет данная форма вне контекста незасвидетельствованности? Как маркируется контекст незасвидетельствованности? (Сочетается ли выражение засвидетельствованности с помощью совмещенных средств (видо-временных форм) с употреблением специальных лексико-синтаксических средств?) Передает ли форма, противопоставленная перфекту, засвидетельствованность или она является нейтральной в отношении этого значения?

Для каких типов высказываний релевантно выражение значений эвиденциаль-

[2] *Егише.* О Вардане и войне армянской / Пер. с древнеармянского акад. И.А. Орбели. Ереван, 1971. С. 80.

ности? – Выражается ли эвиденциальность в высказываниях, описывающих реальные/гипотетические ситуации, истинные/ложные ситуации (тавтологии, противоречия), достоверные/недостоверные ситуации?

Как оформляется зависимый предикат в придаточном, подчиненном фактивным и нефактивным глаголам?

Возможна ли передача императивного высказывания с помощью форм прямой или косвенной засвидетельствованности? Является ли такая передача нейтральной или содержит тот или иной дубитативный оттенок?

Есть ли специальные средства для передачи других незасвидетельствованных говорящим речевых актов – вопроса, пожелания?

Существуют ли особые средства выражения эвиденциальности в высказываниях с формами условного и желательного наклонений? Какое из значений эвиденциальности при этом выражается?

Употребляются ли формы со значением косвенной эвиденциальности в условном предложении?

В каких ситуациях возможно употребление форм 1 и 2 л. в высказываниях со значением косвенной эвиденциальности? Имеют ли высказывания с этими формами нейтральный характер или они передают дубитативное (или иное) значение?

Каким временным формам изъявительного наклонения в изучаемом вами языке соответствуют формы пересказывания?

Имеют ли высказывания с формами настоящего и будущего неочевидного времени значение дубитативности или какое-либо иное значение? Каково происхождение форм эвиденциальности в изучаемом вами языке (внутреннее развитие форм, восходящих к перфектному причастию, к перфекту, к глаголам речи, и/или ареальное явление – под воздействием контактов с другими языками)?

Если происхождение форм эвиденциальности связано с ареальными контактами, то желательно указать, совпадают ли данные категории в контактирующих языках.

Как оформляется описание ситуаций в фольклоре (текстах, передаваемых из уст в уста)?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Храковский В.С., Оглоблин А.К* Группа типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР: теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы // ВЯ. 1981. № 4.
2. *Якобсон Р.О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 101.
3. *Willett Th.* A cross-linguistic survey of the grammaticization of evidentiality // Studies in language. 1988. V. 12. № 1.
4. *Маслов Ю.С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981.
5. *Молошная Т.Н* Категория пересказывательности болгарского глагола // Советское славяноведение. 1989. № 2.
6. *Литвинов В.П.* Типологический метод в лингвистической семантике. Ростов, 1986.
7. *Givon T.* Evidentiality and epistemic space // Studies in language. 1982. V. 6. № 1.
8. *Насилов Д.М.* Конструкции с модальными словами *экан* и *эмиш* в узбекском языке // Категории глагола и структура предложения. Л., 1983.
9. Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. М., 1992.
10. *Sapir E.* The Takelma language of South-Western Oregon // Bureau of American ethnology. 1912. Bull. 40.
11. *Friedman V.A.* On the semantic and morphological influence of Turkish on Balkan Slavic // Papers from the fourteenth regional meeting Chicago linguistic society. April 13–14. 1978.
12. *Johanson L.* Aspekt im Turkischen. Uppsala, 1971. (=Acta universitatis Upsaliensis. Studia Turcica. 1.).
13. *Aksu-Koc A.A., Slobin D I.* A psychological account of the development and use of evidentials in Turkisch // Evidentiality: The linguistic coding of epistemology / Ed. by Chafe W., Nichols. J. Norwood (New Jersey), 1986.
14. *Friedman V.A.* The category of evidentiality in the Balkans and the Caucasus // American contributions to the Tenth International congress of slavists. Sofia, 15–21 September 1988 / Ed. by Schenker A., Stankiewicz E., Worth D. Columbus (Ohio), 1988.
15. *Friedman V.A.* Status in the Lac verbal system and its typological significance // Folia Slavica. 1984. V. 7. № 1–2. P. 137.
16. *Chung S., Timberlake A.* Tense, aspect and mood // Grammatical categories and the lexicon / Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985.

17. *Демина Е.И.* Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959. С. 332.
18. *Friedman V.A.* Toward a typology of status: Georgian and other Non-Slavic languages of the Soviet Union // The Elements: A parasession on linguistic units and levels. Chicago, 1979.
19. *Расторгуева В.С., Керимова А.А.* Система таджикского глагола. М., 1964.
20. *Кибрик А Е.* Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 2: Таксономическая грамматика. М., 1977.
21. *Woodbury A.C.* Interactions of tense and evidentiality // Evidentiality: The linguistic coding of epistemology / Ed. by Chafe W., Nichols. J. Norwood (New Jersey). 1986.
22. *Collinder B.* Survey of the Uralic languages. Uppsala, 1957. P. 155.
23. *Серебренников Б.А.* Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. М. 1960. С. 58.
24. *Comrie B.* Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge 1976.
25. *Щербак А.М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Глагол). Л., 1981. С. 94.
26. *Сытов А П.* Категория адмиратива в албанском языке и ее балканские соответствия // Проблемы синтаксиса языков балканского ареала. Л., 1979. С. 117.
27. *Lionnet S.* Le parfait en arménien classique. P., 1933.
28. *Jensen H* Altarmenische Grammatik. Heidelberg, 1959.
29. *Абраамян А.* Причастия армянского языка и их морфологическое значение. Ереван, 1953 (на арм. яз.).
30. *Jungmann P.* Partizipien und analytische Verbalformen im Klassisch-Armenischen und im (Neu)-Westarmenischen // KZ. 1975. Bd 89. Hf. 1. S. 135.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. З.Я. ТУРАЕВА

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ

Общей тенденцией, характеризующей сегодня стиль научного познания, является движение из сферы систем к центру всех этих систем – к человеку. Отсюда интерес к социальному, психологическому, коммуникативному аспектам языка. Этим объясняется "смена вех", смена ценностных ориентаций в науке – гуманизация лингвистики, выдвижение на первый план изучения языковой личности как Ego, определяющего семантическое пространство языка, как медиума для проникновения во внутренний мир персонажей художественных произведений. Для лингвистики текста, для лингвистической поэтики период ледостава сменился периодом ледохода. Сегодня чрезвычайно актуально изучение мыслительных процессов и социально значимых действий людей. Последние в значительной мере осуществляются через порождаемые и воспринимаемые личностью тексты. Лингвистика текста, таким образом, приобретает статус науки, связывающей исследование языка с анализом социального взаимодействия, с психологией личности. Личность и языковая личность – не тождественные, не изометричные понятия, но одна познается через другую.

Анализ социального взаимодействия, в свою очередь, связывается с изучением структуры знаний. Структура знаний – предмет когитологии, науки, парадигма которой складывается в настоящее время [1 – 3]. Она включает формирование знаний, их материализацию, передачу от человека к человеку, от поколения к поколению. Формирование знаний – двунаправленный процесс – от мира к слову и от слова к миру. Знания передаются через ритуалы, традиции. Большую роль играет знаковый способ передачи знаний – их материализация с помощью артефактов – текстов. Итак, с одной стороны, текст есть средство материализации знаний, с другой – любые тексты (публицистические, газетные, художественные) могут передавать не только фактическую, но и контрфактическую картину мира, при этом она может оказаться весьма действенной. Вспомним известные антиутопии: "Мы" Замятина, "1984" Оруэлла, "Brave New World" Хаксли, произведения Кафки, романы черного юмора американских неоавангардистов шестидесятых годов нашего столетия, наследие Платонова – "Котлован" и "Чевенгур" и мн. др. Лингвистика текста изучает, как трансформируется онтология мира в сознании людей с помощью текстов. С этим направлением смыкается изучение лингвистической демагогии и лингвистики лжи. Текст способен изменить модель мира в сознании получателя. Язык – это поверхностная структура, в которой с помощью текстов фиксируется модель мира, которую мы несем в своем сознании. Коммуникация – это вторжение в систему сознания реципиента, построение в его когнитивной системе определенной модели мира, не обязательно совпадающей с моделью мира говорящего и с онтологически существующей картиной мира. Таким образом, текст может обрести социальную силу. Это блестяще иллюстрирует современная российская проза, эссеистика, публицистика. Вспомним также социальную силу мифов, религиозных сочинений, морализующий роман дороги эпохи Просвещения и др.

Анализ текста, смысловой, семантической, синтаксической структур, его составляющих, изучение того, как протекают процессы понимания и порождения текста, есть изучение мыслительных процессов и социально значимых действий людей.

Далее, лингвистику текста интересует механизм того процесса, в результате которого, сознавая, что перед нами артефакт, мы способны переживать его как факт Другими словами, в результате этого процесса сбываются слова поэта: "Над вымыслом слезами обольюсь". Это подводит нас к еще одному важному положению – лингвистика текста связана с изучением морфологии словесного искусства. Здесь более чем в других сферах лингвистика текста смыкается со стилистикой, психологией творчества, психологией восприятия, прагматикой, с изучением специфических языковых средств, которые оформляют текст как единицу эстетической коммуникации. При этом особый интерес представляет не каноническая атрибутика художественного текста, а принципы эстетики языка, механизмы текстообразования, оказывающие эстетическое воздействие на реципиента.

Интерпретация текстов открывает путь к сознанию участников коммуникации и может воссоздать языковую личность – не только ее языковые способности, но и идеи, идеалы, ее тезаурус – по ассоциативным рядам, в которые сам автор вписывает свое произведение, по игре синонимическими и антонимическими рядами.

В связи с изучением морфологии словесного искусства в рамках лингвистики текста можно назвать несколько магистральных линий исследования:

1) изучение парадигматики художественного текста, поэтики ассоциаций. Парадигматика художественного текста устанавливает интрасемиотические соответствия между текстами, включает текст в континуум мировой культуры. Поэтика ассоциаций служит медиумом для проникновения во внутренний мир языковой личности, отражает ее вхождение в историко-культурный контекст или отторжение от него;

2) исследование антропоцентризма и антропометризма художественного текста;

3) изучение точки зрения и полипозиционности повествования; полипозиционности повествования и модальности художественного текста;

4) интерпретация семантики художественного текста, наблюдения над взаимодействием экстенсиональной и интенсиональной семантики;

5) изучение художественного текста в связи с теорией значения в ее двух основных блоках (речь идет о теории референции и теории употребления);

6) исследование языка не только как функциональной системы, осуществляющей общение, но и как системы, воплощающей культуру народа. Это общеэстетическая проблема отношения языка, действительности, искусства, проблема воссоздающего и преобразующего начала (мимикрия и трансформация), "отражение миров иных";

7) исследование приращений смысла, которые обнаруживают единицы всех уровней при включении в текст;

8) и, наконец, наблюдения над воздействием текста на всеобщие связи чувств, над тем, как осуществляется живопись словом и действует синестезия, как создаются живописно пластические образы в таких, скажем, строчках, как "повиснул дождь как легкий дым" (Фет) или в стихах М. Цветаевой: "Как живется вам с другою/Проще ведь? Удар весла! Линией береговою/Скоро ль память отошла / Обо мне, плавучем острове / По небу, не по водам! / Души, души! быть вам сестрами, / Не любовницами – вам!" (Попытка ревности).

Сказанное выше объясняет не только интерес к эстетической функции языка, но и к психологии владения языком, которую можно постигнуть, только обратившись к его носителю – человеку, языковой личности.

Текст есть продукт, порожденный языковой личностью и адресованный языковой личности. В тексте реализуется антиномия: системность / индивидуальность. В нем совмещаются типолого-генетические и индивидуальные черты. Системность есть результат давления системы, жанра, литературного направления, всего историко-культурного контекста. Индивидуальность текста есть проявление языковой личности художника. Однако художник свободен и одновременно не свободен. Он не столько демиург своего замысла, сколько его исполнитель, его действующее лицо. Он выбирает только в пределах того спектра возможностей, которыми располагает его эпоха. Он создает собственный идиолект, но этот идиолект определяется системой

национального языка. Таким образом, можно сделать еще один вывод: лингвистика текста связана с прагматикой, с философскими традициями, которые подчеркивают важность языка не только как умственной способности, но и как системы, воплощающей культуру народа. Вместе с тем в тексте предстает рефлектирующий ум его творца, высвечивается тот факт, что система всегда опосредована человеком.

Описание языковой личности через текст предполагает а) знание системно-структурного уровня организации языка, б) реконструкцию модели мира и тезауруса языковой личности, в) выявление ценностных координат личности, ее установок, мотивов [4, с. 38, 48–58]. В этой связи особое значение приобретает национальный и культурный компоненты. Они обнаруживают себя в ассоциативных моделях, где акцент делается на открытости текста, на внетекстовых структурах, на центробежных силах, действующих в тексте. Перестройке картины мира в сознании реципиента способствуют тропеические средства. Они связаны с нарушением прагматических максим, действующих в данном этносе, с "концептуальным скачком". Так, метафора вступает в систему ценностей, которую несет текст, как его органический компонент. Вне этой системы она начинает отличаться от самой себя. На первичную анизотропию, являющуюся онтологическим признаком метафоры, накладывается вторичная анизотропия, порождаемая текстом.

Вместе с тем метафора является показателем принадлежности к определенной культуре или отторженности от нее. В качестве примера можно привести символику раннего Блока и символику Ейтса. В основе символики раннего Блока лежит путь от конкретного к абстрактному, основная тема – тема обманутой надежды, которая связывается с темой кораблей, ушедших за горизонт и не вернувшихся назад ("Девушка пела в церковном хоре", "Ночная фиалка"). В основе символики Ейтса лежит другая универсальная категория – антропоморфизм и также движение от конкретного к абстрактному. Основная тема – ранняя Византия как царство гармонии, основной образ – птица Феникс, восстающая из пепла.

Текст мертв без акта познания. Без гносеологии нельзя восстановить текст, а без учета тезаурусного уровня нельзя описать языковую семантику, так как в слове совмещаются сфера языковой семантики и сфера знаний о мире, внеязыкового опыта. Под влиянием второй силы происходит постоянная деформация языкового значения слова. В слове сталкиваются две тенденции – одна к статичности и изотропии, другая к динамичности и анизотропии. Первая есть отражение стабильности языкового кода, вторая обнаруживает стремление к его постоянному обновлению в результате расширения познания как движущей силы прогресса.

В центре внимания лингвистики текста находится поведенческий характер значения, его связь с контекстуальными условиями употребления. Лингвистика текста концентрирует свое внимание не столько на стабильном значении, сколько на изменчивом содержании высказывания. В этом заключается подлинная связь лингвистики текста с традициями отечественной филологии (Ларин, Тынянов, Виноградов, Жирмунский), чешской школы (Долежел, Гаузенблас, Данеш), лондонской школы (Остин, Стросон, Сёрл).

Лингвистика текста изучает генезис литературного творчества. В тексте можно проследить дух эпохи, эманацию личности автора. Лингвистика текста совмещает два широко известных подхода к постижению произведения искусства: первый исходит из того, что сущность художественного текста заложена в его внутренней организации (ср. имманентность текстовой структуры, постулируемую описательной стилистикой и ее родоначальником Ш. Балли, и "автономный вербальный мир" П. Гиро), второй рассматривает текст как выражение личности художника, эпохи, истории народа (генетическая стилистика и "духовный этимон" Л. Шпитцера).

Совмещение двух подходов наблюдается во многих исследовательских моделях отечественной лингвистики. Это имманентный и проекционный методы В.В. Виноградова, внутритекстовые и внетекстовые структуры Ю.М. Лотмана, замкнутый

и открытый анализ К.Ф. Тарановского, "петербургский текст", открытый В.Н. Топоровым у Ф. Достоевского, А. Белого, А. Блока и др.

Эти модели связаны с изучением поэтики ассоциаций, парадигматики художественного текста, в терминологии Ю.Н. Караулова, со способами существования прецедентных текстов [4, с. 215, 237]. Для поэтики ассоциаций релевантен семиотический способ существования прецедентных текстов. В этом случае в качестве знака текста выступает цитата, аллюзия, заголовок, метафора. Как упоминалось выше, по своей природе метафора анизотропна, так как в ней совмещаются разные сущности, создаваемые на основе ассоциативных связей человеческого опыта. В результате возникает новый гносеологический образ, новый "гештальт" [5]. Метафора, а вслед за ней и использующий ее текст, соединяет гетерогенные сущности и порождает новые образы, новый возможный мир. Прецедентные тексты, которые могут представать в форме метафор, цитат, аллюзий, дают импульс к работе ассоциативной памяти. В этом случае прецедентный текст выступает как семиотическая система.

В качестве примера приведем повторяющуюся в разных знаковых системах метафору, образ которой представляют мчащиеся без всадников кони, мчащиеся "и в никуда, и в никогда". Метафора превращается в символ, в эстетический знак разоренной, опустошенной земли, в символ трагедии, постигшей отдельную личность, народ, человечество.

Сквозь белый фундамент трава прорастет,
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.
И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников – мчаться и ржать.

(А. Вознесенский)

Та же метафора повторяется в фильме Калатозова "Летят журавли", в фильме Аскольдова "Комиссар", в фильмах Бергмана.

Всякий словесный образ рождается на пересечении трех уровней – вербально-ассоциативного (системно-структурного), тезаурусного (образ мира, система знаний о мире) и мотивационного (деятельностно-коммуникативного). Именно поэтому для характеристики языковой личности такую большую роль играет поэтика ассоциаций, тот парадигматический ряд, в который личность вписывает художественный или публицистический текст. Прецедентные тексты, значимые для той или иной личности в эмоциональном и познавательном планах, могут иметь как личностный, так и сверхличностный (социальный) характер. Например, пророчества Екклесиаста входят в творчество Э.Во. в виде аллюзивной цитаты в названии его романа "A Handful of dust", в творчество Т.С. Элиота в поэме "Бесплодная земля": "I will show you fear in a handful of dust and eternity in a grain of sand".

Лингвистика текста опирается на комплексное изучение творчества, на наблюдения над эволюцией художественного мышления, воплощающейся в различных сторонах текста. Их следует рассматривать в широком контексте исторической поэтики, изучающей формы и способы художественного осмысления бытия. В сложной опосредованной форме художественное творчество отражает становление национальной культуры, вечно меняющуюся картину реального мира. Ограничимся одним примером – портретной характеристикой. Ее следует рассматривать как порождение определенных литературных стереотипов, сменяющих друг друга. В английской литературе X–XX вв. портретная характеристика приближает нас к исследованию человека, принадлежащего определенной эпохе [6]. Со страниц древнего эпоса, средневекового рыцарского романа встает "корпоративный" человек, который представляет собой некий символ своего времени. Лишь постепенно он вытесняется индивидуальным человеком, который при этом остается человеком той или иной эпохи, но литература и объект лингвистики текста – текст – отражают не только

общие черты, но и "лица необщее выражение", психологию личности. Изменяется и характер использования лексических единиц. Значительно интенсивнее проступает и асимметричный дуализм языкового знака – именно в сфере эстетических знаков суггестивность поэтического слова, амбивалентность семантики особенно очевидны.

История лингвистической науки есть смена различных парадигм; в терминологии Ю.С. Степанова, семантическая парадигма, или философия имени, сменилась синтаксической парадигмой, или философией предиката, и, наконец, на смену им пришел иной подход – прагматическая парадигма (философия эгоцентрических слов) [7]. В модели Ю.Н. Караулова выделяются четыре парадигмы в истории языкознания: историческая, психологическая, системно-структурная и социальная [4]. Исторический путь, который прошла наша наука, показал неизбежность выдвижения (гипостазирования) одной из парадигм с целью более глубокого постижения объекта, что, однако, неизбежно приводило к одностороннему его рассмотрению. Вместе с тем стилистика и лингвистика текста, может быть, платят меньшую контрибуцию в силу онтологических и гносеологических свойств изучаемого объекта – текста, в котором совмещаются структурность, социальность и психологичность. Текст обладает интегрирующими свойствами, и прежде всего в нем через творящее его Ego (языковую личность) воплощаются как разные стороны языка, так и изучающие их разные парадигмальные составляющие лингвистической науки.

Именно текст есть отражение обращения современной науки к языковой личности. Структура языковой личности и ее манифестация определяют классическую проблематику соотношения языка и мышления, языка и действительности, искусства и действительности, языка и социального взаимодействия. Таким образом, текст как воплощение языковой личности есть интегрирующий феномен лингвистической парадигмы. За текстом стоит система языка и языковая личность и многофакторный процесс номинации, суггестивность слова вообще и поэтического слова в первую очередь.

В связи со сказанным выше о сближении лингвистики текста с когитологией растет значимость категории модальности как понятийной категории, связанной с важными аспектами бытия и его преломлением в сознании и языке. В основе этой категории лежат универсальные категории логики, организующие рациональное сознание. На них наслаиваются оценочные и эмоционально-экспрессивные оттенки смысла. Категория модальности рассматривается нами как всеобъемлющая категория, поглощающая целевую коммуникативную установку автора и категорию оценки. Изучение структур, передающих разные типы модальности, прибретает новую окраску и новую значимость.

Оценка действительного или возможного мира, принятие решений связаны с наличием альтернатив, с онтологизацией значений. Одна из важнейших оценок, входящих в структуру категории модальности, есть оценка истинности. Изучение средств управления истиной приобретает первостепенное значение. Мощным средством управления истиной является язык, как естественный, так и художественный. Модели мира, создаваемые в текстах, могут осуществлять своеобразную "трансформацию онтологии мира". Отсюда важность интепретации текста, новых исследовательских стратегий восприятия текста, включающихся в когитологию.

Механизмы восприятия речи/текста представляют определенную антиномию: они подчиняются социокультурным нормам, но в то же время строго индивидуальны. Поэтика ассоциаций, парадигматика художественного текста, социальный и историко-культурный контекст руководят стратегией восприятия (ср. проекционный метод, открытый анализ, внетекстовые структуры). Однако в сознании реципиента не все нормы функционируют. Оно контролируется языковой личностью реципиента, его тезаурусом, ценностно-ориентационной шкалой.

Между *модальностью высказывания и модальностью текста* нет полного изоморфизма. В основе и той, и другой лежат понятия действительного, возможного, необходимого и их оценка говорящим. В рамках модальности высказывания

действуют такие представления об истинном/ложном, реальном/ирреальном, когда интенсиональная и экстенсиональная семантика не противопоставлены, а симметричны. В отличие от этого художественный текст представляет собой конструкт, где ничто не имеет однозначного соотношения с реальностью.

Референциальная соотнесенность художественного текста обусловлена взаимодействием различных установок в процессе художественного моделирования – отражательной и креативной, а также рядом сущностных характеристик художественного текста – амбивалентностью семантики, множеством интерпретаций. Для понимания особенностей отнесенности художественного текста к действительности релевантны понятия "имитированной референции" (Дж. Сёрл) и "референциальной аллюзии" (Р. Барт). Реальная референция имеет место преимущественно в исторических произведениях и в мемуарной литературе и не характерна для других жанров Возможна референциальная соотнесенность художественного события с реальным, с внутренним референтом и с аналогичным художественным событием в другом тексте (интратекстуальные связи).

Представляется целесообразным рассмотрение структуры модального значения в терминах экстенсионала/интенсионала (Р. Карнап, Ю.С. Степанов). Экстенсиональная сфера семантики предполагает предметную, денотативную соотнесенность, интенсиональная – понятийную, сигнификативную. В художественном тексте отсутствует симметрия экстенсиональной и интенсиональной семантики. Экстенсионалом является не конкретное событие, а фрагмент универсума или весь универсум. Литературный текст – это произведение, где высказывание может быть интенсионально истинным, а экстенсионально ложным [сказки, научная фантастика, триллеры, произведения смешанных жанров (Ч. Айтматов "И дольше века длится день", М. Булгаков "Собачье сердце" и др.)] или неопределенным (основной массив литературы романтизма, реализма и др.). Переакцентуация значений реального/ирреального, истинного/ложного в художественном тексте определяется: 1) жанровыми особенностями произведения; 2) индивидуально-стилевым своеобразием произведения.

Учитывая сложную семантику художественного текста (сочетание представления о действительности и вымысла), следует говорить не о жестком противопоставлении истинного/ложному, а о приоритете одного значения перед другим. В зависимости от категории модальности – приоритета реального или ирреального – можно предложить определенную типологию текстов. Для просветительского романа и для реалистического романа, для психологической и философской прозы, для викторианского романа нравов, для "рабочего" романа 60-х годов, для социального романа 30-х годов нашего столетия характерен приоритет реального перед ирреальным. Для жанров, в которых отклонение от жизненного стандарта – норма, характерен приоритет ирреального перед реальным. Это – героические поэмы, готический роман, рыцарский роман, приключенческая литература, фантастика, мифы. То же характерно для художественного метода гротеска гиперболы, сатиры, бурлеска, фарса. Заданность жанра и метода обусловливает соотношение основных компонентов значения модальности.

Приведенная выше типология жанров в связи с реализацией основных значений категории модальности может быть соотнесена с типологией модусов вымысла, разработанной Н. Фраем [8]. Он предлагает пять уровневых различий в зависимости от того, как способность героя к действию соотносится с нашей собственной. Если способности героя к действию превышают способности среднего человека, литературное произведение характеризуется высоким миметическим модусом. Н. Фрай разграничивает количественно и качественно более высокий уровень способностей. Качественно более высокий модус иллюстрируют мифы, легенды, количественно – рыцарские романы, высокие классические трагедии, эпические поэмы. Литературное произведение может характеризоваться низким миметическим уровнем, когда способности героев ниже способностей среднего человека. К числу таких произведений относятся низкая комедия нашего времени, абсурдистские произведения. Низкий миметический уровень иллюстрируют герои Ч. Чаплина. По мнению Фрая, герой

Чаплина – маленький человек как жертва иронии или злосчастья – вновь приближается к мифу. Возможности героев близки к нашим в социально-бытовом романе, в романе о среднем человеке. Произведения, где возможности героев значительно отличаются от способностей среднего человека, меняют характер модальности. Текст начинает постулировать другой, альтернативный смысл, отрицает обычную систему ценностей (ср. трактовку смысла текста у деконструктивистов [9,10]). В таких случаях действие находится вне нашей понятийной системы, как это имеет место, например, в рассказе М. Спарк "Портобелло Роуд", где повествование ведется от лица женщины, убитой пять лет назад. Такие произведения дают новое понимание нашего опыта. Автор в этих случаях творит реальность. Категория модальности с ее значениями реального/ирреального участвует в создании новой системы координат, в новом осмыслении бытия. Проективность литературы как бы оборачивается новой стороной. Это первая и основная антиномия между модальностью высказываний и модальностью текста.

Для художественного текста характерна вариативность и полифония тем и смыслов. Она оказывает непосредственное влияние на модальность текста. Множественность и вариативность тем и смыслов определяют полимодальность текста. Как характерная черта произведения искусства она уходит своими корнями в далекое прошлое. Она прослеживается в античной мениппее, которая по своим жанровым характеристикам представляет сочетание фантастики и символики, мистико-религиозных элементов и грубого натурализма.

Основная сущностная характеристика мениппеи – наличие амбивалентностей. Ее можно видеть в тех произведениях нашей эпохи, где сцепляются далекое и близкое, фантастическое и реальное (ср., например, Т.С. Элиот "Бесплодная земля", Дж. Фаулз "Маг"). Отсюда и различные планы категории модальности текста. Основные значения, передаваемые категорией модальности (возможность, действительность, необходимость), оставаясь константными, постоянно переосмысляются.

Интерес представляет совмещение нескольких возможных миров, несколько полных и равноценных кругозоров, "множественность неслиянных сознаний". Такие равноценные кругозоры, каждый из которых порождает свой возможный мир со своими кардинальными понятиями истинности, возможного, необходимого, действительного, находим у Блока ("Девушка пела в церковном хоре"), у Гумилева ("Жираф"), у Фаулза ("Загадка", "Женщина французского лейтенанта") и во многих других произведениях словесного искусства. Легче всего это проследить на аксиологической, оценочной модальности. Ценностная шкала в художественном тексте может меняться в силу отсутствия референциальной идентичности субъекта оценочного отношения. Многофокусность оценки особенно очевидна, когда субъект оценочной структуры меняется в связи с полифонической структурой произведения. Функция этих переключений из одного сюжетного плана в другой заключается во введении нового возможного мира – эпистемически допустимого мира (Я. Хинтикка).

Противопоставление модальности высказывания текстовой включает и антиномию "мономодальность/полимодальность". Модальность высказывания характеризуется мономодальностью (субъект оценки не изменяется). Для текстовой модальности возможна полимодальность – субъект оценки может неоднократно меняться. Полимодальность связана с многофокусностью повествования. При этом модальность ставится в зависимость от дистанционированности повествователя и перспективы, от фокуса повествования. Определяющим компонентом становится точка зрения. Для определения модальности всего текста или какого-либо фрагмента важно ответить на вопросы: Кто повествователь? Кто видит, кто говорит? Чья точка зрения направляет повествование? Сошлемся на точку зрения Ж. Жерар: "Distance and perspective are the two chief modalities of that regulation of narrative information that is mood. Mood is the name given to the different forms of the verb that are used ... to express the different points of view from which the life or the action is looked at" [11].

Полимодальность характерна для таких типов повествования, где постоянно изменяется фокус. Примерами могут служить "Мадам Бовари" Флобера, где точкой

зрения бывают то взгляды Шарля, то Эммы, "Шум и ярость" Фолкнера, где повествование перепоручается то Бенджи, то Квентину, то Джейсону, "Манон Леско" аббата Прево и многие другие произведения мировой литературы.

С проблемой фокуса изображения смыкаются понятия "ближнего/дальнего локуса" [12]. "Ближний локус" характеризуется замкнутостью на лирическом субъекте. Это область несвободы заполняющих ее предметов и явлений, область мыслей и чувств Вторая область, "дальний локус", не имеет пространственных и временных границ Лингвистическим средством выражения "ближнего локуса" является лексика, тяготеющая к обозначению понятий, сигнификатов и не имеющая реальных референтных аналогов. Средством выражения "дальнего локуса" является денотативная лексика, тяготеющая к обозначению предметов внешнего мира. Перформативные и модусные глаголы передают внутреннюю позицию ("ближний локус"): "И вечный бой! Покой нам только снится / Сквозь кровь и пыль / Летит, летит степная кобылица / И мнет ковыль..."(А. Блок). Модусный глагол описывает ментальное состояние субъекта. Вводные слова, выражающие сомнение, проблематичность, служат для выражения "дальнего локуса" (помогают занять внешнюю позицию): "She didn't make a sound, she seemed so surprised, I got the pad I'd been holding in my pocket right across her mouth and nose..." (J. Fowles. The Collector)`; Perhaps you want a good story for your film? Well, it isn't a good story. He just fell off, that's all" (J. Mortimer, Charade).

Модальность высказывания и текстовая модальность могут быть противопоставлены еще по одному параметру: эксплицитность/имплицитность. Средства выражения модальности высказывания неоднократно описывались и представляют собой конечный инвентарь: речь идет о наклонении как ядре языковой категории модальности, коммуникативных и структурных типах предложения, лексических и лексико-грамматических средствах (модальная лексика, перформативные и модусные глаголы, авторизующие конструкции, словообразовательные средства [ср. англ. *payable, inconsolable, capable* (суф.*-able*), русск. *способный, ударный* (суф. *-н-*) и др.].

Средства выражения текстовой модальности еще предстоит изучить, как предстоит определить и их распределение по ядерной и периферийной зонам. Наряду с лингвистическими средствами следует учитывать и экстралингвистические средства – членение текста, композицию произведения, амбивалентность субъекта (ср. с другими категориями текста). Если модальность высказывания выражается эксплицитно, то текстовая модальность может выражаться как эксплицитно, так и имплицитно.

Теория значения включает два основных блока – теорию референции и теорию употребления. Теория употребления отражает поиск коммуникативных параметров языка, обеспечивающих не абстрактный обмен информацией, а реальный процесс общения, который включает не только информативное содержание высказывания, но и воздействие на адресата, управление его деятельностью. Рассмотрение только референциального аспекта – значений истинности/ложности пропозиции, логической совместимости/несовместимости описываемых событий – не исчерпывает анализа категории модальности.

Семантика должна быть дополнена прагматикой. Прагматический аспект высказывания, как известно, содержит информацию об условиях коммуникации, учитывает фактор ролевых отношений, отражает разнообразные данные, концентрирующиеся вокруг говорящего субъекта. Изучение прагматического контекста знаменует переход от анализа стабильного значения к анализу изменчивого содержания высказывания.

В отличие от теоретико-модальной логики и ее математического аналога – логики возможных миров, где основные содержательные категории сводятся к отношениям предложения к действительности, в прагматическом контексте центром смыслового пространства становится человек. Значение приобретает поведенческий характер, и высказывание оказывается неотделимым от прагматической ситуации. Истинность высказывания зависит не только от возможного мира, но и от контекста и его координат – говорящего, слушающего, времени, места, другими словами, от положения вещей [13]

Учитывая сказанное, можно предложить следующую типологию контекстов[1] для анализа категории модальности.

1. Реалистический ситуативный фон (совмещение интенсиональной и экстенсиональной семантики) – то, что имеет место или может иметь место в реальном мире: "Дочь забудет, жена изменит, /Друг предаст, все проходит, проходит, /но ошибся безжалостный Екклесиаст, / ничего не проходит" (С. Липкин).

То, что мы воспринимаем благодаря реалистическому ситуативному фону, есть своего рода эхо в восприятии, соответствующее нашим представлениям. Вначале высвечиваются какие-то вечные истины – способность людей к измене, забвению, предательству. Далее происходит упорядочение нашего опыта и наконец возникает новый смысл – поэт вступает в спор с моралью Екклесиаста.

2. Нереалистический ситуативный фон – то, что могло бы иметь место, но не произошло: "Когда б не доблестная кровь/текла в вас – я б молчал" (Н. Некрасов); "Ветер шатает избенку убогую. /Весь развалился овин./Словно шальная пошла я дорогою /Не попадется ли сын? /Взял бы топорик – беда поправимая / Мать бы утешил свою. / Умер, Касьяновна, умер, родимая. / Надо ль? Топор продаю" (Н. Некрасов)

3. Эпистемологический ситуативный фон (то, что известно): "Я знаю, что много чудесного видит земля./Когда на закате он прячется в мраморный грот" (Н. Гумилев); "I only know what hunted thought / Quickened his step and why / He looked upon the garish day / with such a wistful eye" (O. Wilde).

4. Сочетание реалистического и эпистемологического фона: "Я скажу тебе с последней /Прямотой / Все лишь бредни, шерри-бренди, /Ангел мой Там, где эллину сияла /Красота, /Мне из черных дыр зияла Срамота. Греки сбондили Елену /По волнам, /Ну а мне – соленой – пеной/По губам (О. Мандельштам). Здесь следует отметить ту немаловажную роль, которую играет поэтика ассоциаций в интерпретации картины мира, общие фоновые знания говорящего и слушателя, как языковые, так и неязыковые. Как видим, здесь присутствует перформативная форма глагола *скажу*. Однако все высказывание представляет собой косвенный речевой акт и означает значительно больше, чем простая констатация определенных фактов Оно в неконвенциональной форме содержит побуждение, направленное на слушателя или читателя, заставляя его разделить ту оценку, которая дается в экспозиции к стихотворению. Иллокутивная сила этого высказывания выходит за рамки репрезентатива и имплицитно предполагает другую пропозицию с другим иллокутивным воздействием – это не просто информация, а навязывание определенной картины мира.

5. Деонтический ситуативный фон (то, что приказано): "I never saw a man who looked /With such a whistful eye/ Upon that little tent of blue/ Which prisoners call the sky... The man had killed the thing he loved, / And so he had to die" (O. Wilde).

6. Стереотипный ситуативный фон (то, что обычно имеет место): "По вечерам над ресторанами / Горячий воздух дик и глух,/ И правит окриками пьяными / Весенний и тлетворный дух. // И каждый вечер, за шлагбаумами / Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами / Испытанные остряки. // И каждый вечер, в час назначенный, / (Иль это только снится мне?) / Девичий стан, шелками схваченный, / В туманном движется окне" (А. Блок); "И ведь бывало охотно /Шла ты ко мне вечерком / Как мы с тобой беззаботно / Веселы были вдвоем" (Н. Некрасов); ср. также:

He was in the fields, when I set out.
He was in the fields, when I came back.
In between, what long hours,
What centuries must have elapsed.

(P C Thomas)

[1] Вместо термина "контекст" в дальнейшем будет использоваться термин 'фон" по аналогии с термином, предложенным А Кратцер, – "background" [14] Предпочтение было отдано этому термину, так как он может вмещать ситуативную и контекстуальную информацию

Предложенная выше типология правил описания модальных ситуаций определяет характер познавательных процессов. Эпистемологический и реалистический (обстоятельственный) модальный фон предполагают различную категоризацию фактов.

Моделирование процесса порождения и восприятия речи связано с модальностью. Этим объясняется возросший интерес к изучению модальности, который можно сравнить с "бумом" исследований по метафоре. В основе этого интереса лежит рассмотрение языка как средства социального взаимодействия, как социокультурного феномена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1988.
2. Философия, логика, язык. М., 1987.
3. *Дейк Т.А.* ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
4. *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
5. *Телия В.Н* Метафора в языке и тексте. М., 1988. С. 4.
6. *Ижевская Т.И.* Становление лингвистических форм и способов внешней характеризации персонажа в художественном тексте: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1988. С. 11 и сл.
7. *Степанов Ю.С.* В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
8. *Frye N.* Anatomy of criticism. Princeton, 1971.
9. *Derrida J.* La disseminotion. P., 1972
10. *Ильин И.П.* Теория знака Ж. Дерриды и ее воздействие на современную критику США и Западной Европы // Семиотика. Коммуникация. Стиль. М., 1983. С. 193.
11. *Gerard G.* Narrative discourse. Oxford, 1986. P. 162.
12. *Смирнов И.А.* Причинно-следственные структуры поэтических произведений. Исследования по этике и стилистике. Л., 1972.
13. *Stalnaker R.C.* Pragmatics // Semantics of natural language. Dordrecht, 1972.
14. *Kratzer A.* The notional category // Words, worlds and contexts. New approaches in word semantics / Ed. by Eikmeyer H.-J. and Rieser H.B.; N.Y., 1981.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

© 1994 г. Е.Е. КОРДИ

БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

(Синтактико-деривационный и типологический подход)

1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом настоящего исследования являются глаголы и синтаксические конструкции французского языка, обозначаемые в грамматике терминами "безличные" (verbes impersonnels, constructions impersonnelles) [1, с. 283; 2, с. 324] или "одноличные" (verbes unipersonnels, constructions unipersonnelles) [3, с. 463]. Безличные конструкции (БК) представлены, например, в предложениях:

(1) *Il pleuvait à Brest* "В Бресте шел дождь".

(2) *Il se passait quelque chose de neuf* "Происходило что-то новое".

(3) *Il est facile de rire de soi dans les petites choses* "Легко смеяться над собой в мелочах".

Задачей настоящего исследования является описание безличных конструкций (БК) и их классификация по типологически релевантным параметрам, с тем чтобы полученные результаты могли быть использованы при типологической классификации языков.

К каждому языковому явлению возможен подход или со стороны содержания, или со стороны формы. При типологических исследованиях часто выбирается одна грамматическая категория и сопоставляются способы ее выражения в разных языках. Таковы, например, многие коллективные монографии, выполненные в Лаборатории типологических исследований ИЛИ РАН [4–6]. В этих работах анализ производится по алгоритму "от содержания (или грамматической функции) к форме".

Особенность избранной в настоящей статье темы состоит в том, что БК во французском языке выделяются не по семантическому признаку, а по ряду формальных признаков, а именно по тому, что что сказуемое в них выражается финитным глаголом или глагольно-именным оборотом[1] в 3 л.ед.ч., а подлежащее – референтным "пустым" местоимением *il*, омонимичным личному местоимению 3 л.ед.ч.м.р. *il*. Различие между ними семантическое: личное местоимение *il* замещает существительное, которое всегда может быть восстановлено из контекста или ситуации, тогда как безличное местоимение не является заместителем существительного и не имеет референтной соотнесенности. Оно выполняет чисто грамматическую функцию, занимая позицию подлежащего при финитном глаголе, поскольку финитные глаголы во французском языке во всех наклонениях, кроме повелительного, должны, как правило, иметь подлежащее.

Кроме этой, основной для французского языка, разновидности БК с так называемым формальным подлежащим, существует еще одна разновидность, которую

[1] Безличными глагольно-именными оборотами мы называем стабильно употребляющиеся в языке сочетания безличного глагола и имени существительного или прилагательного (или существительного с определением, выраженным прилагательным), например: *Il fait nuit* "темно", *il est nécessaire* "необходимо", *il fait beau temps* "хорошая погода".

мы называем бесподлежащной. В современном языке бесподлежащные конструкции можно считать производными от конструкций с формальным подлежащим[2]. Они образуются тремя способами: а) опущением безличного местоимения (в разговорной речи): (4) – *Faut pas avoir si peur, – fit-il* "–Не нужно так бояться", – сказал он. ← *Il ne faut pas avoir si peur*; б) опущением безличного местоимения вместе с глаголом-связкой *être* или оборотом *il y a*, так что предложение начинается сразу с предикатива: (5) *Inutile d'entendre pour comprendre.* "Нет нужды слышать, чтобы понять". ← *Il est inutile d'entendre…*; в) опущением безличного местоимения *il* и вынесением на первое место в предложении обстоятельства: (6) *Peu m'importait que la solitude n'existait plus pour moi: au contraire, j'étais toute à la joie de lui avoir échappé* "Мне было неважно, что одиночество больше не существовало для меня: напротив, я была в восторге, что избавилась от него. ← *Il m'importait peu.* .

Употребление БК без формального подлежащего характерно, главным образом, для разговорной речи или – при любом стиле речи – для идиоматических образований. В художественных текстах бесподлежащные конструкции составляют, по данным нашей картотеки, не более 5–6% среди других БК. Нормой для современного литературного языка являются конструкции с безличным местоимением.

Таким образом, БК выделяются нами по некоторому набору формальных признаков. Вопрос заключается в том, соответствует ли это формальное единство содержательному единству или за ним стоит разное семантическое содержание.

Теоретически здесь возможны два подхода: 1) поиски единого грамматического значения, присущего БК, и 2) отказ от поисков единого грамматического значения у БК, исходя из принципа асимметрии означающего и означаемого. Согласно этому принципу единство формы не предполагает обязательного единства значения, одна форма часто маркирует несколько значений, а одно значение может выражаться рядом форм. Этот второй подход представляется по отношению к БК более перспективным.

2. ТРАКТОВКА БЕЗЛИЧНОСТИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Теоретический аспект проблемы)

В грамматиках французского языка обычно есть специальные главы, посвященные БК [1–7]. Кроме того, в ряде статей и диссертаций рассматриваются вопросы функционирования и семантики БК во французском языке [8–12] и в более общем типологическом плане [13]. В ряде работ отмечается связь безличности с категориями лица [1; 3], залога [10; 12], с понятиями подлежащего и субъекта [13; 14], с исходностью и производностью предложений [8; 12–14].

Классифицируя безличные глаголы, грамматисты обычно различают среди них постоянно безличные и окказионально безличные. Последние могут употребляться как в личной, так и в безличной конструкциях. Например, в работе [2, с. 324–325] различаются глаголы постоянно безличные (verbes statutairement impersonnels) и безличные в результате трансформации (verbes impersonnels par transformation). У первых безличность является неотъемлемым свойством, тогда как у вторых это свойство может возникать в результате преобразования личной конструкции. Разные авторы относят к числу постоянно безличных неодинаковое количество глаголов. Например, Дамурет и Пишон относят к ним обороты *il faut* "нужно" и *il y a* "имеется" (*avoir* в сочетании с местоименным наречием *y* трактуется как особый глагол) [3, с. 468]. Более обоснованным представляется мнение, согласно которому к числу постоянно

[2] Исторически формирование БК происходило в обратном порядке: в старофранцузском языке они были бесподлежащными, местоимение *il* начинает употребляться в них с XII в. и постепенно получает все большее распространение [1, с. 285]. В современном языке остались еще безличные обороты, где изначально отсутствует местоимение *il* (преимущественно в идиоматических оборотах, пословицах)

безличных относятся в первую очередь глаголы, обозначающие природные явления и процессы. Грамматика Ларусс трактует как постоянно безличные глаголы, обозначающие природные процессы, и "презентативы", т.е. обороты *il est* "есть", *il y a* "имеется" [2, с. 324–325].

Большое внимание в литературе уделяется вопросам синтаксического членения безличных предложений (БП). Относительно просто решается этот вопрос, если БП состоит из местоимения *il* и глагола. В этом случае местоимение рассматривается как формальное подлежащее при глаголе-сказуемом [7, с. 316]. Затруднения в синтаксическом членении возникают главным образом в тех случаях, когда БП образуется в результате трансформации личной конструкции в безличную, а слово, занимавшее позицию подлежащего, т.е. место перед сказуемым, в БП ставится за глаголом-сказуемым. Таково, например, рассматриваемое в [3, с. 468] предложение:

(7) *Il vous arrivera mademoiselle Flore Brazier dans quatre heures d'ici.* "К вам прибудет мадемуазель Флора Бразье через четыре часа".

Поскольку позиция подлежащего занята безличным местоимением, трудность состоит в определении синтаксической функции словосочетания *mademoiselle Flore Brazier*, следующего за сказуемым, для обозначения которого принимается термин "секвенция" (séquence), впервые введенный Ф. Брюно [1, с. 290]. Представители традиционной грамматики придерживаются теории двойного подлежащего, в которой безличное местоимение трактуется как формальное подлежащее, а секвенция – как содержательное подлежащее. Эту точку зрения поддержали Ж. Дамурет и Эд. Пишон [3, с. 471], с той разницей, что они употребляют свои оригинальные термины. Напротив, Ф. Брюно склонен скорее считать секвенции дополнениями. Однако, анализ разных случаев приводит его к мысли, что не всегда возможно рассматривать их как дополнения, в результате чего Ф. Брюно отказывается трактовать эти выражения в терминах членов предложения, считая достаточным само их обозначение как секвенций [1, с. 290–291].

Ни одно из предложенных решений не убеждает полностью. Постулирование двойного подлежащего спорно, поскольку наличие в предложении двух подлежащих – формального и реального – не предусматривается теорией членов предложения. С другой стороны, приписывание секвенции роли дополнения имеет основание только тогда, когда глагол-сказуемое обладает валентностью на дополнение, т.е. далеко не во всех случаях.

Трудности, возникающие при попытках анализа по членам предложения некоторых БП, свидетельствуют, по нашему мнению, о том, что теория членов предложения в ее классическом виде не обладает достаточной объяснительной силой, чтобы позволить бесспорным образом анализировать все типы БП. Это можно объяснить тем, что названная теория создавалась на материале непроизводных предложений. Между тем, подавляющее большинство БП во французском языке – это предложения производные.

В последние десятилетия были предложены синтаксические теории, устанавливающие различие между исходными (непроизводными, базисными) и производными конструкциями, такие как деривационный синтаксис [16–17] и реляционная грамматика [14; 18–19]. Работы последнего направления позволяют судить о том, что в производных предложениях есть такие грамматические отношения (или члены предложения), которые не свойственны исходным предложениям. Так, теория реляционной грамматики утверждает, что в процессе синтаксической деривации происходит "продвижение" именных групп с исходной синтаксической позиции в более высокую ("повышение") или более низкую ("понижение") позиции. В связи с этим новые члены предложения в производных конструкциях не сохраняют полностью всех исходных свойств и, кроме того, появляются такие члены предложения, которые не входят в первоначальный список. В частности, для того члена производного предложения, который получен в результате понижения именной группы из позиции подлежащего, принят термин "шомёр". Представляется, что подход с точки зрения деривационного

или реляционного синтаксиса (рассмотрение и описание членов производного предложения) мог бы быть более целесообразным при анализе БП, чем подход с позиций традиционной теории членов предложения.

В современной романистике изучение безличности ведется в основном в рамках двух грамматических теорий: порождающей грамматики [8–9] и психомеханической теории [10]. Их подходы к БК различны. Представитель порождающей грамматики Д. Гаатон сформулировал следующее положение: "Всякое безличное предложение в той мере, в которой оно не является лексикализованным, может рассматриваться как производное от соответствующего личного предложения при помощи правила трансформации" [9, с. 389]. Безоговорочное причисление всех нелексикализованных безличных предложений к производным связано с тем, что исходное (базисное) предложение в этой теории записывается в виде "синтагматического показателя" SN + SV (именная синтагма + глагольная синтагма). Безличное предложение, не имеющее полноценной именной синтагмы, рассматривается как производное от предложения, имеющего такую синтагму.

Иной подход к БП принят представителями психомеханической теории. В частности, Ж. Муанье считает БП, обозначающие явления природы, исходными или базисными [10], что представляется совершенно справедливым. Возможность такой трактовки дает принятое в этой концепции представление о форме исходного минимального высказывания, где глагольная лексема сочетается только с показателем лица, каковым является местоимение *il* в БП. Грамматическое значение безличности определяется в этой теории через понятие "мирового лица", противопоставленного "человеческому лицу". Однако в этой концепции понятие "мирового лица" распространяется на все случаи употребления БК, и тем самым все случаи объединяются одним значением.

Более целесообразным при изучении безличности представляется подход, согласно которому БК маркируют разные языковые процессы. Безличность как форма может быть обусловлена семантически и грамматически. Семантически она обусловлена тогда, когда БК обозначают бессубъектный процесс, т.е. природные, погодные, метеорологические явления, в которых обычно человеческое сознание не вычленяет субъекта [см. (1)].

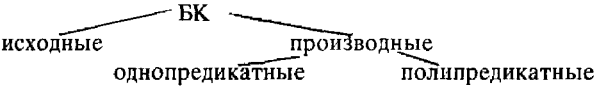
В этих случаях нереферентное местоимение *il* маркирует реальную бессубъектность. Типологически такое употребление БК является в разноструктурных языках наиболее частотным и приближается к типологической универсалии. Однако, есть языки, в которых БК не применяются для обозначения природных процессов (по свидетельству В.С. Храковского таким языком является арабский).

В других случаях, когда нет реальной бессубъектности, БК употребляются для маркировки различных грамматических значений [см., например (2) и (3)]. В таком языке, как французский, где при финитном глаголе обязательно употребление имени или местоимения-подлежащего, безличное *il* может служить для заполнения первого места в предложении, если, по каким-нибудь причинам, необходимо поместить субъект после глагола-сказуемого. Этим французская система языка сближается с английской и немецкой и отличается от русской, где возможно употребление финитного глагола без подлежащего. Различия в системах языков являются причиной того, что грамматические процессы, которые маркируются показателем безличности, не универсальны и варьируются от языка к языку. Но и в этой области между различными языками можно обнаружить черты сходства. Применение функционального критерия позволяет выявить грамматическую функцию БК, маркирующую грамматические процессы.

Таким образом, мы предлагаем различать два типа безличности – безличность, обусловленную семантически, и безличность, обусловленную грамматически, являющуюся способом маркировки различных грамматических значений.

Помимо этого основного критерия, в настоящей работе в основу классификации БК положены следующие признаки: исходность/производность (деривационный и однопредикатность/полипредикатность (синтаксический).

Между этими признаками существует иерархическая зависимость, представленная на следующей схеме:



Исходным БК и входящим в них глаголам и оборотам присущи следующие характеристики: а) безличность является лексико-грамматическим свойством этих глаголов и оборотов, а не результатом безличной трансформации личной конструкции; б) конструкция отражает простую ситуацию и содержит одну предикатную сему. БП, не отвечающие этим характеристикам, являются производными.

Таким образом однопредикатность входит в понятие исходности как один из ее компонентов. Исходные предложения всегда однопредикатны, но обратное неверно, поскольку однопредикатные предложения могут быть как исходными, так и производными. Сочетание двух названных выше признаков позволяет выделить три деривационно-синтаксические группы БП: 1) исходные; 2) производные однопредикатные; 3) производные полипредикатные (как частный случай – двупредикатные).

Описание БП дается по этим деривационно-синтаксическим группам с учетом также лексической семантики глаголов и оборотов, входящих в указанные группы.

3. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА

В Лингвистическом энциклопедическом словаре [20, с. 273] Ю.С. Степанов определил четыре собственно семантические сферы, присущие БП многих языков: 1) стихийные явления природы; 2) стихийные явления организма, внутреннего мира и психики человека; 3) сфера модальности; 4) значение существования, наличия[3].

Из четырех семантических сфер БК французского языка охватывают только три – первую, третью и четвертую, тогда как вторая (стихийные явления организма, внутреннего мира и психики) передается личными предложениями. Но есть еще одна семантическая область, где употребляются БК – это обозначение времени суток и других темпоральных значений. Кроме того, сфера, охватываемая значениями четвертой группы, представляется более широкой, чем модальность: речь идет о самых разнообразных оценочных значениях (модальных, эмоциональных, прагматических, качественных, количественных и др.) У каждого синтактико-деривационного типа БК можно выделить особое, только ему свойственное грамматическое значение.

4. ДЕРИВАЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БП

4.1. Исходные безличные предложения

Исходными мы называем такие безличные предложения, которые нельзя рассматривать как результат преобразования личных предложений. Обычно исходными являются предложения с безличным глаголом или оборотом, который не употребляется в личной конструкции или употребляется в ней крайне редко и для которого, следовательно, безличная конструкция является единственно возможной или основной. Сюда относятся в первую очередь глаголы и глагольные обороты, обозначающие природные явления, имеющие отношение к погоде, состоянию атмосферы и т.п.: *il*

[3] Эти группы не полностью исчерпывают все значения которые в разных языках могут выражаться с помощью БК. Так, в русском и финском языках М. Лейнонен [21] обнаруживает следующие семантические типы БП: 1) Состояние человека (физическое, эмоциональное и др), 3) "Судьба" и событийные предложения, 2) Окружающие явления, в том числе природные, 4) Состояния и квантификация (в том числе негация и партитивность). Как можно видеть, две классификации совпадают лишь частично. Это и понятно: первая дает типологическую картину, тогда как вторая – конкретные данные двух языков, обнаруживающих типологическое сходство в данной области

pleut "идет дождь", *il bruine* "моросит", *il neige* "снег идет", *il gèle* "морозит; мороз", *il fait froid* "холодно", *il fait chaud* "тепло; жарко", *il fait jour* "светло; день", *il fait nuit* "темно; ночь" и др. У этих глаголов невозможность или затрудненность[4] сочетания с неформальным подлежащим отражает то семантическое свойство, что они не имеют субъектов, которым можно было бы приписать происходящие в природе процессы. Поэтому безличность в этом случае является семантически обусловленной. См., например:

(8) *J'ai aimé plus tard la Bretagne, mais cette année-là les transports étaient incommodés, il bruinait* "Позднее я полюбила Бретань, но в том году были трудности с транспортом, моросил дождь".

(9) *Au fond de la rue, assis sur un pliant, un jeune homme jouait de la scie en chantant d'une voix veule: – Il pleut sur la route...* "В глубине улицы, сидя на складном стуле, какой-то человек играл на пиле и пел слабым голосом: – Дождь идет на улице..."

(10) *– Mais pourquoi veux-tu aller dehors? Il fait jour, il fait soleil, cela m'agaçe* "– Но почему ты так хочешь выйти на улицу? Там сейчас солнце, очень светло, это меня раздражает"[5].

В работе [14, с. 254] высказывается мнение, что базисность (исходность) есть универсальная характеристика БП такого типа в различных языках. Это свойство семантически объясняется тем, что, говоря о природных процессах, трудно различить объект (дождь) и активность (выпадение дождя), поэтому, если подобные высказывания имеют форму "подлежащее" + "сказуемое", то либо подлежащее, либо сказуемое будет семантически вырожденным. Так, в высказывании (11) *La pluie tombe* "Дождь идет" единый процесс представляется расчлененным, причем основное значение выражается подлежащим, а не сказуемым. Точку зрения об исходности БП, обозначающих природные процессы, мы полностью принимаем. Исходность этих предложений связана с тем, что глаголы природных процессов являются, как правило, постоянно безличными. Действительно, отсутствие (или крайняя редкость) у них личной конструкции не позволяет рассматривать образованные ими БП как производные от личных. Еще одной областью исходной безличности являются темпоральные значения. Для их выражения употребляются обороты, которые могут быть и чаще всего являются бытийными – обороты *il est* и *il y a*. Оборот *il est* используется для обозначения конкретного момента или периода времени: *il est trois heures* "(сейчас) три часа", *il est midi* "полдень", *il est minuit* "полночь", *il est tard* "поздно", *quelle heure est-il?* "который час?":

(12) *– C'est vous, Louise? Quelle heure est-il donc?* "– Это Вы, Луиза? Который час?"

(13) *Dehors la nuit d'hiver était déjà tombée bien qu'il ne fût guère plus de cinq heures* "На улице уже спустилась зимняя ночь, хотя было не больше пяти часов".

Оборот *il y a*, употребленный в темпоральном значении, указывает на то, что некоторое событие произошло столько-то времени назад: *il y a trois ans* "три года назад", *il y a cinq heures* "пять часов назад":

(14) *– Il y a longtemps que vous êtes le chauffeur de Thanatos? – Trois ans, – grommela l'homme* "– Вы давно уже работаете шофером в Танатосе? (Букв.: "Это уже давно, что вы работаете шофером в Танатосе?") – Три года, – проворчал человек".

Ситуация, обозначаемая темпоральными безличными оборотами, является семантически бессубъектной, подобно ситуации природных процессов. В этих случаях также имеет место лексикализация безличного оборота.

---

[4] Иногда эти глаголы встречаются в личной конструкции. В частности, Дамурет и Пишон приводят ряд примеров такого типа, См., например: *Derrière moi, un gros nuage pleuvait sur le Rhin* "Позади меня из большой тучи шел дождь над Рейном" [3].

[5] Представляется, однако, что речь идет о случаях стилистически отмеченных употреблений, о конструкциях, не свойственных глаголам природных процессов, и о специальных стилистических эффектах, возможных в литературных произведениях.

4.2. Лексикализованные безличные обороты

Во французском языке есть ряд лексикализованных безличных оборотов, которые должны рассматриваться как непроизводные (или исходные), но не в силу их бессубъектности, а по другой причине: это не свободные синтаксические конструкции, а фразеологические обороты, не имеющие в системе языка соответствующей и. личной конструкции, в которой тот же самый глагол употреблялся бы как личный.

Речь идет в первую очередь о бытийных безличных оборотах, так называемы: "презентативах". Самым распространенным из них является оборот *il y a* "имеется". Глагол *avoir* в нем употребляется всегда в 3 л.ед.ч., т.е. согласуется в лице и числе с безличным местоимением *il*, независимо от числа следующего за ним имени существительного, что отличает этот оборот от аналогичных оборотов английского языка. *there is, there are*. Оборот *il y a*, полностью лексикализованный, является бытийны предикатом, а следующая за ним именная группа – его субъектом:

(15) *Il y a des laideurs qui sont sublimes* "Есть лица некрасивые, но возвышенно благородные".

(16) *Il y avait enfin... sa femme, cette Solange Vauthier qui semblait se cacher* "Наконец существовала еще его жена, эта Соланж Вотье, которая, казалось, где-то скрывается".

Предложения с этим оборотом близки по своей коммуникативной структуре к предложениям с обратным порядком слов в языках, подобных русскому, где свободно допускается инверсия подлежащего и сказуемого в повествовательном предложении В ряде работ по коммуникативной структуре (актуальному членению) предложения отмечается, что такие инвертированные предложения являются коммуникативно не расчлененными [22, с. 240; 23]. Коммуникативная нерасчлененность в высшей степени характерна и для бытийных предложений французского языка, для образования которых используются лексикализованные безличные обороты или БК.

К обороту *il y a* примыкает близкий ему по значению экзистенциальный оборот *il est* "есть":

(17) *Sans doute, rien n'est plus naturel, aujourd'hui, que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qui leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont, de temps en temps, le soupçon d'autre chose* "Конечно, в наше время мы обычно видим, как люди, работающие с утра до ночи, затем тратят на карты, болтовню и сидение в кафе время, которое им остается для жизни. Но есть города и страны, где люди время от времени начинают подозревать, что возможна другая жизнь". Предложения с оборотом *il est* также характеризуются коммуникативной нерасчлененностью: бытийный оборот и именная группа вместе составляют рему высказывания.

5. ПРОИЗВОДНЫЕ ОДНОПРЕДИКАТНЫЕ БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.1. Однопредикатные бытийные предложения

Предложения, относящиеся к указанной категории, образуются глаголами, которые имеют и личное, и безличное употребление, сохраняя в обоих случаях единое лексическое значение, такими как *exister* "существовать", *se passer* "происходить" *rester* "оставаться", *se mêler* "примешиваться", *apparaître* "появляться", *disparaître* "исчезать" – глаголами экзистенциальными в широком смысле слова. Безличные предложения этого типа можно считать производными от личных предложений с теми же глаголами. Для иллюстрации такого преобразования могут служить примеры (18) и (19), (20) и (21), в которых глаголы *se passer* "происходить" и *exister* "существовать" употреблены в личной и в производной безличной конструкциях:

(18) *Les choses se passaient comme nous l'avions escompté* "Все происходило так, как мы рассчитывали";

(19) *Il s'en est passé des choses depuis leur départ* "После их отъезда произошло столько событий";

(20) *Les habitués des palaces ne nous en imposaient pas. En général ils n'existaient pas pour moi* "Обитатели дворцов не вызывали у нас интереса. Для меня они вообще не существовали";

(21) *Il existe un proverbe italien qui peut se traduire ainsi: Pour accrocher Marie, feins d'accrocher sa soeur* "Существует итальянская пословица, которую можно перевести так: если хочешь подцепить Марию, притворись, что тебе нравится ее сестра".

Для экзистенциальных глаголов характерна возможность выбора между личной и безличной конструкциями с разным актуальным членением. Количественно преобладают БК:

(22) *A la joie de cette évasion, aux clameurs heureuses de la fête il se mêlait des rumeurs inquiétantes* "К радости побега, к веселым звукам праздника примешивались тревожные слухи";

(23) *Il se passait quelque chose de neuf, d'important, de vraiment révolutionnaire* "Происходило что-то новое, важное, действительно революционное";

(24) *Il disparaît des femmes tous les jours* "Каждый день исчезают женщины".

Подобно лексикализованным безличным оборотам, рассмотренным выше, производная однопредикатная БК является способом образования коммуникативно нерасчлененных предложений, где предикат и субъект вместе образуют рему. Таким образом, БК являются здесь инструментом темо-рематического членения.

5.2. Подвид однопредикатных производных БК – конструкции безличного пассива

Употребление конструкций безличного пассива связано с требованиями официального стиля, языка документов. Они могут быть образованы как от прямопереходных, так и от косвеннопереходных глаголов. При образовании такой конструкции от прямопереходного глагола, активная конструкция подвергается двум последовательным трансформациям: актив – пассив – безличный пассив. См., например:

(25) *On dresse un procès-verbal* "Составляют протокол"
Un procès-verbal est dressé "Протокол составляется"
Il est dressé un procès-verbal. "Составляется протокол".

Безличная трансформация в этом случае факультативна в том смысле, что она не требуется для образования пассива. Причиной безличной трансформации являются либо требования актуального членения, либо требования ритма. Так, в (26) БК употребляются, по-видимому, для того, чтобы самая длинная именная синтагма из пятнадцати словоформ заняла место в конце предложения после сказуемого (требование ритма) и одновременно вошла бы составной частью в рему высказывания:

(26) *À cette date il serait fait un paiement de sept cent mille livres en une fois, moitié de la somme totale* "В этот день будет произведена выплата семи тысяч ливров единовременно, что составит половину всей суммы".

Условия факультативной пассивной трансформации следующие: 1) группа подлежащего не должна содержать указаний на соотнесенность с предыдущим текстом (определенного артикля, притяжательного или указательного прилагательного); 2) глагол должен заключать в себе идею существования в самом широком смысле [12].

Образование пассива от косвенно-переходных глаголов – явление довольно редкое – сопровождается обязательной безличной трансформацией, так что активная личная конструкция преобразуется сразу в безлично-пассивную:

(27) *On parla des lois* "Поговорили о законах" - › *Il fut parlé des lois* "Говорилось о законах".

(28) *Cette demeure ainsi que la maison de la Crouts dont il sera parlé bien souvent au cours de ce récit, furent données en dot à Mlle Germaine d'Arjuzanx.* "Это жилище, так же как и дом, называемый Кру, о котором часто будет говориться в этом повествовании, были даны в приданое мадамуазель Жермен д'Аржюзан...".

В подобных случаях невозможен личный пассив, так как косвенное дополнение не может занять в пассивной конструкции позицию подлежащего, что обусловливает появление формы безличного пассива.

Форма безличного пассива часто встречается в официальных документах, где формулируются различные правила, законы, инструкции. В таком случае пассивный инфинитив употребляется с модальным глаголом необходимости или возможности:

(29) *Il ne peut être dérogé à la règle, selon laquelle* "Не может быть нарушено правило, согласно которому";

(30) *Il doit être tenu compte de la loi* "Должен учитываться закон".

Р. Мартен [8] считает такие предложения искусственными, составленными по модели безлично-пассивных конструкций от прямопереходных глаголов. На наш взгляд, они вполне грамматичны, хотя и имеют довольно узкую сферу употребления.

6. ПРОИЗВОДНЫЕ ДВУПРЕДИКАТНЫЕ БП

В существующих лингвистических классификациях БП двупредикатность (или шире – полипредикатность), насколько нам известно, не вводилась в качестве критерия. Между тем этот признак выделяет особую группу предложений, отличающихся от других БП как семантическими, так и грамматическими характеристиками. Двупредикатные БП содержат синтаксические конструкции, которые Ш. Балли [24] назвал конструкциями с эксплицитным модусом. Производность этих конструкций обусловлена тем, что они обозначают сложную ситуацию, состоящую из двух простых (например, действия и его оценки). В исходную однопредикатную конструкцию вводится модус, содержащий одно из разнообразных оценочных значений: модальное, каузативное, аспектуальное, прагматическое и т.п.

В силу своей семантики модусные глаголы требуют наличия другого предиката, значение которого они модифицируют. Поэтому модусные глаголы часто называются операторами или модификаторами. Модус может быть по форме личным (31) и безличным (32):

(31) *Je suis presque certaine que si nous nous étions trouvés en mesure d'agir efficacement, nous l'aurions fait* "Я почти уверена, что если бы мы оказались в состоянии действовать эффективно, мы бы сделали это";

(32) *Il est certain qu'elle a refusé les plus brillants partis* "Точно известно, что она отвергла самые блестящие предложения".

Такие случаи, когда возможен выбор между личным и безличным модусом, крайне редки. В подавляющем большинстве они представлены разной лексикой. Семантические различия между личным и безличным модусами состоят в следующем: личный модус выражает точку зрения субъекта оценки на диктальное действие, а безличный модус служит для объективирования этой точки зрения и отодвигает субъект на второй план. Субъект оценки (говорящий) не называется, оставаясь в тени.

В конструкциях безличного модуса субъект оценки может выражаться дополнением, обычно косвенным, дативным:

(33) *Dans les intervalles de la respiration il lui semblait entendre des petits cris des rats* "В интервалах между вдохом и выдохом ему, казалось, слышался крысиный писк";

(34) *A travers la glace qui nous séparait du bureau voisin il me fallait bien reconnaître, à peine changée,... ma cousine Edith* "Сквозь стекло, отделяющее нас от соседнего помещения, мне пришлось-таки узнать почти не изменившуюся мою кузину Эдит".

В этих предложениях субъект выражен, но занимает в синтаксической структуре подчиненное место.

Деривация двупредикатных предложений, в силу их структуры, должна отличаться от деривации однопредикатных производных БП. Между тем, как в традиционной, так и в порождающей грамматике существует теория, согласно которой исходным для двупредикатных БП является личное предложение с придаточным подлежащим или инфинитивным оборотом в роли подлежащего. Рассмотрим этот вопрос на примерах, приведенных в статье Р. Мартена [8]:

(35) *Il importe qu'il reprenne confiance* "Важно, чтобы он вновь обрел доверие";

(36) *Il importe de reprendre confiance* "Важно вновь обрести доверие".

Для объяснения процесса порождения этих предложений Р. Мартен конструирует следующие предложения, явно искусственные, помеченные звездочкой, которые, по его мнению, являются исходными для данных БП:

(35^{а}) **Qu'il reprenne confiance importe* "Чтобы он вновь обрел доверие, важно".

(36^{а}) **De reprendre confiance importe* "Вновь обрести доверие важно".

По нашему мнению, однако, эти предложения не могут быть исходными для рассматриваемых БП, во-первых, потому что они искусственно сконструированы, во-вторых, потому что они семантически более сложны, чем рассматриваемые БП. Кроме того, абсолютно исходным (или ядерным) может быть только однопредикатное предложение. Поэтому мы представляем себе процесс порождения (деривационную историю) данных предложений иначе.

Для любого модусного предложения исходным является предложение, содержащее пропозицию, выраженную в его диктальной части. Для (35) исходным является (35^{аб}) *Il reprend confiance* "Он вновь обретает доверие". Что касается предложения (36), то в нем не выражен субъект действия, т.к. диктальная часть представлена инфинитивным оборотом. В таких случаях обычно субъектом является говорящий, поэтому исходное предложение должно иметь вид (36^{аб}) *Je reprends confiance* "Я вновь обретаю доверие". Деривация производного БП происходит путем введения безличного модуса *il importe* и преобразования исходного предложения по существующим в языке правилам (так называемой номинализации).

Значения модуса самым общим образом могут быть охарактеризованы как оценочные, причем семантическая сфера оценки весьма разнообразна. Между безличной формой модуса и его семантикой существует зависимость: одни оценочные значения часто выражаются безличным модусом (например, значение необходимости), другие, наоборот, очень редко (например, значение желания, волеизъявления). Среди самых частотных модусов необходимо назвать:

1) модальные модусы необходимости (*il faut, il est nécessaire*), возможности (*il est possible, il est permis*), невозможности (*il est impossible*);

2) модальные модусы, выражающие эпистемические значения: уверенность (*il est sûr, il est certain*) предположение (*il est possible, il se peut*), сомнение (*il est douteux*), недоверие (*il est impossible, il est invraisemblable*).

Реже встречаются модусы:

3) эмоциональной и моральной оценки (*il est bon, il est juste, il est indiscret, il est inadmissible*);

4) количественной и аспектуальной оценки (*il suffit, il arrive, il est rare*);

5) прагматической оценки (*il est difficile, il est utile*) и некоторые другие.

Как пример двупредикатных БК рассмотрим одну семантическую группу – конструкции эпистемической модальности. Эпистемическая модальность [26–27] выражает оценку говорящим достоверности содержания его высказывания (в другой системе терминов эти значения характеризуются как критическая оценка достоверности [28]). Модус эпистемической модальности вводится в высказывание, если говорящий не имеет точного знания описываемой ситуации.

Значения эпистемической оценки могут быть представлены в виде шкалы, в верхней части которой находятся очевидность, уверенность, далее – предположение с высокой степенью вероятности, предположение с низкой степенью вероятности,

сомнение, недоверие, отрицание. Например, в (37) выражается очевидность, в (38) – предположение с высокой степенью вероятности:

(37) *En quelques jours à peine, les cas mortels se multiplièrent et il devint évident, qu'il s'agissait d'une véritable épidémie* "Всего за несколько дней количество смертельных исходов умножилось и стало очевидно, что это настоящая эпидемия";

(38) *Il est probable que je vous décevrai le jour où je vous rencontrerai pour la première fois* "Вероятно, я вас разочарую в тот день, когда мы увидимся впервые".

Предположение с более низкой степенью вероятности выражается при помощи оборотов *il est possible* (39) и *il se peut* (40):

(39) *Ne fais pas attention à ce que je t'ai crié tout à l'heure. Il est possible que je sois vaguement jalouse* "Не обращай внимания на то, что я тут кричала. Возможно, я неосознанно ревную тебя";

(40) *Il se pourrait que tu ne l'aies point vue* "Может быть, ты ее вовсе не видела".

Последние два примера показывают, что предположение с низкой степенью вероятности часто выражается теми же оборотами, которые в других контекстах имеют значение возможности, только значение возможности направлено на будущие события тогда как значение эпистемической оценки – на события прошлого или настоящего.

Между эпистемическими значениями высокой степени вероятности (*probable*) и низкой степени (*possible*) проходит граница [29], разделяющая употребление в придаточном предложении индикатива (см. (37), (38)) и сюбжонктива [см. (39), (40)].

Безличные обороты со значением эпистемической оценки обычно не сочетаются с глаголом в инфинитиве. Более широкие возможности сочетаемости имеет глагол *sembler* "казаться", употребляемый для выражения предположения. Этот глагол может сочетаться с придаточными предложениями, в которых употребляется индикатив (41) и сюбжонктив (42), а также с инфинитивным оборотом (43):

Если глагол *sembler* выражает предположение уверенное, то в придаточном предложении употребляется индикатив:

(41) *Bonjour, Delio, lui dit celui-ci. Il me semble qu'il y a un bon bout de temps que nous n'avons pas bavardé ensemble* "Здравствуй, Делио, сказал ему тот (приятель – *E.K.*). Мне кажется, что прошла уже целая вечность с тех пор, как мы болтали в последний раз".

Если тот же глагол выражает предположение с оттенком сомнения, в придаточном предложении употребляется сюбжонктив:

(42) *Il semblait que ces grandes circonstances n'aient modifié en rien son aspect négligé* "Казалось, эти важные обстоятельства совсем не изменили его обычного неряшливого вида".

Модусный глагол *sembler* допускает также конструкцию с зависимым инфинитивом, в которой косвенным дополнением выражается модальный субъект, он же субъект пропозиционального действия:

(43) *Quand je me décidai à la voir avec les yeux de Sarre, il me sembla fausser mon coeur* "Когда я решилась посмотреть на нее глазами Сартра, мне показалось, что я обманываю себя".

Близок по значению к глаголу *sembler* глагол *paraître* "представляться" [30], который также образует БК со значением предположения.

На шкале эпистемических значений самую нижнюю ступень занимает оборот *il est impossible* "невозможно; не может быть", выражающий недоверие, опровержение содержания пропозиции:

(44) *Il est impossible que Jacques ait tué cet homme* "Не может быть, чтобы Жак убил этого человека".

Каждая семантическая группа двупредикатных модусных БК имеет свою специфику, но их описание явилось бы объектом отдельной работы.

7. КОНСТРУКЦИИ С МЕСТОИМЕНИЯМИ *CE, CELA, ÇA* В ПОЗИЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕГО. СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ ОТ БК

Примыкают по своим значениям к БК конструкции с местоимениями *ce, cela, ça* в позиции подлежащего. Приводимые в литературе случаи могут быть классифицированы следующим образом: 1) Употребление местоимения *ça* в сочетании с глаголами (но не оборотами), обозначающими природные процессы:

(45) *Ça pleut* "Идет дождь";

(46) *Ça chauffe* "Жарко" (букв. "Жарит").

Ф. Брюно отмечает, что такие обороты характерны для разговорной речи [1, с. 288]. Местоимение *ça* является в этих сочетаниях нереферентным, подобно местоимению *il* в канонических БК. В этих случаях мы имеем дело с единым "стихийным субъекто-предикатом" [13, с. 27].

2) Употребление местоимений *ce, cela, ça* в качестве подлежащего при глаголах, обычно являющихся безличными, модусными, когда эти местоимения замещают зависимую пропозицию:

(47) *Il me semble que vous vous trompez* "Мне кажется, что вы ошибаетесь" → *Ce me semble* "Так мне кажется" ("Это мне кажется");

(48) *Il arrive que tout le monde soit d'accord* "Случается, что все согласны" → *Cela arrive* "Это случается".

3) Употребление названных местоимений как заместителей языкового выражения, обозначающего некоторую ситуацию. В тексте это выражение либо предшествует местоимению, либо находится постпозиции к нему:

(49) *Ne vous fourrez pas dans cette affaire. Ça sent la faillite* "Не суйтесь в это дело. Это пахнет банкротством". Местоимение *ça* употреблено как заместитель группы существительного *cette affaire* "это дело", которая обозначает ситуацию;

(50) *Ça me fâche de penser que vous êtes parti sans m'avertir* "Это сердит меня – думать, что вы ушли, не предупредив меня". Ситуация обозначена развернутым инфинитивным оборотом, который находится в постпозиции к местоимению *ça*. (Примеры (48), (49), (50) цитируются по книге Ф. Брюно [1, с. 286–288].)

Рассмотрение этих случаев приводит к мысли, что местоимения *ce, cela, ça* в большей части своих употреблений имеют референт, обычно в виде целой ситуации. Только при сочетании с глаголами местоимение *ça*, обозначающее природные процессы, употребляется нереферентно и, следовательно, в этом случае можно рассматривать указанное местоимение как способ выражения бессубъектности.

ВЫВОДЫ

1. БК французского языка рассмотрены в данной статье с типологических позиций и с позиций деривационного синтаксиса.

2. БК выделялись на основании ряда общих формальных признаков. При их классификации применялись критерии разных уровней: семантический, функциональный, деривационный и синтаксический.

3. Применение семантического критерия позволяет определить смысловые сферы, в которых используются БК. Этот же критерий дает возможность отделить БК, семантически обусловленные, от БК, грамматически и функционально обусловленных. Семантически обусловленными являются БК, обозначающие бессубъектные ситуации, относящиеся главным образом к сфере явлений природы. Остальные БК выполняют в языке различные грамматические функции.

4. Применение деривационного и синтаксического критериев позволяет выделить следующие группы БП: а) исходные однопредикатные, б) производные однопредикатные, в) производные двупредикатные.

5. К исходным однопредикатным относятся семантически обусловленные БП, обозначающие природные процессы, темпоральные БП, а также БП, содержащие лексикализованные бытийные обороты. Спецификой исходных БП является их актуальное членение: предложение этого типа не членится на тему и рему.

6. Производные однопредикатные БП принадлежат к сфере бытийности (существования) в широком смысле слова. Употребляемые в них глаголы образуют как личную, так и безличную конструкции, раличающиеся актуальным членением: личные предложения членятся на тему и рему, безличные – не членятся.

К числу производных однопредикатных БП относятся и конструкции безличного пассива, в которых безличность может быть факультативной и обязательной. В последнем случае БК служат способом образования пассива.

7. Производные двупредикатные БП относятся к семантической сфере оценочности. Это предложения с эксплицитным модусом (по Ш. Балли). Они обозначают сложную ситуацию, состоящую из двух простых: действие, процесс или состояние, с одной стороны, и его оценка говорящим, с другой. Эти предложения образуются путем введения безличного модуса в исходную однопредикатную конструкцию.

При употреблении конструкции с безличным модусом субъект оценки остается в тени, оценка предстает как объективная. В этом мы видим грамматическую функцию безличного модуса.

8. Свойственное БК значение бессубъектности может передаваться также конструкцией из глагола в 3 л.ед.ч. и местоимения *ça* в роли подлежащего. Эти конструкции могут употребляться в разговорной речи для обозначения природных процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Brunot F.* La pensée et la langue. P., 1936.
2. Grammaire Larousse du français contemporain. P., 1964.
3. *Damourette J.* Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. T. 4. P., 1911–1934.
4. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
5. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1964.
6. Типология итеративных конструкций. Л., 1989.
7. Grammaire Larousse du XX-e siècle. Paris; Warszawa, 1936.
8. *Martin R.* La transformation impersonnelle // Revue de linguistique romane. 1970. T. 34.
9. *Gaatone D.* La transformation impersonnelle en français // Le français moderne. 1970. № 6.
10. *Moignet G.* Verbe unipersonnel et voix verbale // Travaux de linguistique et de litterature. IX. 1. Strasbourg, 1971.
11. *Дегтяревская И.В.* Сопоставительный анализ конструкций, называемых безличными во французском, испанском и итальянском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1972.
12. *Корди Е.Е.* Безлично-пассивные конструкции во французском языке // Материалы семинара по теоретическим проблемам синтаксиса. II, Пермь, 1975.
13. *Алисова Т.Б.* Семантико-коммуникативный субстрат безличных предложений // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.
14. *Кинэн Э.Л.* К универсальному определению подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982. С. 236–237.
15. Grammaire de l'Académie française. P., 1933.
16. *Храковский В.С.* Очерки по общему и арабскому синтаксису. М., 1973.
17. *Храковский В.С.* Деривационные отношения в синтаксисе // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969.
18. *Перельмуттер Д.М., Постал П.М.* О формальном представлении структуры предложения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
19. *Перельмуттер Д.М., Постал П.М.* Закон единственности продвижения именных групп в позицию подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1982. С. 83–100.
20. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
21. *Leinonen M.* Impersonal sentences in Finnish and Russian. Helsinki, 1985. P. 106.

22. О так называемом актуальном членении предложений // Пражский лингвистический кружок. Сб. статей. М., 1967.
23. *Ковтунова И И.* Порядок слов в русском литературном языке XVIII – первой трети XIX вв. Пути становления современной нормы. М , 1969. С. 14.
24. *Bally Ch.* Syntaxe de modalité explicite // CFS. 1942. № 2.
25. *Падучева Е В.* О семантике синтаксиса. Материалы к трансформационной грамматике русского языка. М., 1974. С. 172.
26. *Rytel D.* Leksykalne środki wyrażania modalnosci w jezyku czeskim i polskim. Wrocław, Warszawa; Krakow, 1982.
27. *Корди Е.Е.* Модальные и каузативные глаголы современном французском языке. Л., 1988.
28. *Сабанеева М К* Функциональный анализ наклонений в современном французском языке. Л., 1988.
29. *Guillaume G.* Temps et verbe. P., 1968 P. 32.
30. *Gross M.* Grammaire transformationnelle du français. Syntaxe du verbe. P., 1968. P. 128.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1994 г. А.Г. ШИРОКОВА

ПРАЖСКАЯ ШКОЛА И АКАДЕМИК БОГУСЛАВ ГАВРАНЕК

В отечественном языкознании хорошо известны работы так называемого "русского крыла" Пражского лингвистического кружка (ПЛК) – Р.О. Якобсона, Н.С. Трубецкого, С.И. Карцевского. Труды же чешских лингвистов, которые были основателями ПЛК и на протяжении всей своей научной деятельности развивали и воплощали на практике его основополагающие идеи, менее известны, хотя они получили широкое распространение не только в Чехословакии, но и во всем мире.

В январе 1993 г. научная общественность отметила столетний юбилей со дня рождения академика Богуслава Гавранека. Он родился 3 января 1893 г. в Праге, в учительской семье, закончил философский факультет Карлова университета, где изучал богемистику, славистику, классическую филологию и индоевропеистику. На протяжении нескольких десятилетий Б. Гавранек был признанным главой чехословацкой богемистики, славистики и общей лингвистики, одним из создателей новой теории языка. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть значительный вклад Пражской лингвистической школы, и прежде всего Б. Гавранека, в славянскую и мировую славистику и общее языкознание.

В творческой деятельности Б. Гавранека можно выделить несколько этапов. Первый период проходил под знаменем формирования научной личности Б. Гавранека. В этот период он, находясь под влиянием своих университетских учителей Й. Зубатого, О. Гуйера и И. Поливки, работал в области сравнительно-исторического языкознания. В 1928 г. Б. Гавранек подготовил и выпустил в свет I том своей монументальной монографии "Залог глагола в славянских языках" {1}, после чего получил звание магистра по специальности "славянская филология". Через год он уже был экстраординарным профессором в университете им. Масарика в г. Брно. Кроме проблем залога, в центре внимания исследователя в этот период находились также сложные вопросы фонетики: он писал о неассимилированных согласных в древнечешском языке, о вторичных вокалах в славянских языках, уделяя одновременно большое внимание истории и современному состоянию славянского языкознания.

В своих работах Б. Гавранек обнаруживает глубокое понимание структуры языка и системности его явлений, различение планов синхронии и диахронии, а также необходимость дифференциации в языке стилевых образований.

Второй период в научном творчестве Б. Гавранека определяется его тесной связью с деятельностью Пражского лингвистического кружка, членами которого являлись специалисты по славянским и германским языкам и литературам. В состав ПЛК входили прежде всего чехословацкие ученые: В. Матезиус, Б. Гавранек, Б. Трнка, Я. Мукаржовский, М. Вейнгарт, Фр. Оберпфальцер и др. Активное участие в работе ПЛК принимали и русские ученые, в частности находившийся в то время в Праге Р. Якобсон, Н.С. Трубецкой, а также работавший с 1925 г. в Женеве С.И. Карцевский.

В историю возникновения ПЛК Б. Гавранек вошел благодаря своему активному участию в подготовке "Тезисов", посвященных I Международному съезду славистов (Прага, 1929 г.), который был приурочен к 100-летию со дня смерти патриарха

славистики Йозефа Добровского. Основное участие в разработке "Тезисов" ПЛК принимали В. Матезиус, Б. Гавранек, Р. Якобсон и Я. Мукаржовский. Б. Гавранек вместе с В. Матезиусом разработал тезис о значении функциональной лингвистики для общей культуры славянских языков и о применении новых лингвистических направлений при обучении родному языку. Он закладывал также основы изучения синтаксической грамматики, ему принадлежит значительная доля в осмыслении общих принципов языковой культуры.

На формирование принципов ПЛК существенное влияние оказала Женевская школа и теория Ф. де Соссюра, а также учение Бодуэна де Куртенэ. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что в России в это время проявляла большую активность лингвистическая школа Ф.Ф. Фортунатова. Поэтому не случайно, что в основании ПЛК большую роль сыграли русские ученые – выпускники Московского университета. В изданиях ПЛК публиковались многие европейские и американские ученые: Бюлер (Австрия), Ельмслев (Дания), де Гроот (Голландия), Улашин и Дорошевский (Польша), Теньер и Мартине (Франция), Блумфилд (США) и мн. др.

Свое научное кредо члены ПЛК изложили сначала на I Международном лингвистическом конгрессе в Гааге в 1928 г., а затем в своих знаменитых "Тезисах" [2][1].

Уже заголовок "Тезисов" – "Проблемы метода, вытекающие из представления о языке как системе, и значение этого представления для славянских языков", а также подзаголовок ("Синхронический метод и его отношение к методу диахроническому; сравнение структурное в противовес сравнению генетическому; случайный характер или закономерная связь явлений в лингвистической эволюции") – красноречиво характеризуют теоретическую концепцию ПЛК, из которой вытекают следующие принципиально значимые положения, изложенные в 1-м разделе: 1) решительный отход от генетической и атомистической концепции младограмматиков; 2) представление о языке как о структурно организованной системе; 3) представление о языке как о функциональной системе (разрядка наша. – *Ш А.*).

Так, в 1-м разделе "Тезисов' читаем: "Язык, являясь продуктом человеческой деятельности, обладает вместе с ней целевой направленностью,... поэтому к лингвистическому анализу следует подходить с функциональной точки зрения С функциональной точки зрения язык является системой целенаправленных средств выражения. Ни одно языковое явление нельзя понять без учета системы, к которой он принадлежит" [3, с. 35, 1a].

В этом же разделе "Тезисов" (пункт 1b) указывается на необходимость считать первоочередной задачей славянской лингвистики выработку определения лингвистических характеристик современных славянских языков, без которых невозможно глубокое изучение славянских языков вообще. Лучшим способом для познания их сущности и характера является синхронный анализ.

Однако уже в этом пункте настоятельно подчеркивается, что нельзя возводить непреодолимые преграды между методом синхроническим и диахроническим, как это делает Женевская школа. По твердому убеждению членов ПЛК, диахроническое исследование не только не исключает понятия системы и функции, но напротив, без учета этих понятий является неполным. Отмечается также, что само синхроническое описание отнюдь не исключает понятия эволюции; и в области синхронии в нашем сознании существуют элементы стадий уходящих, существующих и наступающих. Стилистические элементы, воспринимаемые как архаизмы, фиксируемые продуктивные и непродуктивные формы являются свидетельством наличия в синхронии элементов диахронических.

В пункте (1c) первого раздела "Тезисов" говорится о новых возможностях применения сравнительного метода (разрядка наша. – *Ш А*). При этом отмечается, что если до настоящего времени сравнительное изучение славянских

[1]"Тезисы" ПЛК были опубликованы на французском языке в 1929 г. в Travaux du Cercle linguistiques de Prague, позже (на чешском языке) в книге "U základů pražské jazykovědne školy" (Praha, 1970).

языков ограничивалось преимущественно проблемами генетическими, и прежде всего поисками общего прототипа, то с позиций ПЛК сравнительный метод должен быть использован шире. Он должен открывать структурные закономерности языковых систем и их развития, причем как языков родственных, так и неродственных [3, с. 36, 1с].

Этим было положено начало типологическому подходу к проблемам структурной грамматики, получившему яркое воплощение прежде всего в работах В. Скалички и Б. Гавранека. Вполне современно звучит тезис о том, что сравнительное изучение эволюции славянских языков с применением функционально-структурного метода разрушает наше представление о случайном и эпизодическом характере конвергентного и дивергентного развития языков, отбрасывает ложный метод исследования изолированных фактов, раскрывает основные тенденции развития того или иного языка, позволяет успешно применять принципы относительной хронологии, которые более надежны, чем косвенные данные, извлеченные из памятников.

Во 2-м разделе "Тезисов", озаглавленном "Задачи изучения языковой системы, особенно славянских языков", фонологическое и морфонологическое описание всех славянских языков определяется как насущная проблема славистики. При этом особо подчеркивается, что в исследованиях, относящихся к звуковому аспекту языка, необходимо различать звук как объективный физический факт, с одной стороны, и как элемент функциональной системы, выполняющий смыслоразличительную функцию, – с другой. Системно-структурный принцип изучения фонологической системы предполагает учет ее внутренних взаимосьязей. Одновременно выдвигается требование изучения фонологических корреляций как особого типа значимых различий, определения сочетаемости фонем, учета роли морфологического использования фонологических различий и др. [3, с . 38–39, 2а].

В пункте (b) 2-го тезиса определяется также принцип исследования слова и сочетания слов. Особо подчеркивается, что каждый язык имеет свою собственную систему способов номинации и создает свой особый словарь. Важным является указание на то, что система категории слов, ее объем и внутренняя структура для каждого языка должны изучаться отдельно.

Функциональная концепция ПЛК позволяет связать разнородные явления в одно целое, установить систему данного языка и дать объяснение тому, что прежний метод мог только констатировать.

Значительное место в этом пункте отводится синтаксической зависимости и связи слов в рамках функционального синтаксиса, роли предикации и субъекта.

В 3-м разделе "Тезисов", посвященном проблемам изучения различных языковых функций, особенно в славянских языках, выдвигается новое понимание сущности литературного языка. В соответствии с функциональным подходом к языку разрабатывается теория функциональных стилей, обосновывается теория языковой нормы и кодификации, а также культуры речи. Известная статья Б. Гавранека "О функциональном расслоении литературного языка" [4] содержит характеристику языка как сложного многослойного образования, различные функциональные слои которого имеют свое специфическое назначение. Правда, нельзя согласиться с тем, что разные языковые пласты и стилевые разновидности возводились членами ПЛК в ранг языков (например, поэтический язык считался особым языком, имеющим свою условную систему средств выражения).

Весьма существенным в "Тезисах" является требование учета социолингвистических факторов, которые необходимо принимать во внимание при изучении различных типов речевой деятельности: взаимоотношение говорящих, степень их социальной, профессиональной и родственной связи, их принадлежность к разным коллективам. Это положение заложило основы социолингвистики как науки.

Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть другие разделы "Тезисов", поэтому назовем лишь важнейшие положения, необходимые для характеристики направленности научной деятельности Б. Гавранека и Пражской лингвистической школы в

целом. Так, в 4-м разделе "Тезисов" подчеркивается необходимость дальнейшего изучения церковнославянского и старославянского языков, важность исследования всех литературных диалектов старославянского языка, его графических систем, а также церковнославянских элементов в литературных славянских языках с точки зрения тех функций, которые они выполняли в различные периоды развития этих языков [3, с. 51–52].

Один из разделов "Тезисов" посвящен принципам лингвистической географии, их применению и отношению к этнографической географии на славянской территории [3, с. 53]. Важнейшим в "Тезисах" следует считать требование о необходимости создания общеславянского лингвистического атласа, особенно лексического, так как сравнительно-этимологическое сопоставление славянской лексики невозможно без установления точного ареала распространения каждого слова.

В 8-м разделе "Тезисов", где рассматриваются проблемы методов славянской лексикографии, авторы пишут, что "лексикология как наука о слове и словарном составе языка не является простым конгломератом некоторого количества отдельных слов. Напротив, это сложная лексическая система, в которой все слова так или иначе связаны друг с другом или противопоставлены друг другу. Значение слова определяется прежде всего его отношением к другим словам, то есть его местом в лексической системе. Определение же места слова в лексической системе возможно только после изучения структуры данной системы" [3, с. 56–57]. Особо подчеркивается важность изучения лексических систем близкородственных языков, так как именно при наличии большого сходства лексического материала индивидуальные признаки разных систем выявляются с наибольшей ясностью.

В 9-м разделе "Тезисов" определяется значение функциональной лингвистики для языковой культуры славянских языков. При этом под культурой языка понимается четко выраженная тенденция к развитию в литературном языке (как в письменном, так и в устном) определенных свойств, соответствующих его коммуникативной функции. К их числу прежде всего относятся: 1) стабильность; 2) способность передавать ясно и точно, со всеми тонкостями самые разнообразные оттенки мыслей и чувств; 3) оригинальность языка, т.е. культивирование в нем таких свойств, которые придают ему специфический характер [3, с. 58].

Основные положения, содержащиеся в "Тезисах" ПЛК, были реализованы в работах Б. Гавранека, в исследованиях второго поколения представителей Пражской лингвистической школы (В. Скалички, А. Келлнера, Я. Белича, Л. Новака, Й. Вахека, М. Докулила, П. Троста К. Горалека, А. Едлички, Ф. Копечного, Э. Паулини, Й. Грабака и др.), а также в работах их многочисленных учеников и последователей (Ф. Данеша, К. Гаузенбласа, П. Сгалла, П. Новака, О. Лешки, В. Барнета, Г. Беличовой-Кржижковой и др.).

Совершенно очевидно, что новая лингвистическая концепция притягивала к себе молодых ученых как в пределах Чехословакии, так и за рубежом.

Для углубленного развития и популяризации идей Пражской лингвистической школы очень много сделал Б. Гавранек, научная деятельность которого необычайно обширна и многогранна. Нет ни одного направления в языкознании, нет ни одной лингвистической области, которой бы Б. Гавранек не касался и творчески не разрабатывал. Его основные исследования, которые будут охарактеризованы ниже, стали краеугольным камнем в истории изучаемых проблем, они снискали ему авторитет крупнейшего ученого во всем мире. И это при обширной педагогической, редакторской, организационной и культурно-просветительской деятельности.

Весьма плодотворными в научном отношении для Гавранека были 30-е годы. В это время выходят его наиболее значительные синтетические работы: монография "Чешские диалекты" [5], в которой он с опорой на предшествующие исследования и на новый собственный материал нарисовал картину диалектных различий чешского языка на всей территории его распространения, выявил динамику нивелировки диалектов и образования интердиалектов. Эта работа выгодно отличалась от работ его предшест-

венников, направленных главным образом на изучение архаических явлений, тем, что она стимулировала изучение сложных отношений между литературным языком и нелитературными образованиями, которые в последний период интенсивно развивались и привлекали внимание к изучению обиходно-разговорного языка (obecná čeština), определяемого Б. Гавранеком следующим образом: "Обиходно-разговорный язык ... это форма существования языка, непосредственно связанная с литературным языком, который черпает из нее живые силы, что способствует его возрождению. Без разговорной формы литературный язык стал бы мертвым и стандартизованным настолько, что он перестал бы развиваться" [5, с. 86]. Труды Б. Гавранека по диалектологии, его трактовка возникновения обиходно-разговорного языка оказали большое влияние на собственно диалектологические исследования. Они стимулировали также изучение проблем сложных отношений между литературным языком и нелитературными образованиями.

В "Тезисах" ПЛК наряду с изучением языковых систем на передний план была выдвинута задача характеристики литературных языков в аспекте выполняемых ими функций. В рамках этой проблематики большое внимание уделялось пониманию сущности и специфическим особенностям литературных языков как при их синхронном, так и диахроническом изучении. Признание факта полифункциональности литературного языка привлекло внимание лингвистов к проблемам функциональных стилей и функционально-стилевой дифференциации. В ряде работ, особенно в обширной статье "Задачи литературного языка и его культура" (1932 г., см. [6]), Б. Гавранек определяет функциональную и структурную специфичность чешского литературного языка, особенности его развития и функционального расслоения.

На II Международном съезде славистов в Варшаве в 1934 г. Б. Гавранек выступил с докладом, в котором очертил круг проблем, связанных с исследованием литературных языков, заострив при этом внимание на необходимости их сравнительного рассмотрения.

В дальнейшем изучение литературных языков вообще, а в работах Б. Гавранека в частности, развивалось в трех направлениях: 1) общетеоретическом; 2) в плане синхронии и диахронии; 3) по линии полилингвального изучения родственных и неродственных языков. При этом следует особо подчеркнуть, что подобное изучение значительно отличалось от традиционной компаративистики как по методам, так и по целям исследования. В работах Б. Гавранека этого цикла, как и в трудах его единомышленников, анализировалось взаимоотношение устной и письменной форм литературного языка, коммуникативные сферы разговорного языка и другие связанные с этими проблемами вопросы.

В 1936 г. вышла в свет уникальная монография Б. Гавранека "Развитие литературного чешского языка" [7], в которой всесторонне описана история развития литературного чешского языка с момента его возникновения до периода написания работы. Автор вскрывает в ней как внутренние, собственно лингвистические, так и экстралингвистические факторы развития языка, обусловленные общественной ситуацией. В этом труде Б. Гавранек характеризует стилевые различия литературного чешского языка, определяет роль языковой теории в процессе его формирования, отмечает случаи профессионального и непрофессионального вмешательства в его развитие, взвешенно и трезво оценивает иноязычные влияния, прослеживает влияние литературного чешского языка за границами территории его распространения (особенно в Польше), иллюстрирует отдельные периоды его развития удачно выбранными и наглядными примерами связных текстов, извлеченными из чешских исторических памятников.

В сфере интересов исследователей этого времени находились также вопросы, связанные с отношением литературного языка к языку художественной литературы. В своем творчестве Б. Гавранек проявлял большой интерес к языку произведений чешских писателей: к народной основе языка Б. Немцовой, к поэтическому языку К.Г. Махи, к особенностям языка Я. Гуса и Я.А. Коменского, что позволило автору проникнуть в языковую специфику эпохи, вскрыть ее узус и норму.

Научная деятельность Б. Гавранека была тесно связана с практической, с усилиями поднять всю языковую культуру общества. Для чешской языковой ситуации того времени это было необычайно актуальной задачей, обусловленной причинами исторического характера. Еще в конце XIX в. ревнители "первоначальной чистоты" чешского языка, считавшие, что литературный язык находится в состоянии глубокого упадка, выступали за его "очищение" от заимствований, новообразований и пр. Начали появляться "Брусы" – специальные пособия, в которых обращалось внимание на "неправильное" значение и употребление отдельных слов, форм и выражений (1-е изд. – Прага, 1877). "Брусичи" выдвинули принцип "исторической чистоты" и "прямолинейной правильности". Мерилом языковой правильности современного языка были объявлены чешский литературный язык старшей поры (XVI–XVII вв.), народные диалекты, а также другие славянские языки. Языковой пуризм в Чехии снова усилился во время первой мировой войны. Представители этого направления сосредоточили свою деятельность в журнале "Наша речь" (Naše řeč, 1-й вып. – 1917 г.), где отрицались живые тенденции развития литературного языка, связанные с расширением его функций. "Наша речь" продолжала в сущности линию "Брусов" на сохранение старого книжного языка, препятствовала введению в чешский язык новых слов и оборотов, стремилась "очистить" язык от иностранных слов. Произведения современных писателей считались ненадежным источником познания языка. "Наша речь" не переставала поучать писателей и современников, подвергая анализу их произведения с точки зрения "правильности" их языка. Многие чешские писатели, увидев в этом опасность для развития языка и литературы, резко выступили против деятельности журнала. К протесту писателей (И. Ольбрахт, О. Фишер, В. Ванчура и др.) присоединились и чешские лингвисты. В полемику о культуре чешского языка включились представители ПЛК: В. Матезиус, Б. Гавранек, Я. Мукаржовский, Р. Якобсон, М. Вейнгарт. Сформулированные ими и изложенные еще в "Тезисах" (1929 г.) принципы понимания языка они развили и конкретизировали в цикле лекций, посвященных вопросам языковой культуры, в 1932 г. В том же году был выпущен в свет сборник "Литературный язык и языковая культура" [6], в котором Б. Гавранеку принадлежит большая упоминаемая выше статья "Задачи литературного языка и его культура". Б. Гавранек, как и прочие представители ПЛК, исходил в своей практике из следующих принципов:

1) последовательная синхрония, т.е. изучение норм современного литературного языка, которые нельзя искать ни в произведениях старшей поры, ни в народной речи. Источником познания современного литературного языка могут служить произведения, написанные за последние 50 лет, включая творчество авторов, которые закладывали основу литературного чешского языка (Б. Немцова, Й.К. Тыл, К. Гавличек-Боровский);

2) функциональный подход к языку, т.е. строгое различение задач, которые стоят перед различными формами его существования;

3) структурное понимание языка, т.е. понимание литературного языка (как и языка вообще) как системы.

Исходя из этих принципов, Б. Гавранек, как и другие представители ПЛК, отрицал пуристический тезис об "упадке" чешского литературного языка, выступая против принципов "исторической чистоты" и "прямолинейной правильности".

Из требования разработки новых принципов языковой культуры с неизбежностью вытекало и требование культивирования литературного чешского языка, т.е. практического устранения того разрыва, который существовал между языковой практикой и языковой теорией.

С проблемами разработки принципов теоретического и практического изучения литературного языка и его культуры связано основание журнала "Слово и словесность" (Slovo a slovesnost). Большую роль в его создании сыграл Б. Гавранек. В задачу журнала входило, как говорится в проекте, приложенном к первому номеру,

"поднять интерес к теоретическим проблемам языка и культуры, поднять уровень языкового и литературного образования..." [8, с. 2]. Уже в первом номере журнала Б. Гавранек обратил внимание на весьма актуальную для того времени проблематику грамматической кодификации чешского языка, раскритиковал ее главные недостатки и внес предложение, как преодолеть противоречие между существующей кодификацией литературного языка и действительным положением вещей [8][2].

В 1947/48 г. Б. Гавранек в теоретически значимой статье "Принципы ПЛК и новая кодификация литературного чешского языка" [10] снова сравнивает кодификацию чешского языка с современным узусом и снова указывает на ее недостатки[3].

Как трибуна Пражской лингвистической школы журнал "Slovo a slovesnost" предназначался не только для научных кругов, но и для широкой филологической общественности, что не снижало, впрочем, его высокого научного уровня. Наряду с лингвистами в нем публиковались и крупные ученые-литературоведы (Я. Мукаржовский, Фр. Вольман, а позже Й. Грабак и Ф. Водичка), а также такие известные писатели, как К. Чапек, В. Незвал, В. Ванчура и др. С полной уверенностью можно сказать, что "Slovo a slovesnost" в своих первых девяти выпусках (с 1935 г. до закрытия журнала нацистами в 1943 г.) отражало многосторонние научные интересы Пражской лингвистической школы, своими публикациями заявившей о себе как о подлинной научной школе, которая живо реагировала на актуальные проблемы языковой практики и чешской литературной нормы. Правда, следует отметить, что значительное количество статей представителей Пражской школы, имеющих общетеоретическое значение, вышло в Travaux du Cercle linguistique de Prague, а также в других чешских и зарубежных изданиях. Однако и в выпусках "Slovo a slovesnost" опубликовано немало ценных материалов по общим вопросам лингвистики: например, статьи В. Матезиуса, В. Скалички, Й. Коржинка и др.

Журналу "Slovo a slovesnost" (до 1943 г.), по справедливому замечанию Й. Вахека, "... принадлежит заслуга пропагандиста нового взгляда на язык, пионера, внесшего значительный вклад в широкий контекст национальной культуры и повседневной языковой практики" [12].

После освобождения Чехословакии в 1945 г. журнал "Slovo a slovesnost" снова начал выходить в свет (с 1947 г.) в новых политических условиях и в новом научном контексте. Он стал центральным научным органом по проблемам богемистики и общей славистики. В это время большое научное и практическое звучание получает упомянутая выше статья Б. Гавранека (см. [10]). Принципиально важными являются теоретические статьи В. Скалички о различии между копенгагенским и пражским структурализмом, об аналогии и аномалии, о теории падежей, статьи А.В. Исаченко о проблемах синхронной лингвистики, Б. Трнки о фонологической статистике, Ф. Данеша о взаимоотношении фонологии и фонетики, статьи Ф. Копечного и И. Польдауфа о глагольном виде, а также ряд статей Я. Белича по теории развития литературного языка.

Новый период в работе журнала "Slovo a slovesnost" наступил в 1953 г., когда он перешел в издательство вновь образованной Чехословацкой академии наук под эгидой Института чешского языка ЧСАН, первым директором которого стал академик Б. Гавранек (избран академиком в 1952 г.). Журнал лишился своей литературоведческой части и стал выходить под новым подзаголовком "Журнал по вопросам теории и культуры языка'. Он снова стал центром развития идей Пражской школы по проблемам общей теории и богемистики. Значимые в научном отношении проблемные статьи публиковались также в обновленном издании Travaux linguistique de Prague; первый выпуск (1964 г.) был посвящен достижениям Пражской школы на современном этапе, второй (1966 г.) – проблемам центра и периферии в системе языка, третий выпуск (1968 г.) содержал статьи по структурной лингвистике к VI Международному

[2]Позднее дополненный текст статьи был опубликован в сборнике работ [9].

[3]Текст статьи перепечатан в [11].

съезду славистов, выпуск 1971 г. – работы по фонологии, типологии и общей лингвистике.

Развитие лингвистической мысли Пражской школы получает отражение также в журнале "Наша речь", в трудах философского факультета Карлова университета – Slavica Pragensia, в ряде очень ценных в методологическом и теоретическом отношении сборников [13, 14], а также в других коллективных трудах, организатором и фактическим руководителем которых был акад. Б. Гавранек.

Важнейшие результаты своей деятельности в изучении теоретических принципов и их практической реализации в области исследования литературного языка Б. Гавранек обобщил в большом и целостном произведении – в сборнике "Работы о литературном языке" [15].

Уже в 50-е годы выкристаллизовывается линия сопоставительного изучения славянских литературных языков, о чем свидетельствуют прежде всего работы В.В. Виноградова, Б. Гавранека и других исследователей, давших большой импульс для развития этого направления во всей мировой лингвистике.

В своем программном докладе на V Международном съезде славистов в Софии (1963 г.) "Сравнительное изучение структуры литературных славянских языков" [16] Б. Гавранек показал специфичность сопоставительного изучения литературных языков и определил его основные задачи как с точки зрения анализа отдельных языковых уровней и стилевых пластов, так и с точки зрения литературного языка как целого. В этом докладе Б. Гавранек рассматривает взаимоотношение литературных языков и славянских диалектов, вопросы общей основы славянских языков с праславянской ретроспективой, проблемы древнейших культурных славянских языков, старосла вянского языка и его продолжения в отдельных ответвлениях церковнославянского языка. Можно сказать, что обсуждение на славистических съездах проблематики сопоставительного изучения литературных языков значительно продвинуло их рассмотрение как в плане конкретного описания, так и в аспекте методологическом.

Конференция о литературном языке и языковой культуре, организованная в Праге в 1968 г., в задачу которой входило активизировать широкие слои лингвистической общественности, вызвать у нее интерес к общим и конкретным вопросам культуры родного языка, послужила для Б. Гавранека стимулом для обобщения проблем теории литературного языка и объяснения характеризующих его антиномий: антиномии международности и народности, антиномии совершенствования языка, его способности выражать новые понятия, с одной стороны, и сохранения стабильности, континуума – с другой, и, наконец, антиномии рациональности и эмоциональности. Признавая функциональное расслоение литературного языка, Б. Гавранек выдвигает три основных критерия языка как единого целого: степень его интеллектуализации, степень стабилизации и степень его единства, находящихся в диалектической связи с его функциональным расслоением.

Весьма значительными представляются исследования Б. Гавранека в области литературных славянских языков. Им написаны работы об истоках культурного языка у славян, изложена концепция сопоставительного изучения литературных славянских языков. К первому циклу относится статья "Зачатки славянской письменности и литературы в Великой Моравии и их развитие в чешском государстве времен Пршемысловичей" [17], в которой особо подчеркивается выдающаяся роль первого славянского культурного языка. Значение миссии Константина и Мефодия он оценивает в ряде статей на немецком языке [18].

Интерес к проблематике литературных языков вызвал у Б. Гавранека также интерес к проблеме языковых контактов и языкового смешения. Так, в написанной на сербскохорватском языке статье "Проблематика смешения языков" [19] Б. Гавранек анализирует формы языковой интерференции в условиях коллективного билингвизма. В другой своей статье [20] он показывает, насколько односторонним было старое понимание смешения языков. На материале взаимодействия чешского и немецкого языков он доказал, что понятие "смешение" должно быть заменено понятием "взаимо-

отношение" между отдельными языками, которое следует рассматривать как взаимное сотрудничество и параллельное развитие языков.

В 60-е годы в области структурного изучения языков на первый план выходит анализ более высоких языковых уровней (морфологии и синтаксиса), хотя традиционная для ПЛК проблематика продолжает разрабатываться. С точки зрения системной и функциональной, с учетом синхронной динамики языковой системы и теории центра и периферии изучаются принципы организации и иерархия языковых систем, взаимоотношение различных языковых уровней, семантика и функции частей речи и грамматических категорий, критерии их классификации и размещения в модели описания естественного языка.

Группа грамматистов из Института чешского языка ЧСАН (Ф. Данеш, М. Докулил, К. Гаузенблас и др.) оригинально развивает принципы Пражской школы. Ими решаются вопросы взаимоотношения формы и функций, значения и содержания на синтаксическом уровне (см. [21–25]). Развитие словообразования было отмечено выходом в свет "Теории словопроизводства" М. Докулила [26], возникшей в связи с коллективной работой по словообразованию в Институте чешского языка ЧСАН. Лексикология получила развитие и теоретическое осмысление в работах Й. Филипца (см. [27, 28]). Появляются труды по проблемам перевода, стилистики. Под руководством П. Сгалла развивается математическая и прикладная лингвистика.

Сравнительно-исторический интерес Б. Гавранека получает выражение не только в его фундаментальном труде "Залог глагола в славянских языках" [1], но и в написанной позже по-русски работе "Залог глагола в старославянском языке в сравнительном плане" [29], которая представляет собой подробное описание на широком славянском фоне языковых средств выражения грамматической категории залога в старославянском языке с учетом развития этой категории в церковнославянском.

В последний этап своей деятельности Б. Гавранек занимается проблематикой структуры предложения в древнейших доступных для изучения периодах в развитии славянских языков [30]. Тщательность анализа фактического материала позволяет ему прийти к заключению о значительной автономности слова в старославянском предложении, особенно определенных форм глагола, что находится в соответствии с предположением об автономности слова в языках флективного типа. Отмеченная особенность получает выражение в свободном отношении личной формы глагола к субъекту, а также в ее частом начальном местоположении в предложении.

Несмотря на огромный диапазон научных интересов Б. Гавранек никогда не был кабинетным ученым. Ему всегда было свойственно глубокое понимание насущных потребностей общества, подлинный интерес к нуждам языковой практики. При реализации больших коллективных работ он выступал не только как инициатор и ответственный редактор, но и как соавтор. К их числу принадлежат девятитомный "Настольный словарь чешского языка" [31], четырехтомный "Словарь литературного чешского языка" [32], шеститомный "Большой русско-чешский словарь" [33], "Древнечешский словарь" [34], "Правила чешского правописания" [35] и другие работы.

Заботой о распространении родного языка и методах его обучения является написанная в соавторстве с А. Едличкой "Краткая грамматика чешского языка" (Stručná mluvnice česká. Praha, 1951), выдержавшая 12 изданий и переросшая из пособия для средних школ в пособие для высших учебных заведений (Mluvnice česká).

В обширном научном диапазоне Б. Гавранека одно из ведущих мест занимала русистика. Уже в своем получившем большую известность труде [1] русский язык на фоне других славянских языков был широкомасштабно представлен не только в плане теоретическом, но и в плане привлечения значительного фактического материала.

Особое отношение у Б. Гавранека было к представителям русской лингвистики. От своего учителя Й. Зубатого он унаследовал восхищение А. Потебней, особенно его работой "Из записок по русской грамматике", которую он считал непревзойденным образцом тонкого и проникновенного синтаксического анализа; с большим уважением относился к работам А.А. Шахматова, особенно к его концепции развития восточных

славян, к филологической интуиции А. Соболевского. Из своих современников Б. Гавранек высоко ценил Р.И. Аванесова, Б.А. Ларина, Л.А. Булаховского, Л.В. Щербу и Г.О. Винокура и особенно работы В.В. Виноградова, которого ценил за широту интересов и огромную эрудицию. К формально-структурной школе Ф.Ф. Фортунатова Б. Гавранек не питал особой симпатии, так как считал, что "... в нее следовало бы вложить немного значения" (см. об этом в [36]).

После освобождения Чехословакии Б. Гавранек поставил перед лингвистической общественностью важнейшие задачи, отвечающие новой политической ситуации: подготовку научных кадров в области русистики, создание на высоком научном уровне новых учебников и учебных пособий, подготовку учителей русского языка для средних школ и высших учебных заведений.

Совместно с профессором русистики Л.В. Копецким и славистом К. Горалеком Б. Гавранек руководил созданием "Большого русско-чешского словаря". Работа хорошо организованного, профессионального коллектива была солидной школой для чешских русистов, наиболее способная часть которых начала преподавать русский язык в высших учебных заведениях. Была открыта "Высшая школа русского языка и литературы" с педагогическим и переводческим отделениями, ректором которой стал академик Б. Гавранек.

Исключительные организаторские способности академика Б. Гавранека помогли соединить практические задачи с высокими научными требованиями, о чем свидетельствует основание выходившего до последнего времени журнала "Бюллетень русского языка и литературы" [37], популярного как в Чехословакии, так и за рубежом.

Уже в 50-е годы имевшая солидную базу чехословацкая русистика выделялась своей неповторимой спецификой, заключавшейся в применении метода В. Матезиуса и Б. Трнки аналитического сравнения языков. Усилия Б. Гавранека и его учеников были направлены на разработку принципов и развитие данного метода.

В начале 60-х годов в журнале "Чехословацкая русистика" и в других научных изданиях был опубликован ряд интересных теоретических статей, посвященных принципам сопоставительного изучения родственных и неродственных языков (К. Горалек, В. Барнет, В. Барнетова, О. Лешка, А. Куримский, Р. Мразек, М. Затовканюк и др.).

Сопоставительное изучение грамматического строя русского и чешского языков по инициативе Б. Гавранека началось в Чехословацкой академии наук. Первой большой работой этого цикла была "Настольная грамматика русского языка для чехов" [38], которая отвечала и практическим потребностям общества, и была пробным камнем в научно-исследовательской деятельности русистов. Как главный руководитель богемистики и чешской русистики акад. Б. Гавранек придавал большое значение теоретической подготовке кадров Следствием этого явилось написание ряда монографических работ, которые были опубликованы в серии "Главы по сравнительной грамматике русского и чешского языков" в 3-х т. [39]. Авторы этих монографических очерков опирались на обширный материал русского языка. Наряду с лексикографическим коллективом сформировался солидный коллектив грамматиков-компаративистов, который реализовал идею Б. Гавранека о создании большой научной грамматики русского языка. Написанная на русском языке двухтомная "Русская грамматика" вышла в Праге в 1979 г. под редакцией К. Горалека уже после смерти Б. Гавранека. Авторский коллектив, состоящий из виднейших чешских русистов (В. Барнетова, Г. Беличова, О. Лешка, З. Скоумалова и В. Стракова), поставил перед собой цель дать систематическое описание русского литературного языка на фоне чешского на всех языковых уровнях. Задачи системно-функционального описания русского языка авторы сочетали с традиционным для чешской лингвистики сопоставительным подходом.

Однако забота Б. Гавранека о создании научной школы русистов не уводила его в сторону "чистой науки". Будучи председателем комиссии по написанию учебников русского языка для школ, Б. Гавранек был в сущности их редактором и соавтором.

Без преувеличения можно сказать, что благодаря усилиям Б. Гавранека, Л.В. Копецкого, К. Горалека чехословацкая русистика заняла в мире ведущее место. Фонология получила научное описание в работах К. Горалека, Ц. Босака. М. Дюровича, А. Куримского, О. Лешки, З. Оливериуса, Й. Попелы, М. Ромпортла и др. Однако самое большое внимание русистами было уделено описанию грамматического строя русского языка в сопоставлении с чешским и словацким языками. Публикация в Братиславе двухтомного исследования А.В. Исаченко "Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким" (т. I – 1954, т. II – 1960), а также чешские и словацкие коллективные работы и монографии способствовали выработке сопоставительного метода изучения родственных языков, что являётся бесспорным вкладом чехословацких русистов в языковую теорию.

В морфологии внимание исследователей сосредотачивалось на изучении двух главных проблем: грамматических категорий и частей речи. Из грамматических категорий больше всего разрабатывался глагол. Исторический аспект отдельных морфологических категорий получил описание в работах В. Барнета, Ц. Босака, О. Лешки, Г. Кржижковой и др.

Начиная с 50-х годов в центре внимания чехословацких русистов находилась и синтаксическая проблематика. Сильные синтаксические коллективы образовались в Брно и на философском факультете Карлова университета в Праге. Синтаксическая проблематика разрабатывалась в монографиях и диссертациях. Внимание уделялось проблемам простого и сложного предложения, членам предложения, модальности, порядку слов, интерпункции и другим актуальным проблемам синтаксиса.

Почти все исследования в этой области были написаны с применением методов, широко распространенных, с одной стороны, в работах ПЛК, с другой – в Московской лингвистической школе с некоторыми элементами трансформационного и дистрибутивного анализа.

Считаем уместным отметить, что акад. Б. Гавранек проявлял большой интерес и к работам русских богемистов, которым он при всей своей занятости оказывал постоянную помощь.

Говоря об обширной научной и педагогической деятельности акад. Б. Гавранека, необходимо сказать и о его весьма плодотворной научно-организаторской работе как руководителя различных научных коллективов, обществ, объединений и как редактора ряда научных изданий.

С момента основания новой Чехословацкой академии наук и открытия Института чешского языка Б. Гавранек был его директором и научным руководителем большого коллектива сотрудников (с 1952 по 1963 г.), являлся также вице-президентом Международного комитета славистов, председателем Чехословацкого комитета славистов, членом Бюро постоянного Международного комитета лингвистов, членом Европейского лингвистического сообщества, членом Международной комиссии по изучению грамматического строя славянских языков и Парижского лингвистического объединения, председателем Чехословацко-польской лингвистической комиссии, активным членом научной Языковедческой коллегии Чехословацкой АН, председателем Комиссии по изданию древнечешской Библии, вице-председателем Комиссии по проблемам математической и прикладной лингвистики, членом орфографической комиссии и др.

Как уже отмечалось, с 1935 г. Б. Гавранек был ответственным редактором теоретического журнала "Slovo a slovesnost", а после смерти В. Матезиуса в 1945 г. – его главным редактором, с 1947 г. – членом редакции международного журнала "Slavia" и ответственным редактором его языковедческой части, с 1946 г. являлся членом редакции Byzantinoslavica, а с 1969 г. – его ответственным редактором, с 1949 г. был членом редакции научно-популярного журнала "Naša řeč". Академик Б. Гавранек являлся также членом редколлегий ряда научных международных журналов: "Zeitschrift für Phonetik и Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung" (Берлин), "Acta Linguistica Hafmensis" (Копенгаген), "Word" (Нью-Йорк) и др.

Значительным является участие Б. Гавранека в подготовке различных изданий. Так, он был членом редколлегии по изданию памятников древнечешской литературы, главным редактором и одним из составителей трехтомного издания "Избранные произведения чешской литературы догуситского и гуситского периода" [40], членом редакционного совета Национальной библиотеки. С 1957 г. Б. Гавранек являлся редактором серии Studie a práce lingvistické, издаваемой Институтом чешского языка ЧСАН, и ряда других изданий.

Академик Б. Гавранек был кавалером многих орденов и медалей, высоких правительственных наград, почетным доктором ряда университетов, членом Болгарской и Сербской АН, членом-корреспондентом ряда других зарубежных академий.

Подводя итог деятельности Б. Гавранека, следует сказать, что он внес существенный вклад в развитие и внедрение в практику ряда теоретических и методологических принципов, сущность которых состоит прежде всего в разработке функционального аспекта структурной лингвистики, в признании нормы в языке, а в связи с этим и динамической концепции языковой синхронии. Это тем более важно, что современные ему лингвистические направления сосредотачивали свое внимание на характеристике структуры как таковой, без учета функционирования языка в процессе коммуникации. Признавая комплексность языковых явлений и их иерархию в языке, Б. Гавранек, как и другие представители Пражской лингвистической школы, избегал того чисто формального антисемантического подхода, который так часто применялся лингвистами других направлений. В истории мировой науки Пражская лингвистическая школа занимает свое особое место, что блестяще показал в своей статье "Копенгагенский структурализм и Пражская школа" В. Скаличка еще в 1947 г. [41][4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Genera verbi v slovaskych jazycich. Praha, I – 1928; II – 1937.
2. Travaux du Cercle linguistique de Prague. 1929.
3. U základu pražské jazykovědné školy. Praha. 1970.
4. *Havránek B.* K funkčnímu rozvrstvení spisovného jazyka // Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
5. *Havránek B.* Nářečí česká // Československá vlastivěda. III. Praha, 1934.
6. *Havránek B.* Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura // Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha, 1932.
7. *Havránek B.* Vývoj spisocného jazyka českého // Československá vlastivěda. Ř. II. Praha, 1936.
8. *Havránek B.* Mluvnická kodifikace spisovne češtiny // Slovo a slovesnost. 1935. Č. 1.
9. Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
10. *Havránek B.* Zásady Pražského lingvistického kroužku a nová kodifikace spisovné češtiny // Slovo a slovesnost. 1947/1948. Č. 10.
11. Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
12. *Vachek J.* "Slovo a slovesnost" jako tribuna Pražské školy jazykovědné v letech 1935–1943 // Slovo a slovesnost. 1965. Č. 4.
13. O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha, 1958.
14. Problémy marxistické jazykovědy. Praha, 1961.
15. *Havránek B.* Studie o spisovném jazyce Praha, 1963.
16. *Havránek B.* Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských // Československé přednášky pro V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Praha, 1963.

---

[4]Характеризуя оба направления структурализма, В. Скаличка убедительно доказал, что копенгагенская лингвистика Л. Ельмслева сильно редудирует семиологическую проблематику, которая у него подчинена проблеме формы, структуры и образования, в то время как Пражская школа всегда уделяла большое внимание проблемам семасиологии и семантики, что на протяжении нескольких десятилетий получало отражение в работах ее последователей.

По мнению В. Скалички, с которым нельзя не согласиться, Пражскую лингвистическую школу характеризуют две принципиальные новации:

1) во-первых, это структурность, т.е. углубленная разработка системно-структурного метода, который решает проблему образования языков и взаимосвязи их частей;

2) во-вторых, это функциональная лингвистика, в которой функция означает не отношение, как у Ельмслева, а ц е л ь, з а д а ч у (úkol). А это значит, что пражская лингвистика решает проблемы семасиологические.

17. *Havránek B.* Počátky slovanského písma a psaně literatury v době velkomoravské // Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury. Praha, 1963.
18. *Havránek B.* Die Bedeutung Konstantin und Methods für die Anfänge der geschribenem Literatur in Grossmmähren // Cyrilo-Mehodianische Fragen. Wiesbaden, 1968.
19. *Havránek B.* Problematika mješanja jezyka // Zadarska revija. 1964. 13.
20. *Havránek B.* Zur Problematik der Sprachmisachung // TLP. 1966. № 2.
21. *Dokulil M., Daneš Fr.* K tzv. významové a mluvnické stavbě věty // O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha, 1958.
22. *Hausenblas K.* Syntaktická závislost, způsoby a prostředky jejich vyjadřování // Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. 1962. Č. 6.
23. *Daneš Fr.* Syntaktický model a syntaktický vzorec // Československé přednášky pro V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Praha, 1963.
24. *Horálek K.* K teorii věty // Slovo a slovesnost. 1965. Roč. XXVI.
25. *Leška O.* K otázce syntaktických vztahů a jejich vyjadřování // Bulletin ruského jazyka a literatury. 1962. Č. 6.
26. *Dokulil M.* Tvoření slov v češtině. I: Teorie odvozování slov. Praha, 1962.
27. *Havránek B., Filipec J.* Lexikálně sémantická výstavba hesla // O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha, 1958.
28 *Filipec J.* Česks synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie. Praha, 1961.
29. *Havránek B.* Залог глагола в старославянском языке в сравнительном плане. Praha, 1963.
30. *Havránek B.* Větná struktura v nejstarších fazích slovanských jazyků // Československé přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika. Praha, 1973.
31. Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957.
32. Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1958–1970.
33. Velký rusko-český slovník. Praha, 1952–1954.
34. Slovník staročeský. D. II. Praha, 1968.
35. Pravidla českého pravopisu. Praha, 1957.
36. *Leška O.* Zásluhy B. Havránka o budování a rozvoj české rusistiky // Slavica Pragensia. 1993. XXXIV.
37. Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. Praha, 1956 (позже – Bulletin ruského jazyka a literatury).
38. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. D. I: Hláskosloví, Praha, 1961; D. II: Skladba, Praha, 1960.
39. Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. Praha, D. I – 1956; D. II – 1961; D. III – 1968.
40. Výbor z české literatury doby předhusitské a husitské. Praha, D. I – 1957; D. II – 1 – 1963; D. II – 2 – 1964.
41. *Skalička V.* Kodaňský strukturalismus a Pražská škola // Slovo a slovesnost. 1947–1948. Roč. X.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1994

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Latein und Indogermanisch. Akten des Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft, Salzburg, 23–26 September, 1986. Hrsg von Panagl O. und Krisch T. Innsbruck, 1992. 415 S.

Рецензируемая книга содержит материалы коллоквиума Индогерманского общества, состоявшегося в Зальцбурге в сентябре 1986 г., но опубликованные только в 1992 г. По словам издателя тома О. Панагля, это время не пропало даром, т.к. тексты многих докладов были значительно расширены их авторами, специально для этого издания была написана статья Р Шмиттом, и книга поэтому выходит за рамки непосредственного воспроизведения докладов симпозиума, и представляет "значительный и весомый документ, свидетельствующий об уровне современных исследований латинского языка". В коллоквиуме принимали участие известные лингвисты из Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Израиля и США. Опубликовано 20 докладов, которые охватывают широкий круг проблем, актуальных для современной лингвистики, и сгруппированных тематически по разделам: Фонология. История фонем; Морфология. Имя. Глагол; Синтаксис; Этимология. Лексикология. Ономастика. Тема коллоквиума: "Латынь и индоевропейский" предполагала, как отмечает Х. Рикс, обязательство сравнивать две грамматики, праиндоевропейскую и латинскую, в целом или в подсистемах, и точно так же, как каждая реконструкция должна быть проверена сопоставлением с праиндоевропейской грамматикой, и каждое новое объяснение языкового явления должно рассматриваться на фоне развития всей подсистемы (с. 224). Все работы представляют собой законченные исследования со своей проблематикой, своим подходом к языковому материалу и библиографией, отражающей наиболее значительные работы в каждой отдельной области латинского и индоевропейского языкознания.

Две публикации (Э. Риш, К.Х. Шмидт) вынесены за рамки указанных разделов. Очень интересный доклад Э. Риша "Индоевропейские основы латыни" служит введением в проблематику всего коллоквиума. Автор подчеркивает, что определить отношение латинского языка, столь хорошо известного, к реконструируемому праиндоевропейскому языку трудно, главным образом потому, что о соседних языках известно мало и не ясно, объясняются ли сходства латинского и италийских языков их общим происхождением из "праиталийского" языка или их взаимным многовековым влиянием внутри языкового союза. В статье К.Х. Шмидта рассматривается дискуссионный вопрос, обоснованы ли сходства латинского и кельтских языков тем, что они относились к одной генетической группировке языков, или генетическое родство сочеталось с рано установившимися ареальными связями. Автор склоняется к последнему решению (ср. [1]).

В разделе "Фонология" две работы: Статья Х. Айхнера "Индоевропейская система фонем и история фонем латинского языка", имеющая в основном методологический характер, и статья Г. Хенигсвальда, посвященная нерешенному до сих пор вопросу о слоговых границах и ослаблении гласных в латинском языке. Анализируя слова, содержащие группу согласных muta cum liquida, Г. Хенигсвальд обращает внимание на имеющееся у них противоречие: начальное место ударения в слове, например, *cōnsecrat* определяется кратким предпоследним слогом (т.е. слоговые границы *cōn-se-crat*), но ослабление этимологического гласного *a* > *e* (ср. *sacrāre – cōnsecrāre*) проходило лишь в закрытом долгом слоге (т.е. слоговые границы *cōn-sec-rat*). Автор предлагает новое решение этой загадки,

интересовавшей еще античных филологов, доказывая, что к тому периоду, когда начался процесс ослабления гласных в срединных слогах, решающим фактором изменения была старая морфемная граница. Поэтому изменение гласного в основе **cōn-sac-r-ā-* > *cōnsecrāre* было иным, чем в основе, например, **reco-proco-* > *reciprocus*.

В разделе "Морфология. Имя" большая работа Г. Клингеншмитта посвящена именной флексии в латыни. На основе сравнения латинских типов склонения с оскским и умбрским материалом, а также данными других древних индоевропейских языков, автор анализирует алломорфы падежных окончаний, реконструирует парадигмы типов склонения в праиндоевропейском языке, в праиталийском языке, в латинском и оскско-умбрском. Он изучает также различные возможные объяснения происхождения падежных окончаний и флексионных типов, попутно исследует этимологии многих слов. При рассмотрении каждого отдельного типа склонения Г. Клингеншмитт выделяет один или несколько основных нерешенных или спорных вопросов, так в I склонении: происхождение имен мужского рода; во II склонении: происхождение и первоначальное функциональное различие окончаний генитива ед.ч. **-osio* (̂); и **-ī*. В III склонении: причины утраты самостоятельности флексионного класса основ на *-i-* и класса консонантных основ; в IV склонении: количественная характеристика конечного *-u* в форме номинатива-аккузатива ед.ч. имен среднего рода; в V склонении: происхождение основ на *-ē-* и на *-iē-*. Очень интересно предлагаемое автором объяснение происхождения окончания *-ī* генитива ед.ч. основ на *-o-*. Г. Клингеншмитт доказывает, что оба латинских окончания генитива ед.ч. (**-osio* (̂); и **-ī*) являются продолжением индоевропейских окончаний. Сравнивая латинское окончание **-ī* с тохарским идентичным окончанием **-ī* генитива ед.ч. основ на *-o-*, он определяет первичную функцию и область распространения форм на **-ī*: обозначение родственной принадлежности, т.е. "сын (чей) – NN" или "отец (чей) – NN". Автор приходит к выводу, что форма на **-ī* изначально входила в парадигму личных имен. Сопоставляя затем окончание генитива **-ī* с древнеиндийским слообразовательным суффиксом **-ih-*, обозначающим принадлежность (ср. *rátha-* "повозка": *rathí-* "возничий"), Г. Клингеншмитт отмечает помимо сходства значений общий формальный признак: отсутствие **-o-* в исходе основы перед **-ī* или **-ih-*. Это позволяет автору предполагать историческую связанность той и другой формы и видеть в форме на **-ī* (<**-ih*) реликт дофлективного периода праиндоевропейского языка.

В том же разделе "Морфология. Имя" еще две статьи. Ю. Унтерман исследует процесс формирования корневых имен в латыни. Отмечая, что формальная модель односложного слова была унаследована от праязыка, он показывает, что ряд индоевропейских корневых слов подверглись в предыстории латинского языка расширению за счет присоединения основообразующего согласного или гласного, а также суффикса. Довольно большое число латинских односложных слов восходят к индоевропейским двухсложным словам или представляют собой новые лексические единицы. Автор исследует семантическую организацию латинских односложных слов и показывает, что частично они продолжают использоваться в области, унаследованной от праязыка, обозначая животных, части тела, день и ночь, частично же принадлежат к другой области, отражающей "архаичную программу жизни древнего Рима" (с. 152).

Теоретические принципы исследования изменений по аналогии в синхронии и в диахронии – необходимость учета множественности факторов изменения, рассмотрение аналогических процессов в области именной флексии, которые проходили от общеиндоевропейского языка ко времени становления латинского языка, – составляют содержание доклада Т. Криша.

Раздел "Морфология. Глагол" представлен тремя публикациями. Следы акростатического презенса в латинском языке прослеживает Л. Изебаэрт, исследуя глагольные и именные формы с долгим гласным в корне. Г.-Д. Поль обращается к неоднократно дискутировавшейся проблеме происхождения имперфекта на *-bā-* и будущего на *-b-* в латинском языке [2]. Подвергнув критике принятую большинством ученых композиционную теорию происхождения форм на *-bā-* (**-bhuā̆-* (̂)), он предлагает новое объяснение, усматривая в суффиксальном *-b-* элемент-"устранитель хиата". Интерпо-

ляция такого *-b-* имела место в формах претерита с и.е. суффиксом **-ā-* например, **daāt → dabat* и в формах будущего времени, которые были продолжением и.е. кратковокалического конъюнктива, например, **īit → ībit*. Появлению элемента *-b-*, устраняющего хиат в формах глагола, способствовало, по мнению автора, аналогическое влияние отглагольных образований, включающих в состав суффикса *-b-*, (*fābula, flābrum, amābilis*).

Одним из трудных и нерешенных вопросов морфологии латинского глагола является вопрос о происхождении перфекта на *-vī*, который рассматривается в работе Х. Рикса "К происхождению латинской парадигмы перфекта". Х. Рикс связывает вопрос о происхождении перфекта на *-vī* с другим не менее спорным вопросом о происхождении элемента *-is-/-er-*, участвующего в образовании многих форм подсистемы перфекта, и рассматривает происхождение сегмента *-vis-* в формах (например, 2 л.ед.ч. *portāvistī*). Согласно гипотезе Х. Рикса, перфект на *-vī* сформировался в классе деноминативных глаголов, которые не имели корневого перфекта, но в функции перфекта использовалась перифраза: причастие перфекта действительного залога на **u̯ōs-/-us-* в сочетании с формами глагола "быть", например, у глагола *portāre* форма 1 л.ед.ч. **prtā-u̯ōs esmi*, 1 л.мн.ч. **prtā-u̯oses smes*. Допуская несколько фонетических и морфологических преобразований этой исходной структуры, автор приводит ее к такому виду, в котором можно выделить сегмент *-vis-*. Таким образом, в формах, содержащих слог *-vis-* (ср. *portāvistī, portāvisse* и др.), по утверждению автора, нет и следа сигматического аориста, с которым многие лингвисты связывали происхождение элемента *-is-/-er-* [3, 4]. Но в так называемых "кратких" формах перфекта (например, *portāstī, portāstis, portārunt* и др.) Х. Рикс признает происхождение *-s-* из сигматического аориста (с. 227 и сноски 21 и 22). Таким образом, по теории Х. Рикса, в латинском языке имеются две различные по происхождению парадигмы: "полные" формы перфекта на *-vī*, которые развились из перифрастического перфекта, и "краткие" формы по происхождению из сигматического аориста. При всей привлекательной простоте этого решения оно не бесспорно. Столь характерный для многих веков истории латинского языка параллелизм "полных" и "кратких" форм, с одной стороны, отсутствие форм 1 и 3 л.ед.ч. и 1 л.мн.ч. в парадигме "кратких" форм, с другой стороны, наконец, архаизм смешанной парадигмы типа *nōvī, nōstī, nōvit*, подтверждаемый сравнительным материалом тохарского, хеттского и отчасти венетского языков [5] вынуждают предполагать более сложный путь развития этих форм в предыстории латинского языка.

В разделе "Синтаксис" три работы, в которых исследуется конкретный материал, относящийся к грамматике падежей и к структуре латинского предложения как простого, так и сложного. Генитив, проблемы его происхождения, древнейшей семантики и функционирования в латинском языке являются предметом исследования Г. Серба. Анализируя синтагмы типа гомеровского ὀπτῆσαι κρεῶν "изжарить мяса" и раннелатинского *infundito aquae* "пусть вольет воды", автор показывает, что такой партитивный генитив отличается от остальных падежей тем, что их окончания указывают на синтаксическую функцию слова в предложении, когда как партитив дает кватитативное определение (с. 289). По мнению Г. Серба, эта партитивная форма должна быть отнесена не к падежам, но к формам, не имеющим синтаксического значения, а характеризующимся значением квантитативным, как формы единственного числа (целостность), двойственного, множественного числа. В своем происхождении партитив, обозначая предмет как часть целого, относится к периоду предыстории общеиндоевропейского языка, когда еще не сформировалось склонение. Приименное употребление генитива, столь характерное для него в отдельных индоевропейских языках, может быть выведено, по утверждению Г. Серба, из более раннего приглагольного употребления.

Работа Х. Розен посвящена проблеме пролепсиса в латинском языке. В статье, построенной на большом текстовом материале доклассической и классической латыни с привлечением типологически сходного кельтского материала, дается определение пролепсиса, выявляется его функция в предложении – объявление темы сообщения – рассматриваются различные виды пролепсиса в латинском языке.

Г. Хеттрих на основе сравнения систем

условных предложений в ведийском и гомеровском греческом языках реконструирует модель условного предложения в общеиндоевропейском языке, опираясь на которую исследует путь образования типов условного предложения в латинском архаическом и затем классическом языке, когда только окончательно сложился тип ирреального условного предложения.

В последнем разделе сборника "Этимология. Лексикология. Ономастика" шесть статей. Четко изложенная, со множеством примеров статья Б. Форсмана, имеющая в основном методологический характер, представит интерес для всех, кто занимается этимологическим исследованием и, в частности, этимологией латинских слов. Работа О. Семереньи посвящена исследованию происхождения ряда латинских слов. Он анализирует три группы слов: 1) значившиеся в этимологических словарях как слова "d'origine inconnue", 2) слова, которые казались этимологически прозрачными, но относительно структуры которых оставался ряд невыявленных вопросов. Среди них такие широко употребительные слова, как *prīdie* "накануне", *hēres* "наследник", *sollemnis* "ежегодно празднуемый", *September – December* и др. 3) слова, появившиеся в латыни как кальки с греческих слов. Автор показывает, что, например, лат. *antiquus* в своих значениях "древний, лежащий впереди", а в формах сравнительной и превосходной степени "предпочтительный, более значительный" сохраняет семантику греч. πρέσβυς. Очень интересно происхождение латинского термина *res publica*, имеющего огромное значение для всей мировой истории. Как показывает О. Семереньи, этот термин есть калька с греческого слова δημοσιον "государство", которое представляет собой форму среднего рода прилагательного δημοσιος "принадлежащий народу". Так как в Риме соответствующее прилагательное в форме среднего рода *publicum* уже использовалось в значении "государственная собственность", то греч. δημόσιον в нужном специальном значении было передано латинским словосочетанием *res publica*. Возникновение этого термина относится, по мнению Семереньи, ко времени падения царской власти в Риме и отражает установления греческого демократического полиса.

О. Панагль в своем докладе рассматривает некоторые специальные проблемы латинского словообразования. Так проанализировав причастие на *-to-* и отыменное прилагательное на *-to-*, он приходит к выводу о категориальном переходе этого образования от имени к глаголу. Автор выделяет промежуточную фазу в истории латинского языка, когда в качестве конкурирующих форм выступали причастие на *-to-* и прилагательное на *-bilis*, употреблявшееся в тексте Плавта в функции причастия пассивного залога. Он отмечает двойственность залогового значения причастия на *-to-*, имеющего и пассивное и активное значение, например, *tacitus* "молчащий", что не получило еще окончательного объяснения.

М. Йоб исследует в рамках теории речевого акта латинские перформативные глаголы и ставит вопрос о возможности реконструкции лексической микросистемы таких глаголов.

Композитам с *co(n)-*, рассматриваемым в функциональном и сравнительном плане, посвящена статья Х. Розена, в которой он доказывает, что приписываемая превербу социативно-комитативная функция появилась лишь на последнем этапе республиканской латыни, в доклассической же и классической латыни функция преверба *co(n)-* состоит в том, что он придает глаголу терминативное значение и меняет валентность глагола.

В большой работе "Индоевропейская и древняя латинская система личного имени" Р. Шмитт исследует процесс формирования трехчленной системы латинского личного имени, радикально отличающейся от индоевропейской ономастической системы, которая построена на принципе идионима (ἴδιον ὄνομα). Автор показывает, что у разных народов средней Италии, в том числе у этрусков, в I тысячелетии до н.э. были обязательны два имени: личное имя (praenomen) и имя рода (nomen gentīle), т.е. эта система не связана с языковым родством. Третье дополнительное имя (cognomen), появившееся в 5–4 веках до н.э. в патрицианских родах, было в отличие от родового имени первоначально так же личным именем, как и praenomen, ставшее необходимым для идентификации отдельного лица в сильно разросшихся родах. Р. Шмитт подчеркивает, что в этой системе личного имени центральным именем и основным новшеством является имя родовое (nomen gentīle). Исторически оно восходит к имени первого в роду pater familias. На

основании лингвистического исследования автор приходит к выводу, что эта ономастическая система возникла в городе Фалерии и оттуда была перенесена в другие города к другим народам средней Италии.

В заключение следует сказать, что авторы статей сборника, ведущие лингвисты, дали пример того, как тщательное исследование латинского материала с привлечением сравнительных данных других индоевропейских языков может привести к новой интереснейшей интерпретации различных, порой загадочных явлений языка и тем служить прогрессу современной лингвистики и филологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bednarczuk L.* The Italo-Celtic hypothesis from the Indo-European point of view // Proceedings of the first North American Congress of Celtic studies / Ed. by MacLennan G.W. Ottawa, 1986.
2. *Monteil P.* Éléments de phonétique et de morphologie du latin. P., 1970. P. 327–328.
3. *Leumann M.* Lateinisches Laut-und Formenlehre. München, 1977. S. 608.
4. *Safarewicz J.* Historische lateinische Grammatik. Halle, 1969. S. 233.
5. *Bader F.* Flexions d'aoristes sigmatiques // Etrennes de septantaine. Travaux de linguistique et de grammaire comparée offerts à Michel Lejeune. P., 1978.

Б.Б. Ходорковская

Haspelmath M. **A grammar of Lezgian.** B.; N.Y.: Mouton-de Gruyter, 1993. XX + 567 p.

Лезгинский язык нельзя отнести к числу малоизученных; прежде всего это один из немногих литературных языков Дагестана, и в силу своего статуса он, по крайней мере минимальным образом, "лингвистически обслужен" (тексты, словари, учебные пособия и т.п.); этот язык был объектом немалого числа монографических описаний, начиная еще от грамматики П.К. Услара (1896) и включая очерки Л.И. Жиркова (1941), Б.Б. Талибова и М.М. Гаджиева (1966), У.А. Мейлановой (1967) и др. Материал лезгинского языка в разные годы использовался многими кавказоведами, типологами и теоретиками, от Н.С. Трубецкого до Л. Ельмслева; в совсем недавнее время лезгинские данные сыграли особую роль в обсуждении проблем эргативности (кстати, с участием автора данной книги: см. прежде всего [1–2]; ср. также [3]). Вместе с тем, конечно, и этот язык еще ждет своего исчерпывающего описания: существующие публикации лишь облегчают путь к составлению такого описания, но отнюдь не заменяют его.

Общеизвестно, насколько болезненной является в лингвистике проблема создания хороших описательных грамматик: удачи в этой области можно буквально пересчитать по пальцам. Однако книга М. Хаспельмата, похоже, может претендовать на то, чтобы считаться счастливым исключением в этом трудном, неблагодарном жанре.

Ключевое слово для характеристики этой книги – основательность. Автор спокойно, неторопливо, на протяжении пятисот с лишним страниц ведет читателя лабиринтами структуры лезгинского языка (кто занимался языками Дагестана, знает, что "лабиринты" – это отнюдь не метафора), ничего не забывая и, хочется сказать, не теряя хладнокровия. При этом изложение организовано таким образом, что интересы читателя оказываются соблюдены в максимальной степени. Прежде всего, книга полностью свободна от теоретической "ангажированности" – ни в терминологии, ни в общей концепции изложение не связано с какой-либо одной "школой" и равно доступно любому грамотному профессионалу. Вместе с тем, автора нельзя и упрекнуть в эклектичности: немногие базовые термины отобраны весьма тщательно, и чувствуется, что автор обладает продуманной лингвистической концепцией, которую лишь из уважения к жанру оставляет за рамками изло-

жения. Впрочем, при обсуждении таких тем, как, например, определение подлежащего или лабильные глаголы, наряду с описательной частью присутствуют краткие, но содержательные теоретические рассуждения (подробнее см. ниже).

Другим достоинством книги является полнота и самодостаточность представленных данных: изложение не только охватывает фонологию, морфологию и синтаксис лезгинского языка, но, кроме того, в книге приводится список всех лезгинских аффиксов, а также краткий лезгинско-английский (ок. 1,5 тыс. лексем) и англо-лезгинский словарь, причем в лезгинско-английской части все лексемы снабжены необходимой фонологической, морфологической, синтаксической и этимологической (заимствования) информацией: так, для существительных отмечаются основы эргатива и (в случае необходимости) множественного числа, для глаголов – падежная рамка, формы аориста и императива, и т.п. Даже если бы автор ограничился только этим, книга уже приобрела бы бесспорную ценность в глазах кавказоведов. Крайне полезным представляется также включение в книгу корпуса из шести текстов, отражающих весьма широкий спектр возможностей лезгинского литературного языка: от поэзии Етима Эмина XIX в. (приводится одно из наиболее известных его стихотворений, "Соловей", написанное в традиции восточных газелей) до заметки 1990 г. из газеты "Коммунист" (еще!) об учредительном съезде общелезгинского национального движения "Садвал" (уже!)... Все тексты (среди них – рассказ, научная проза, отрывок из театральной пьесы) даны в лезгинской стандартной орфографии, латинской транслитерации с морфемным членением и поморфемным переводом и в английском переводе; приводятся также по одному образцу арабской и латинской графики: здесь в очень сжатом виде – целый век истории лезгинского народа и лезгинской культуры.

Наконец, следует обратить внимание на то, что все без исключения примеры в книге не только даны в поморфемном переводе (это все-таки уже стало нормой для работ по типологии), но и снабжены системой перекрестных отсылок, в книге более тысячи примеров, и с помощью специального указателя читатель может значительно расширить число иллюстраций интересующего его явления; примеры из текстов также включены в указатель. Выгодным отличием книги М. Хаспельмата от большинства типологических работ является также то, что практически все примеры взяты из реальных текстов на литературном лезгинском языке (разумеется, в каждом случае даны соответствующие отсылки); это существенно повышает ценность корпуса примеров и, кроме того, в очередной раз заставляет оценить объем и основательность подготовительной работы автора.

Все сказанное характеризует, прежде всего, культуру обращения с материалом, которая в данной работе является чрезвычайно высокой, в некотором смысле – образцовой. Перейдем теперь к краткому обзору структуры книги как таковой, отмечая наиболее интересные с типологической точки зрения и/или наиболее спорные фрагменты.

Книга состоит из четырех больших разделов: "Вводные замечания", "Фонология", "Морфология", "Синтаксис" и их Приложений, в которые входят тексты и словари (см. выше). В первом разделе приводятся сведения о генетической принадлежности лезгинского языка, его диалектном членении, языковых контактах, краткой истории народа; здесь же дается информация о структуре и оформлении работы. Очень полезным представляется включенный в этот раздел "Обзор лезгинской грамматики", суммирующий в сжатом виде все типологически интересные черты этого языка. Единственное, чего, может быть, не хватает в данном разделе – это хотя бы кратких сведений об истории его изучения и наиболее важных публикациях; впрочем, их отчасти заменяет очень подробная библиография и разбросанные по всему тексту ссылки на соответствующие издания.

В фонологическом разделе описывается инвентарь гласных и согласных фонем, фонотактика (структура слога, сингармонизм и т.п.), морфонологические чередования, ударение, а также правила транслитерации и орфографии. Вокалическая система, при ее внешней простоте, весьма своеобразна: в частности, обращает на себя внимание отсутствие фонемы /o/ при наличии фонем /i/, /u/, /e/, /æ/ и /a/. Другой характерной особенностью современного лезгинского языка является выпадение некоторых гласных в безударных слогах – процесс, не полностью завершенный и в настоящее время и существенным образом отражающийся в лезгинском словоизменении.

В работе принята транслитерация современной лезгинской орфографии (на русской основе), что продиктовано понятными практическими соображениями, но часто оставляет ощущение неудовлетворенности, поскольку тем самым на письме не обозначается ударение и не отражается фонологическое различие между неаспирированными и аспирированными смычными, ср. *čil* "земля" ~ *čil* "сеть", орфографически оба (после 1962 г.) записываются как *чил*. Конечно, сведения об ударении и произношении имеются в словаре, но, может быть, эту информацию целесообразно было бы отражать и в примерах; ударение при этом можно было бы обозначать только в тех сравнительно немногочисленных случаях, когда оно отклоняется от стандартной позиции второго от начала слога: *gíla* "теперь", *ína* "здесь", *ištirák* "участие" и т.п. (как это принято, например, в современной испанской орфографии). Эти небольшие усовершенствования значительно облегчили бы восприятие примеров.

Морфологический раздел состоит из семи глав, посвященных, соответственно, существительным, прилагательным, глагольному словоизменению, глагольному словообразованию, местоимениям, наречиям и послелогам и, наконец, числительным и "частицам". В главах, посвященных именной и глагольной морфологии, описываются сначала формальные правила распределения соответствующих показателей, а затем – их "функции", т.е. значения грамматических категорий. У существительных это категории числа и падежа/локализации, у глаголов – категории вида, времени и наклонения; подробно рассматриваются также неличные глагольные формы – масдар, причастия, инфинитив, деепричастия. Дополнительно характеризуются четыре архаичные (диалектные?) глагольные формы, имеющиеся в грамматике Услара, но (практически) не употребляющиеся в современном литературном языке. При характеристике словообразовательных морфем формальная и семантическая информация приводится одновременно (наиболее подробно описано образование каузативов и репетитивов у глаголов). В целом же лезгинская словообразовательная система характеризуется как сравнительно бедная; слообразовательные функции часто передаются синтаксическими средствами, прежде всего так называемыми перифрастическими глаголами (может быть, в соответствующем разделе грамматики полезно было бы отметить возможность персидского влияния на лезгинский или, по крайней мере, значительную типологическую близость этих языков в данном аспекте).

Конечно, не может не бросаться в глаза контраст между объемными и тщательно выстроенными "формальными" частями морфологического раздела и лапидарными "функциональными" частями. Предъявлять претензии к автору не следует: he did his best, просто здесь отражается тот объективный факт, что современная лингвистика, обладая достаточно развитым метаязыком для описания формальных морфологических и синтаксических механизмов, практически не обладает метаязыком для описания грамматической семантики. И все же, позволим себе несколько замечаний. В разделе о функциях субстантивного числа основное внимание уделяется принципиальной возможности/невозможности образования формы множественного числа для тех или иных групп лексем; между тем, типологически закономерно ожидать, что в лезгинском языке будут действовать иные, чем например, в индоевропейских языках правила употребления показателя множественного числа даже у тех существительных, которые в принципе свободно образуют плюральные словоформы. В тюркских и иранских языках данного ареала, например, выбор показателя числа чувствителен к референтному/нереферентному статусу имени, а лезгинский язык не только является агглютинативным, но и находится под сильным тюркским влиянием (автор отмечает это в фонологическом разделе), что повышает вероятность подобных явлений.

В разделе о глагольных категориях наиболее существенная трактовка базовых противопоставлений: автором выделяются четыре таких значения, которые он называет имперфективом, или прогрессивом (впрочем, термин "дуратив" здесь кажется более уместным), перфектом, аористом и футурумом; имеется также дополнительно противопоставленный им всем континуатив. Кроме того, выделяется категория времени, имеющая значения прошедшего (показатель *-j*) и непрошедшего (нулевой показатель); показатель прошедшего времени сочетается со всеми четырьмя перечисленными выше граммемами.

Основная проблема при такой трактовке состоит, с нашей точки зрения, в характеристике лезгинского "футурума": каким

образом среди членов видовой парадигмы оказывается эта, казалось бы, чисто временна́я граммема? Между тем, факты допускают и иную интерпретацию. Особенность лезгинского футурума (его основной показатель *-da*) состоит в том, что он выражает не только значение будущего, но и хабитуальное значение, а также (особенно в комбинации с показателями прошедшего времени) значение предположения (автор сравнивает последнее с "будущим в прошедшем" романских языков, типа франц. aura été). Автор предлагает диахроническое объяснение этому совмещению функций (прежде форма на *-da* выражала весь спектр презентно-футуральных значений, а теперь часть их передана другим категориям), оставляя открытым вопрос о его синхронной интерпретации. Между тем, описываемая система приобрела бы бóльшую стройность и логичность, если бы форма на *-da* была признана не временем, а особым видом – потенциалисом. Это позволило бы легче объяснить целый ряд ее "модализованных" употреблений (в сценических ремарках, в пословицах и т.п.), и прежде всего – гипотетические употребления, возникающие в сочетании с показателем прошедшего времени; иначе же приходится постулировать морфологический нонсенс "показатель будущего + показатель прошедшего": ситуация не невозможная, но, вообще говоря, теоретически весьма неприятная. Наконец, "видовое" решение типологически естественно для дагестанского ареала, где "чистое" будущее представлено в очень слабой степени и, напротив, широко распространено именно "модализованное" будущее (из языков лезгинской группы очень характерны в этом плане арчинский и табасаранский). К сожалению, для окончательных выводов в грамматике слишком мало материала.

Наряду с тщательным описанием "традиционных" частей речи, автор счел возможным посвятить около 10 страниц "частицам" лезгинского языка; это можно только приветствовать, и не вина автора, что этот раздел один из самых эскизных и вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Прежде всего, неясны сами критерии выделения этого класса: если это морфологическая неизменяемость, то чем "частицы" отличаются от наречий? Если это семантические особенности, то какие? Так например, неясно, чем "частица" *мад* "еще; опять; больше (не)" отличается от бесспорных наречий типа *фад* "рано" или *артух* "больше"; более того, лексема *гьеле* "уже; еще" названа "частицей" в гл. 13 (с. 239 и сл.), но рассматривается и среди "наречий" в гл. 12 (с. 210 и сл.). Описание семантики частиц, конечно является отдельной и очень сложной задачей, и данные грамматики М. Хаспельмата могут рассматриваться только как предварительный и очень фрагментарный набросок (в особенности, когда автор пользуется приемами типа: "функции частицы *мад* очень похожи на функции немецкой частицы *noch*..."). Любопытно, что даже тексты из Приложения дают примеры употребления частиц, не отраженные в грамматике: так, для слова *мад* "еще" на с. 459 находим: *Вучиз Варис кIвализ фена? **Мад** къари дили жеда...* "Зачем Варис пошел в дом? Старуха еще (≈ "чего доброго") с ума сойдет..." Возможно, такое употребление возникло под русским влиянием (частицы вообще один из наиболее чувствительных к языковым контактам слой лексики), но, как бы то ни было, оно существует и довольно резко выбивается из "темпорально-квартитативной" сферы употреблений слова *мад*.

Синтаксический раздел – один из наиболее полных и наиболее впечатляющих в книге. Здесь, по-видимому, описание М. Хаспельмата близко к исчерпывающему. Его образуют 11 глав, касающихся как синтаксиса словосочетаний, так и синтаксиса предложения, как монопредикатных, так и полипредикатных конструкций, а также синтаксиса вопросительных и сравнительных конструкций. Хотелось бы специально отметить главы, посвященные способам выражения глагольных валентностей (гл. 15) и общим вопросам синтаксиса предложения (гл. 16). В этих главах не только приводится полный список существующих в лезгинском языке падежных рамок (с делением на стандартные – т.е. содержащие актант в абсолютиве – и нестандартные, например, *эргатив + локатив*), но и рассматриваются вызвавшие много дискуссий в лингвистической литературе проблемы лабильных глаголов и определения подлежащего в лезгинском языке. Показано, что, хотя лезгинский язык и принадлежит к числу ярко выраженных "role-dominated languages", тем не менее известный тест Э. Кинена дает возможность выделить небольшое количество субъективных свойств у агенса в эргативе и экспериенцера в дативе (наряду с единственным

актантом одноместного глагола в абсолютиве): это прежде всего кореферентное опущение актанта при вставленном предикате и выбор инфинитивного/деепричастного оформления предиката, подчиненного глаголу *кIан-* 'хотеть'. Автор отвергает аргументы И.А. Мельчука в пользу субъектной трактовки абсолютива во всех случаях, указывая, что его концепция основана на неоправданной генерализации свойств лабильных глаголов, которых в лезгинском языке в действительности не больше десятка; предлагается ряд тестов, различающих конструкции с лабильными глаголами и (внешне идентичные им) конструкции с опущением агенса: это прежде всего семантическое поведение глаголов в отрицательной и в императивной конструкциях, а также в конструкции "ненамеренного действия", где агенс кодируется адэлативом: такая конструкция невозможна у переходных нелабильных глаголов[1]. Доводы автора представляются убедительными (подробнее см. также [2]).

Итак, оценивая книгу в целом, можно сказать, что перед нами бесспорная удача – описательная грамматика, понятная лингвисту любого направления, достаточно полная, эксплицитная, тщательная и вполне заслуживающая того, чтобы считаться современным образцом этого жанра. Не только кавказоведам, но и типологам это описание принесет большую пользу[2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mel'čuk I.A.* Is there an ergative construction in Lezgian? // Mel'čuk I.A. Dependency syntax: Theory and practice. Albany: Univ. of N.Y., 1988. P. 207–249.
2. *Haspelmath M.* On the question of deep ergativity: the evidence from Lezgian // Papiere zur Linguistuk, 1991. 44/45. 1/2, P. 5–27.
3. *Кибрик А.Е.* Типология эргативности // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992. С. 179–260.

[1] Приводимое автором сравнение этой конструкции с индоевропейским dativus incommodi представляется не совсем корректным: если в дагестанских языках семантическим ядром конструкции является именно и только **ненамеренность** действия, то в "дативных" конструкциях семантическим ядром является **затронутость** лица в дативе соответствующим действием, по отношению к которому он вовсе не обязательно является агенсом и вообще участником: предложение *Passer mortuus est Lesbiae* "у Лесбии умер воробей" не означает (в общем случае), что Лесбия – причина смерти воробья, пусть даже невольная.

[2] Последняя "ложка дегтя" рецензента: в книге издательства "Mouton", слывущего одним из лучших в Европе, хотелось бы видеть меньше опечаток; к наиболее досадным относится, например, пропуск фонемы /ü/ в таблице, посвященной правилам транслитерации лезгинских фонем (с. 28).

В.А. Плунгян

Sprachlicher Substandard I / Hrsg. von Holtus G., Radtke E. Niemeyer. Tübingen, 1986, 229 S. **Sprachlicher Substandard II** (Standard und Substandard in der Sprachgeschichte und in der Grammatik). Niemeyer. Tübingen 1989, 246 S.; **Sprachlicher Substandard III** (Standard, Substandard und Varietätenlinguistik). Niemeyer. Tübingen, 1990, 278 S.

Впервые в мировой лингвистике языковой субстандарт, его лингвистическое описание, терминологическое понимание и исследование в отдельных этноязыках представлено суммарно в трех сборниках, выпущенных в Германии в 1986–1990 гг. Составители этих сборников – романисты Г. Холтус и Э. Радтке, посвятившие исследованию субстандарта в романских языках многочисленные статьи и монографии, привлекли к рецензируемой публикации коллег разных лингвистических дисциплин. Благодаря такому широкому диапазону научных исследований, посвященных субстандарту в различных этноязыках, лингвисты получили возможность познакомиться с его изучением в смежных дисциплинах и сравнить результаты, достигнутые коллегами по аналогичным проблемам.

В первом томе рецензируемого трехтомника помещены в основном общетеоретические статьи, авторы которых пытаются ответить на "установочные" вопросы: что такое субстандарт, каково его отношение к стандарту, где границы между ними, в чем региональная и национальная специфика

субстандартов разных языков и т.п. Норма и вариантность (У. Аммон), субстандарт и субнорма (Й. Альбрехт), грамматическое взаимодействие стандарта и субстандарта (Г. Холтус), эстетические потенции субстандарта (Э. Радтке), общие вопросы французского субстандарта (Х. Шмитт), диалектологические аспекты субстандарта (В. Фирек) – вот, в общих чертах тематический диапазон первого тома.

Статьи второго тома дают больший тематический и прагматический "разброс" данной проблематики. Здесь и общие очерки по изучению субстандарта в отдельных языках (румынском – К. Бохман; турецком – Л. Йохансон; канури – Н. Циффер), и разработка отдельных аспектов его анализа (синтаксис английского субстандарта и диалектов – К. Файс; генеративные синтаксические модели в испанском субстандарте на фоне стандартного синтаксиса – Б. Хенн-Меммесхаймер), и грамматическая интерпретация (взаимодействие стандарта и субстандарта в испанской грамматикографии – Х. Клайнайдам, В. Шлёр; тенденции к субстантивации и адъективизации в современном португальском языке – Х. Крёлл), и, наконец, работа исторического типа – "vulgare illustre" как модель итальянского артистического языка в трактате Данте Аллигьери "De vulgari eloquentia" (Г. Холтус).

Третий том диалектически объединяет общетеоретическую и конкретно лингвистическую проблематику. К статьям первого типа относится дискуссионный очерк Г. Холтуса и Э. Радтке "Описание субстандарта в языкознании", статья К.И. Маттхайера о месте субстандарта в переходной зоне от диалекта к стандартному языку, работа Г. Берутто "Лингвистическое упрощение и вариативность субстандарта", продолжение статьи А. Йорна (из первого тома). Второе направление представлено статьями Э. Радтке "Развитие субстандартных тенденций в языковом поведения молодежи современной Италии", Т. Штеля "Начала структурного описания вариации во французском и итальянском языках", Э.Б. Феррера "Народная итальянская речь в сопоставлении с другими неформальными регистрами: попытка типологии субстандарта" и Т. Крефельда "Субстандарт как средство литературного стилетворчества" – о романе "La vie devant soi" Э. Ажар. В третьем томе помещен и общий индекс ко всей "трилогии", позволяющий легко ориентироваться и в исследуемых проблемах, и в анализированных языках.

Разделение статей трехтомника на "общетеоретические" и "конкретно прагматические" достаточно условно, ибо почти все они совмещают попытку широкой интерпретации изучаемого явления с фактической проблемой, красной нитью пронизывающей весь трехтомник, — с проблемой терминологической. На ней в данной рецензии и хочется сосредоточить особое внимание.

Термин "субстандарт" не является новым в языкознании. Уже с его введения в лингвистический обиход в 30-е годы Блумфилдом наблюдается его широкое применение в лингвистике. Однако до сих пор этот термин отсутствует во многих лингвистических словарях. Так, например, лингвистические словари, изданные в Германии, исходят из понятия Standardsprache [1, 2] или рассматривают Varietätenlinguistik, не употребляя термина "субстандарт" [3]. В применении этого термина в лингвистике наблюдаются две традиции. Романская и англо-американская традиция рассматривают его с позиции отклонений от стандартного языка. Такой подход приемлем, по нашему мнению, и для славистики, несмотря на отрицательное отношение некоторых русистов к самому термину "стандартный язык" [4].

Другая традиция – немецкая – рассматривает субстандарт как сумму территориальных разновидностей, расположенных между диалектом и стандартным языком. Это связано с особым положением территориальных диалектов в Германии и их трактовкой германистами. В целом нужно отметить, что в германистике признанным является употребление термина "Nonstandard", в то время как в романском языкознании наряду с "Substandard" применяется также термин "Subnorm" [5]. Терминологическая проблематика затрагивается и в статьях, посвященных изучению субстандарта в отдельных этноязыках. Так, для румынского языка (автор – К. Бохман) определены три разновидности (Subvarietät) стандарта, которые, по мнению автора, входят в румынский субстандарт. Это наряду с региональной разновидностью и арго limba populară и limba familiară. Разнобой в употреблении терминов, однако, не препятствует всё продвигающемуся в разных этноязыковых регионах исследованию субстандарта, хотя многие лингвисты стараются избегать точного определения этого тер-

мина, опираясь в своих исследованиях на существующую языковедческую традицию в отдельных этноязыках. В славянских странах также существует богатая традиция изучения субстандарта, но здесь лишь в последние годы стали применяться такие термины, как "Nonstandard" [6], "нестандартная лексика" [7], хотя по нашему мнению и для славистики в целом и для русистики в частности с целью упорядочения терминологии следует употреблять термин субстандарт [8–10].

Информативны статьи трехтомника, отражающие исследования субстандарта в отдельных этноязыках. Остановимся подробнее на исследовании субстандарта во французском языке (автор – Х. Шмитт). В современном французском языке трудно дать точное определение термину "уровень языка" (niveau de langage). Хотя дискуссия основывается на учении о трех стилях и ведется уже с XVI в., но в трактовке данного понятия до сих пор не фигурируют социологические и социолингвистические критерии оценки языковых явлений. Автор, исследуя субстандарт в синхронном и диахронном плане, пытается проанализировать языковые разновидности, снабженные эпитетами "populaire", "familier", "regional", "vulgaire" и др., и доказывает непригодность такой классификации для современного состояния французского языка, выдвигая проблему социальной нормы на передний план. Для исследования субстандарта в целом важно его описание в грамматике французского языка (Х. Клайнайдам, В. Шлёр). Учитывая, что французский язык XVII–XX вв. не рассматривается как гомогенное целое, грамматика [11] выделяет в нем "langue parlée" и "langue écrite", различая "langue écrite courante", "langue littéraire", "langue poétique", а также социально маркированные "уровни языка" (niveau itellectuel, niveau moyen, niveau populaire) и ситуационно маркированные "регистры" (registre familier, très familier, registre soigné/soutenu, registre très soutenu/recherché).

Важно отметить, что автор статьи о субстандарте в современном английском языке (В. Фирек), заявляя о том, что (Standard)englisch остался, пожалуй, лишь в учебниках английского языка, различает в нем Nonstandard и Substandard Однако отношение Nonstandard'a к Substandard'y не является однозначным. Субстандарт, по мнению автора, не имеет самостоятельной лингвистической системы и рассматривается совместно со стандартным английским языком как совокупность его отклонений. Выступая за принятие более общего понятия "Nonstandard", автор отклоняет употребление термина "субстандарт" ввиду того, что он, наряду с "vulgar English", "popular English", входит в систему "uneducated English". При обращении к грамматике английского языка [12] другие авторы (Х. Клайнайдам и В. Шлёр) наоборот, принимают этот термин, подчеркивая, что в этой грамматике под "Standard-English" подразумевается "British English" и "American English", которые рассматриваются как равные стандарты (а не "Scotland English", "Ireland English", "Canada English", "South Africa English", "Australia English", "New Zealand English"). Касаясь разновидностей (variations) английского языка, грамматики называют region, social group, field of discours, medium, attitude.

Проблематика, которой коснулся Й. Крамер в исследовании греческого языка, показывает насколько взаимовлияние "стандарта / субстандарта" приводит к парадоксальному явлению в развитии этноязыка: большинство носителей греческого языка пользуются субстандартом, в то время как стандарт употребляется только небольшой группой людей.

Субстандарт в отдельных этноязыках с точки зрения грамматики описан в статьях, посвященных испанскому (Х. Клайнайдам, В. Шлёр), немецкому (Б. Хенн-Меммесхаймер), португальскому языкам (Х. Крёлл). Так, например, в статье, посвященной стандарту и Non-стандарту в испанских грамматиках (Х. Клайнайдам, В. Шлёр), термин "кодификация грамматической нормы" понимается значительно шире, чем например, в исследовании У. Аммона, хотя бы уже потому, что в центре внимания "Реальной Академии" с самого его основания (1713) до нашего времени находится кодификация испанского языка, простирающаяся на все языковые уровни – лексику, грамматику, орфографию, орфоэпию. Исследование испанской грамматики как в диахронном плане, так и в сравнении с современными грамматиками английского, французского и немецкого языков показывает, что зачастую вопрос разграничения стандарта и нестандарта не играет существенной роли, даже если в одной из них [13] описывается латино-испанская разновидность испанского языка.

В целом три рецензируемых сборника

представляют интерес для всех специалистов, занимающихся проблемами разговорной лексики, просторечия, жаргона, сленга, арго. Несомненно этот трехтомник заинтересует и славистов, уже давно и продуктивно обсуждающих проблематику стандарта. Кстати, пожалуй, самым существенным недостатком рецензируемого трехтомника является именно отсутствие в нем не только специальных статей по славянским языкам, но и какого-либо серьезного обращения к славистической литературе вопроса. Показательно, что единственная ссылка на факт, например, русского языка здесь не только случайна, но и приводится лишь в виде общей аналогии с фонологическими явлениями турецкого и арабско-персидского языкового ареала (Л. Йохансон).

Вместе с тем значение славистической лингвистики в обсуждении проблемы, ставшей предметом рецензируемых книг, трудно переоценить. Слависты внесли немалый и весьма оригинальный вклад в решение многих как теоретических, так и практических вопросов субстандарта. Уместно напомнить, например, весьма плодотворную дискуссию по этому поводу, которую организовал журнал "Вопросы языкознания" в 60-е годы. Ее участники (О.С. Ахманова, Ю.А. Бельчиков, Р.Р. Гельгард, А.И. Домашнев, О.А. Лаптева, Н.Н. Семенюк, Ф.П. Филин и др.) высказали немало суждений, которые, несмотря на их противоречивость, сохраняют актуальность и в наши дни. Эта дискуссия стимулировала серьезную разработку проблем субстандарта в славянском лингвистическом мире и на многие годы определила стратегию и тактику подхода к "нестандартности" как особому языковому явлению – явлению необычайно сложному в пестрой и разноиерархической картине славянских языков, нередко отражающему броские контрасты взаимодействия "стандарт/нестандарт" ("норма/антинорма").

Достаточно в данной рецензии отослать и к диалектической трактовке этой оппозиции представителем другого славистического региона, приверженца пражской лингвистической школы А. Едличкой [14], чтобы еще раз посетовать на досадную лакуну славистических интерпретаций в рецензируемом трехтомнике. В книге чешского ученого на славянском материале предвосхищаются некоторые трактовки субстандарта, которые мы находим в германистических, романистических и тюркологических штудиях, опубликованных в трехтомнике. Ср., например, дискуссию А. Едлички с хорватским лингвистом Д. Брозовичем о понятии "стандартный язык" и "вариант стандартного языка", или диалектическую интерпретацию вариантной нормы [14, с. 71], либо уточнение термина "substandard", сополагаемого с другими принятыми в европейской лингвистике обозначениями этого понятия [14, 43]. Немало полезного германисты, романисты и "субстандартисты" других языков ареалов могли бы почерпнуть и из работ таких славистов, как Б.А. Ларин, Б. Гавранек, В.В. Виноградов, В. Матезиус, Н.И. Толстой, Л. Андрейчин, В. Барнет, М. Докулил, Е.А. Земская, М. Ивич, М. Пилинський, В.М. Русанивський, О.Б. Сиротинина, Л.И. Скворцов, Й. Топоришич. За каждым этим и другими именами стоят нетривиальные попытки так или иначе решить проблему статуса и функционирования субстандарта в разных славянских языках, попытки, в целом представляющие солидный опыт решения этой проблемы и в общелингвистическом ключе.

Впрочем, оставленная авторами рецензируемого трехтомника лакуна имеет и положительную, так сказать, "перспективную" сторону. Славистические интерпретации субстандарта вполне могут стать отдельным, IV-м томом, который вполне был бы "компатибильным" к уже выпущенным трем. Хочется надеяться, что его издатели так и сделают, превратив столь нужный лингвистам трехтомник в многотомное "собрание сочинений" на субстандартную тему. Тем более, что объект этой темы в наши дни необычайно динамизировался и предлагает все новые и новые сюжеты для ее обработки.

Рецензируемое издание дает немалые возможности не только для ознакомления с оригинальными интерпретациями столь актуального явления в разных языковых традициях, как Substandard, но и осознать объективные трудности, обычно возникающие при попытках его излишне обобщенной оценки. И хотя, как показывает материал сборников, "плюрализм мнений" в трактовке Substandard'a остается доминирующей тенденцией, опыт подобного "многорегионального" исследования, несомненно, поможет лингвистам, занимающимся нестандартом, лучше понять друг друга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Lewandowski Th.* Linguistisches Wörterbuch, Heidelberg, 1979.
2. *Bußmann H.* Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart, 1983.
3. *Holtus G., Metzeltin M., Schmitt Ch.* Lexikon der Romanistischen Linguistik, Tübingen, 1988.
4. *Филин Ф.П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 189.
5. *Müller B.* Das Französische der Gegenwart, Varietäten, Strukturen, Tendenzen, Heidelberg, 1975.
6. *Hinrichs U.* Gesprochenes Slavisch und slavischer Nonstandard // Zeitschrift für slavische Philologie, 1992. Bd 52, Hf 11.
7. *Хомяков В.* Некоторые типологические особенности нестандартной лексики английского, французского и русского языков // ВЯ. 1992, № 3.
8. *Lehfeldt W.* Zum Stand der Erforschung der nichtstandardsprachlichen Existenzformen des Russischen // Die Welt der Slaven, 1991. Jg. XXXVI, 1 – 2.
9. *Jachnow H.* Substandardsprachliche Varianten des Russischen und ihre linguistische Erfassung // Die Welt der Slaven, 1991. Jg. XXXVI. 1 – 2.
10. *Кёстер-Тома З.* Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика/Russistik, 1993, № 2.
11. *Grevisse M.* Le bon usage. Grammaire française. P., 1986.
12. *Quirk R.* et al. A comprehensive grammar of the English language. L.; N.Y. 1985.
13. Esbozo de una nueva gramática de la lengua espanola. Madrid, 1973.
14. *Jedlička A.* Spisovny jazyk v soucasne komunikaci, Praha, 1978.

З. Кёстер-Тома

Иванова В.Ф. **Современная русская орфография.** М.: Высшая школа, 1991 год. 192 с.

В кругу лингвистических дисциплин место орфографии определилось вполне отчетливо: она разрабатывает те правила преобразования устной речи в текст, которые призваны поддержать только одно из возможных написаний, признаваемое нормативным. Видимо, явная прагматичность такой задачи предопределила устойчивый взгляд на орфографию как на сугубо прикладную область лингвистики. Многочисленные учебные пособия дидактико-регламентирующего типа заметно укрепляют это мнение.

В реальности, однако, орфография – средоточие глубинных языковых закономерностей, адекватностью которым проверяются на прочность действующие орфографические правила. Именно с такой позиции написана и эту позицию проясняет рецензируемая монография В.Ф. Ивановой, в которой проблемно и содержательно раскрыты условия формирования орфографических ситуаций, объем и природа орфограмм, взаимодействие принципов правописания, по-разному регулирующих выбор одного из конкурирующих знаков.

Подобную тематику В.Ф. Иванова разрабатывает достаточно давно. В ее новой книге воспринимается как узнаваемое: общая структура анализа с органичным переплетением проблем графики и орфографии; наконец остается неизменной исходная позиция автора – последовательного сторонника Ленинградской фонологической школы (ЛФШ), чьи идеи экстраполируются ею в область фонемографии.

Чем же в таком случае оправдано появление этой книги?

Прежде всего тем, что в ней обобщен опыт теоретического осмысления русского письма за последнее двадцатилетие. Пожалуй, ни одна серьезная публикация не осталась незамеченной. Поэтому библиографические списки, сопровождающие все разделы книги, приобретают самостоятельную ценность и, несомненно, привлекут внимание специалистов (см. с. 34–35, 76, 128–129, 144, 159, 164, 166, 167, 173–174, 191).

Рецензируемую книгу делает актуальной последовательно реализованное стремление объективно и доказательно прояснить терминологические разночтения – неизбежное следствие двух разных подходов к понятию фонемы, точнее к тому, как обобщаются в фонему звуки слабых позиций. Оставаясь верной идеям ЛФШ, В.Ф. Иванова предлагает развернутую интерпретацию взгля-

дов ее оппонентов, что позволяет читателю книги подняться "над схваткой" и определить свой собственный подход к пониманию действующих принципов правописания. В ранее опубликованных работах В.Ф. Иванова уже делала акцент на известной искусственности сложившегося противостояния. В новой книге мысль о том, что в этих теоретических подходах "больше сходства, чем различия", выражена еще более решительно: "Истоки расхождения сосредоточены в терминологическом определении одного и того же объективно существующего явления. Объективно, в самом языке, существуют чередование звуковых единиц: / о / чередуются с / а /; / б / чередуется с / п /: *в/б/ды* | *в/а/дá*; *ду/б/ы* | *ду/п/* и т.п. Это чередование звуковых единиц называется, по ЛФШ, чередованием фонем, а по МФШ, эти чередующиеся звуковые единицы считаются одной и той же фонемой, а именно фонемой / о / и фонемой / б /. Отсюда уже идут расхождения в формулировке ведущего принципа русской орфографии" (с. 155). Достаточно четкая экспликация основного узла противоречий позволяет читателю книги не потеряться в лабиринте противоречивых мнений и оценок (см. [1]).

Особый интерес к книге возникает еще и потому, что в ней ощущается обостренное внимание к практике нашего письма. Автор обнажает "белые пятна" современной орфографии, намечая пути усовершенствования действующих правил. Тщательно взвешиваются доводы специалистов и факты практического письма, критически оценивается проект 1964 г., не получивший поддержки, хотя ряд предложений в нем отличался продуманностью и серьезностью (с. 185–189). И вполне понятна апелляция к Орфографической комиссии, которая должна активно включиться в работу по улучшению нашего письма, тем более, что «нового, не охваченного "Правилами..." 1956 г., сейчас накопилось много, и перед языковедами стоит задача – обобщить и осмыслить новый орфографический материал» (с. 190)[1].

Добавим к сказанному, что книга привлекает не только многоаспектной информативностью, но отличается простотой и убедительностью изложения даже самых трудных теоретических проблем, продуманностью и научной выверенностью каждого выдвинутого положения. Полезны включенные в описание небольшие, но емкие исторические экскурсы.

Некоторую неудовлетворенность вызывает решение только одного, правда центрального для этой работы, вопроса о характере отношений между графикой и орфографией. Описываются они расчлененно, в двух развернутых разделах (§ 1–11 и 12–30). Однако в фонемографическом (звукобуквенном) письме графические и орфографические правила используются совокупно. Как пишет В.Ф. Иванова, "... отграничение собственно орфографического материала от неорфографического" (с. 8) должно стать ведущей исследовательской задачей. Ей вполне отвечает исходное представление об орфографии, чье действие автор справедливо ограничивает только написаниями, "где перед пишущим стоит задача выбора буквы" (с. 6). Прояснен этот факт корректно и точно: в слове *волна* оценивается как орфограмма только вторая буква, остальные четыре орфографическим правилам не подконтрольны (с. 6); знак пробела в словосочетаниях типа *наступила осень, яркий свет* тоже выводится из области орфографии, поскольку морфемная граница осознается здесь без каких-либо колебаний (с. 7). Там, где автор последовательно опирается на идею принудительности или избирательности знака, удается точно разграничить графическое и орфографическое. Совершенно обосновано выведены за рамки орфографических правил обозначения исторически чередующихся звуков, буква для которых не выбирается. Ср.: *бегу – бежишь*, но *бег*; *сбросить – сбрасывать*, но *бросáть* и т.п. И становится совершенно очевидным, что в подобном случае оценка безальтернативно избираемых букв *г–ж, а–о* никак не может влиять на понимание принципов правописания (с. 111, 151). Написания типа *храм, пол* часто подводились под действие фонетического принципа, тогда как в реальности каждый их знак тоже избирается по правилам графики (с. 158–159). Отстаивая подобный подход, В.Ф. Иванова решительно возражает против п с е в д о о р ф о г р а м м, то есть таких написаний, которые, будучи безальтернативными, ошибочно аттестуются как орфограммы. Достаточно много их, к сожалению, в школьном учебнике, где при решении орфографических задач нередко встречаются слова типа *мен..ше, воз..му, ра..весной, бе..мерный* и под., хотя буквы *ь* и *з* в них подконтрольны только

[1] Эта задача конкретизируется в статье В.Ф. Ивановой (см. [2]).

графике. Тревожное следствие этого – расшатывание границ между графикой и орфографией, чего не следует допускать.

Весь этот проблемный комплекс, важный как теоретически, так и практически, требует серьезной и убедительной мотивации, которая вряд ли возможна без тщательно разработанного представления о графеме – минимальной единице письма, отличающейся тождеством значения и/или функции. Дело в том, что буква, способная реализовывать разные звуковые значения и выполнять разные функции, – плохой инструмент для такого анализа. В ней нужно видеть только означающее графемы, одной или нескольких. Именно графемы, а не буквы – непосредственные объекты правил, разрабатываемых графикой или орфографией. В.Ф. Иванова эти единицы синонимизирует. Ср.: "Название буквы – это название графемы, точнее название графемы – это название буквы" (с. 19); также в заголовках: "Современные названия русских букв (графем)" (с. 20), "Соотношение между буквами (графемами) и звуками (фонемами)" (с. 36). Такой подход не побуждает к уточнению представлений о графеме. В книге не разграничены понятия о значении и функции буквы. Говорится, например, о функции букв обозначать "йот + гласный" (с. 24), но это одно из звуковых значений букв типа *я*; указывается на "смягчающее" значение тех же букв после согласных (с. 40), но это, наоборот, функция сигнала о качестве соседа слева; утверждается, что "с исчезновением слабых глухих гласных... *ъ* и *ь* получили иное значение" (с. 16), что буква *ь* является двузначной, поскольку она имеет две функции (!), а буква *ъ* однозначна: она имеет только значение (?) "разделительности" (с. 49). Остается непонятным, как можно обнаружить звуковое значение у букв, которые звуков уже не обозначают. Заметим попутно, что "метафорические" наименования букв как "гласных", "согласных", "шипящих" тоже мешают объективировать реальные значения графем, дезориентируя читателя. Соответствующие оговорки автором делаются (с. 21–22), но сама она тем не менее широко такими названиями пользуется.

Правильное представление о графеме объясняет ее реализацию на разных основаниях и в разных ипостасях – безальтернативно, принудительно, как графограммы и альтернативно, избирательно, как орфограммы (на эти идеи, разрабатываемые Л.Б. Селезневой, сочувственно ссылается В.Ф. Иванова, с. 115, 158–159). Именно в кругу этих понятий устанавливается демаркационная линия между графикой и орфографией.

Безальтернативно употребляемые знаки в соответствии с традицией рассмотрены в книге с позиций слогового принципа (§ 5), однако значения и функции букв, системно реализующиеся в этих ситуациях, описываются почему-то в изоляции от проясняемых правил (§ 6, 7, 11). Заметим, что аттестация букв как "смягчающих" и "несмягчающих" создает неверные ассоциации в отношении качества согласных звуков, которое якобы меняется под влиянием букв-соседей; неверно оценить сегодня буквы типа *я* как йотованные (йотированные): графический элемент, предназначенный для обозначения йота, в них отсутствует.

Наконец, неубедительны основания, по которым в этой главе рассмотрены явно орфографические ситуации – конкуренция букв после шипящих и /ц/, букв *е–э* после твердых согласных и в начале слов, внесистемное обозначение йота в словах – заимствованиях (§ 9, 10). Автор интерпретирует такие случаи как ограничение слогового принципа или отступление от него. В реальности мы имеем дело здесь с условиями, порождающими избирательность буквенных знаков, а следовательно, формирующими особый тип орфограмм, которые вслед за Л.В. Щербой можно назвать "графическими", ибо реализуются они именно там, где правила графики дают сбои. Неверная квалификация подобных написаний приводит к тому, что к ним приходится возвращаться еще раз – уже при описании орфографических правил (§ 15, п. 3; § 18). Поэтому же, очевидно, снимается обсуждение типологии буквенных орфограмм, а граница между собственно орфографическим и неорфографическим оказывается все-таки зыбкой. Последняя проблема предполагает более системное рассмотрение "неорфографических ошибок", лишь пунктирно намеченное во введении (с. 8–9).

Содержательная четвертая глава, на наш взгляд, заметно выиграла бы, если бы идея о трех типах написаний – проверяемых, непроверочных и непроверяемых – была бы проведена в ней последовательно и эксплицитно.

Ратуя за более системное и скоординированное рассмотрение базовых понятий графики и орфографии, мы отчетливо осознаем, что такой подход в немалой степени стимулируется именно работами В.Ф. Ивановой и что ее последняя монография – еще один заметный шаг в этом направлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иванова В.Ф., Осипов В.И.* Принципы орфографии и их педагогическое значение // РЯШ, 1991. № 5.

2. *Иванова В.Ф.* Актуальные проблемы русской орфографии // РЯШ. 1991. № 1.

В.Ф. Мейеров

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

26–27 октября 1993 г., в Санкт-Петербурге прошла Первая научная конференция по тунгусо-маньчжурским языкам, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося тунгусо-маньчжуроведа Веры Ивановны Цинциус. В.И. Цинциус относится к тем североведам, которые во многих отношениях явились пионерами в деле языкового и этнографического освоения Севера и Дальнего Востока. Ее глубокие труды и многогранная научная деятельность, по существу, заложили фундамент сравнительного тунгусо-маньчжуроведения. Под руководством В.И. Цинциус создавался "Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков", писались научные грамматики, составлялись словари. Труды В.И. Цинциус в области тунгусо-маньчжуроведения и алтаистики получили высокую оценку как в нашей стране, так и за рубежом. В частности, в 1972 г. за алтаистические исследования ей была присуждена Золотая медаль Постоянной международной алтаистической конференции университета штата Индиана (США).

Инициаторами и организаторами конференции выступили отдел алтайских языков Института лингвистических исследований РАН и кафедра алтайских языков Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. В числе участников конференции были ученые и общественные деятели, студенты и преподаватели вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Красноярска, а также ученые Финляндии и Канады.

За два дня работы конференции были заслушаны 14 докладов, посвященных различным проблемам тунгусо-маньчжуроведения. В мемориальной части конференции, посвященной памяти доктора филологических наук профессора Веры Ивановны Цинциус, выступили зам. директора ИЛИ РАН А.П. Сытов (С.-Петербург), и.о. зав. Отдела алтайских языков ИЛИ РАН А.М. Щербак (С.-Петербург). Доклад о жизни и научно-педагогической деятельности В.И. Цинциус сделала ее ученица доцент РГПУ им. А.И. Герцена Н.И. Гладкова (С.-Петербург). Этнолингвистическим исследованиям В.И. Цинциус посвятил свой доклад А.А. Петров (С.-Петербург). М.М. Хасанова (Новосибирск) выступила с докладом "В.И. Цинциус как этнограф и фольклорист", попутно осветив результаты своих экспедиционных поездок к негидальцам Хабаровского края. С воспоминаниями и добрыми словами о В.И. Цинциус выступили профессор СПбГУ С.Е. Яхонтов (С.-Петербург), старший редактор издательства "Просвещение" З.И. Ковалева (С.-Петербург), эвенкийский писатель А.Н. Немтушкин (Красноярск).

В докладе И.В. Недялкова (С.-Петербург) "Морфемный порядок в глагольной словоформе тунгусо-маньчжурских языков" получили развитие идеи В.И. Цинциус относительно порядковой модели тунгусской словоформы, были отмечены трудности приложения канонической грамматики порядков к материалу тунгусских языков, возникающие из-за того, что некоторые аспектуальные и залоговые показатели могут менять порядок. А.Л. Мальчуков (С.-Петербург) посвятил свой доклад правилам образования определительных причастных конструкций в эвенском языке. Особое внимание он уделил типологически редким "внутренним" причастным конструкциям (internal relative clause) в составе которых определяемое имя помещается внутри причастного оборота и не обнаруживает ряда признаков, характеризующих синтаксическую вершину определительной конструкции. Маньчжурско-китайские синтаксические параллели стали предметом выступления Л.М. Горелловой (Москва), в котором, в частности, была отмечена обнаруживаемая этими язы-

ками тенденция к преобразованию глагольных предложений в предложения именного строя с таксономическим или идентифицирующим предикатом. Л.И. Сем (С.-Петербург) в докладе на тему "Китайские заимствования в тунгусско-маньчжурских языках" на обширном материале южной подгруппы тунгусо-маньчжурских языков проанализировала тематические группы слов, связанных с материальной и духовной культурой этих народов. Д.М. Насилов (Москва), выступивший с докладом "Интерпретация способов действия в грамматиках тунгусо-маньчжурских языков" рассмотрел основные способы выражения аспектуальных значений в тунгусо-маньчжурских языках в сравнении с тюркскими и монгольскими. Автор подробно осветил труды В.И. Цинциус и ее учеников в этой области. Ю. Янхунен (Финляндия), выступая с воспоминаниями о В.И. Цинциус, рассказал о трех экспедициях к хамниганам Китая, сопроводив доклад демонстрацией многочисленных слайдов. В докладе Е.П. Лебедевой (С.-Петербург) "Сюжеты и структура эвенкийской сказки о животных" предложена оригинальная классификация сюжетов, их относительная хронологизация и интерпретация на обширном фольклорном материале, собранном автором за несколько десятилетий научно-экспедиционной работы в районах проживания народов Крайнего Севера. Доклад А.М. Щербака "Имел ли место ротацизм в тунгусо-маньчжурских языках?" продолжил дискуссию об одном из спорных вопросов в алтайском языкознании. Докладчик ответил на этот вопрос отрицательно: все тунгусские (точнее эвенкийские) лексемы, в которых наблюдается соответствие тунгусского *r* тюркскому *z*, при ближайшем рассмотрении оказываются заимствованиями из тюркских языков через монгольские. Н.Я. Булатова (С.-Петербург) проанализировала современную демографическую и социолингвистическую ситуацию у различных локальных групп эвенков (тунгусов). По прогнозам докладчика, перспектива сохранения и развития эвенкийского языка связана не столько с подкаменно-тунгусскими говорами, сколько с говорами эвенков Дальнего Востока, где процент владения эвенкийским языком особенно высок. А.М. Певнов (Новосибирск) посвятил доклад проблеме ареального взаимодействия отдельных тунгусских языков, которой, по справедливому замечанию докладчика, до последнего времени не уделялось достаточного внимания. С позиций ареальной лингвистики автор рассмотрел вопрос о генезисе негидальского языка, сформировавшегося в результате взаимодействия северотунгусского суперстрата с южнотунгусским субстратом. Сообщение, основанное на архивных материалах Института востоковедения РАН, на тему "Маньчжурский язык при Цинской династии" сделала Т.А. Пан (С.-Петербург).

В резолюции конференции отмечалась выдающаяся роль профессора В.И. Цинциус в изучении тунгусо-маньчжурских языков, ее большой вклад в алтаистику, в формирование петербургской школы тунгусо-маньчжуроведов. Принято решение о регулярном (раз в два года) проведении научных конференций по тунгусо-маньчжурским языкам в Санкт-Петербурге, как способствующим дальнейшему развитию тунгусо-маньчжуроведения, плодотворному научному обмену ученых разных регионов России и зарубежных научных центров, сохранению творческой преемственности ученых разных поколений и научных школ в данной области языкознания.

А.А. Петров, А.Л. Мальчуков
(С.-Петербург)

CONTENTS

V.L. Janin, A.A. Zaliznjak (Moscow). The birch-bark documents from the Novgorod excavations of 1990–1993; S.L. Nikolaev (Moscow). The earlier dialect division and the external links of the East Slavonic dialects; K. Redei (Vienna). The influence of the Old Church Slavonic on the semantics and syntax of the Old Zyrian language; D.I. Edelman (Moscow). Contemporary developments and future perspectives of the comparative and historical lexicology of the Iranian languages; O.N. Trubačev (Moscow). Marginalia to M. Mayrhofer's new "Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen"; N.A. Kozinceva (St.-Petersburg). The category of evidentiality (problems of typological analysis); Z.N. Turaeva (St.-Petersburg). The text-linguistics and the category of modality; E.E. Kordi (St.-Petersburg). Impersonal constructions in contemporary French (Syntactic-derivational and typological approaches); **From the history of science**: A.G. Širokova (Moscow). The linguistic school of Prague and Academician Bohuslav Havranek; **Reviews**: B.B. Xodorkovskaja (Moscow). Latein und Indogermanisch. Akten des Kolloquiums der Indogermanichen Gesellschaft, Salzburg, 23–26 September, 1986; V.A. Plungian (Moscow). *Haspelmath M.* A grammar of Lezgian; Z. Köster-Toma (Berlin). Sprachlicher Substandard. I–III; V.F. Meierov (Irkutsk). *Ivanova V.F.* The contemporary Russian orthography. **Scientific life.**

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

Сдано в набор 25.02.94. Подписано к печати 1.04.94. Формат бумаги 70×100 1/16.
Офсетная печать Усл. печ. л. 13,0. Усл. кр.-отт. 33,5 тыс. Уч.-изд. л. 15,8 Бум. л. 5,0.
Тираж 2530 экз. Зак. 1087 Цена 80 р.

Адрес редакции: 12,019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-74-42
Московская типография № 2 ВО "Наука", 121099, Москва, Г-99. Шубинский пер., 6